70-летию Великой Победы

посвящается

Этот день мы приближали, как могли

Писатели Псковщины о войне и победе

Псков
2015

ББК 84 (2Рос=Рус) 6
Э 92

Псковское региональное отделение Союза писателей России
благодарит
Великолукский машиностроительный завод ООО «ВЕЛМАШ-Сервис»,
а также Администрацию Псковской области
за помощь в издании этой книги

Э 92 **Этот** день мы приближали, как могли. Писатели Псковщины о войне и победе / Псковское региональное отделение Союза писателей России. – Псков, 2015. – 408 с.

ISBN 978-5-94542-322-0

Эта книга посвящена величайшему событию в нашей стране – 70-летию Победы советского народа, русского оружия в Великой Отечественной войне. Она рассказывает о мужестве, о подвиге советского солдата, о беспримерном самоотверженном труде работников тыла, о воинской славе вообще, пронизывающей всю историю Великого Государства Российского. Книга предназначена для самого широкого круга читателей.

ББК 84 (2Рос=Рус) 6

ISBN 978-5-94542-322-0

© Псковское региональное отделение Союза писателей России, 2015

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
(вместо предисловия)

Давно отзвучали победные салютные громы над Красной площадью и рассыпались в прах поверженные на булыжную мостовую фашистские знамена. С тех пор минуло семьдесят лет. Но в памяти народной, навеки опаленной взрывами и пожарами Великой Отечественной, все еще звучат отголоски тех давних боев, наступлений и побед...

Гремят бои. Туда все взоры,
Где в кровь окрасились снега,
Где гром потряс седые горы,
Со свистом пуль слилась пурга.
Весь фронт в огне. Какая сила!
От юга до балтийских вод
Шагает грозная Россия,
Как богатырь, идёт вперёд.

Это строки из стихотворения Ивана Васильевича Виноградова — писателя-фронтовика, не понаслышке знавшего о грохоте сражений, не кланявшегося пулям, но день ото дня, от боя к бою вносившего свой вклад в великое дело победы. Поэтому так достоверен его рассказ, так чеканно-тверда поэтическая строка:

Мы помним пепел Сталинграда
И в Минске вражеский разбой.
Дрожи Берлин! С Москвою рядом
Все города рванулись в бой.
И тени павших в жаркой схватке
Идут незримою стеной…
Вперёд, герои!
Предкам внемля,
Рубите ворога сплеча:
Кто шёл с мечом на нашу землю —
Пусть сам погибнет от меча.
Хоть путь тяжёл, барьеров много,
Но твёрд народ наш, исполин.
Теперь у нас одна дорога,
Дорога эта — на Берлин!

Дорога к дню Победы! И не потускнеет образ этого Великого дня. «Этот день мы приближали, как могли…» Здесь крик души, единый порыв миллионов, беспримерный подвиг народа… Они приближали этот день, не жалея сил, не щадя живота. Это их жизнями вымощена дорога к Победе! Их кровью окрашены знамена воинов-победителей! Этот их День Победы, наш День… Наш. Как наследников воинов-победителей и их продолжателей. А ветераны уходят, это печальная данность:

Вас осталось немного —
Пролетают года...
Лёгкой ваша дорога
Не была никогда.
Время рано коснулось
Белой краской волос:
Вам тревожную юность
Пережить довелось.

(Тамара Соловьева. «Ветеранам»)

Увы, и многих писателей-фронтовиков также уж нет с нами, но память наша жива, и их, ветеранов, эстафету, подхватили послевоенные писатели, которые тоже пишут о войне и победе. И совсем молодые литераторы не уклоняются от этой темы, вносят свою посильную творческую лепту. Этот общий труд, прославляющий подвиг советского народа — ратный подвиг, трудовой, — и составляет содержание настоящей книги.

Сошла победная весна
С небес под голос Левитана,
И это было даже странно,
Что в прошлое ушла война,
Что голод кончился, и муки,
И ожидание письма,
И слезы горькие разлуки.
А на дворе уже весна.

Хмельным дыханием сирени
Пьяна шальная голова —
Победу, словно день рожденья,
Сегодня празднует страна...

(Надежда Камянчук. «В День Победы»)

Мы должны быть достойны памяти наших отцов, их подвига, их беспримерного мужества, чтобы сохранить нашу Прекрасную Родину Россию, с ее величием, ее историей, красотой. Да будет так!

Игорь Смолькин

Мужество отцов

Писатели-фронтовики
о войне и победе

Евгений Нечаев

СТАРЫЙ ШУМРАЙ

Лето в 1942 году было сухим, ветреным. Уже в августе пожухла листва на деревьях, завяли травы на корню, в знойном мареве дрожали синие дали. Идешь по деревенской улице — безлюдна она; пусто на речных пристанях... Второй год по дорогам России катилось дымное колесо войны. Фронт приближался к Сталинграду.

Тревожные дни переживал и небольшой городок Бельск, затерявшийся в вековом чернолесье, в глубоком тылу, у истоков тихой, на редкость светлой реки.

«Чем ты помог Сталинграду?» — сурово спрашивали расклеенные на стенах домов плакаты. Большой плакат с изображением забинтованного солдата, бросающего гранату под гусеницы вражеского танка, был наклеен у входа в райком.

Как-то вечером в конце сентября на каменные ступени райкомовского дома, осторожно придерживая на весу прикрытое берестой помятое ведерко, поднялся старик-мариец. Охотник-промысловик Шумрай так и пришел в райком — с ружьем за спиною, перепоясанный кожаным патронташем.

В этом году охота была удачная. Старый Шумрай уже выполнил план: полторы сотни уток, двадцать гусей сдал он на базу охотсоюза. До отлета можно добыть еще столько же, можно и больше. Потом пойдут тетерев, заяц, лиса и белка. Пока держат ноги, Шумрай не будет сидеть дома. Глаз у него верный, старое ружье не знает осечки. Надо помогать Сталинграду. Шумраю жалко терять погожий день. Он знает: полторы сотни его уток и двадцать гусей были отправлены на холодильник. Может быть, в тот же день их отвезли на пристань, а потом по реке в большой город, где

Нечаев Евгений Павлович (1915—1999). Почетный гражданин г. Пскова, член Союза писателей России. Родился в башкирском селе Моядык. Окончил педагогический техникум в Бирске и Второе Ленинградское Краснознаменное артиллерийское училище. Ветеран войны, командовал батареей, дивизионом, был дважды ранен. С 1955 года жил в Пскове. Публиковался в журналах «Новый мир», «Наш современник». Лауреат премии Администрации Псковской области. Автор книг «Под горой Метелихой», «Батарейцы», «На земле опаленной» и др.

есть лазарет. Там лежат раненые солдаты. Пусть скорее поправляются. Шумрай еще настреляет гусей и уток и отдаст их бесплатно. Пусть едят солдаты, им надо...

Шумрай — самый непоседливый из всех стариков деревни. Маленький ростом, сутуловатый, ходил он, как будто прислушиваясь к чему-то; зимой и летом пропадал в лесу, ночевал на дне старой лодки или в стогу сена. Там же, в лесу, у знакомого обходчика оставлял дневную добычу и уходил снова. И так до тех пор, пока не наберется охапка звериных шкур или не наполнится крепкими, как свежие огурцы, утиными тушками кадушка с рассолом. Тогда старик берет в колхозе лошадь и едет в город, везет пушнину или дубовую кадушку с дичью.

Хранить утиные тушки в рассоле пробовали и другие охотники, но не каждому это удавалось, а Шумрай не открывал своего секрета. Так уж заведено: каждый уважающий себя охотник должен иметь секрет — иначе председатель охотсоюза не будет здороваться за руку, а бригадир колхоза скажет, что все лошади заняты. Но сегодня Шумрай пришел пешком, пришел по необычному делу. Поднявшись по каменным плитам, старик долго стоял у плаката, потом перевел взгляд на вывеску, с трудом прочитал: «ВКП(б)» — и осторожно постучался в дверь. Ему не ответили. Шумрай подождал, еще постучал сгибом указательного пальца, затем потянул на себя дубовую створку и несмело переступил порог.

В прохладном коридоре никого не оказалось, но из открытых дверей слышались голоса, где-то звенел телефон, торопливо отщелкивала машинка.

Шумрай заглянул в одну из комнат. Там было много народу. О чем-то спорили, потом все подошли к большой географической карте и стали говорить вполголоса, на старика не обратили внимания. Только девушка посмотрела на Шумрая и тут же снова стала писать.

Старик переступил с ноги на ногу. Девушка отложила папку.

— Вам кого? — спросила она, сразу нахмурилась и крикнула в коридор: — Тетя Клава! У вас там что, опять керосин пролился?

— Тети тут нет, — ответил Шумрай, — это я принес...

— Чего это вы сюда ввалились с ведерком?

— Ты, девушек, не сердись, — степенно проговорил старый охотник, — скажи мне, где самый большой секретарь?

— Вы по какому вопросу? По личному?..

— Вот! — И старик приподнял с полу ведерко. — Скажи ему: Шумрай пришла.

— Что сказать? Кому сказать? Товарищу Саитову, что ли?!

— Мне все равно: пусть будет Саитов, — согласился Шумрай, — только бы секретарь была.

Секретарь райкома вышел к охотнику. И он не сразу понял, в чем дело.

— Я Шумрай, охотник, — начал старик издалека. — Я выполнил план. Мой утка пошел первый сорт...

— Ну и молодец, спасибо! — сказал ему секретарь.

— Я вот это приносил, — старик показал на ведро. — Мало-мало горит. Надо?

Старик опустил свою ношу на пол и не спеша принялся развязывать засохшее лыко, аккуратно отложил в сторонку берестяную покрышку. В ведре оказалась темная маслянистая жидкость. Секретарь удивленно вскинул очки.

— Я охотник, — продолжал Шумрай, — весной мал-мала пугался, шибко пугался, думал — шайтан... Летом пришел, думал — вода, смотрю, это... Шибко горит. Я тракторист говорил, раненый он, дома был. Он сказал: «Город иди, сама секретарь райком покажи». Он еще сказал: «На фронт шибко надо. Танка пойдет, самолет тоже годится». Шибко горит. Может, надо?

Во время этого разговора люди в комнате замолчали, обступили Шумрая со всех сторон — в ведре была нефть...

Вечером старика увезли домой на райкомовской легковой машине. Шумрай торопился — нельзя упускать погожего дня. Еще две-три кадушки уток можно отправить на базу. Птица сейчас жирная. Потом придет зима. Шумрай охотник: ему надо выполнять свой план. Будет добывать белку. Из беличьих шкурок в городе сошьют теплую куртку. В ней полетит летчик. Может, ее выдадут снайперу, старик слыхал: есть на фронте такие охотники — бьют фашиста прямо в лоб без промаха. Пусть дадут куртку снайперу, Шумрай настреляет белок и для летчика. Пусть они выполняют свой план...

Прошло два месяца. Никто не спрашивал Шумрая. Осенняя охота закончилась, старый охотник сдержал свое слово — последний бочонок добрых, «хвативших ледку» крякв сдал он на базу бесплатно да еще и попросил приемщика, чтобы сделал приписку: «В лазарет, от охотника Шумрая». Теперь и зима не за горами. Скоро ляжет на холодную землю седой куржак, затянутся льдом озера. Шумрай заберет мешок с сухарями, бросит туда связку вяленой рыбы и отправится за Горячий ключ, в свою

лесную избушку. Будет добывать белку, распутывать по свежей пороше замысловатые лисьи строчки. В райкоме, наверно, забыли про оставленное ведро. Но Шумрай не в обиде на товарища Саитова. Секретарю много заботы: за городом строится большой завод, а война все еще не уходит назад, и, хотя далеко от лесной деревеньки протекает Волга, даже он, старый Шумрай, слышит, как громыхает война железными башмаками. Город помогает Сталинграду, конечно, не до Шумрая секретарю.

Так рассуждал старый охотник, собираясь на дальнюю заимку, но, когда все уже было готово, его вызвали в сельсовет. Шумрай повесил на гвоздь ружье.

«Наверно, пошлют к Черной речке пилить дрова», — подумал он. В город наехало много народу, рабочие живут в бараках, там холодно. Будет теплее в бараках, больше моторов сделают на заводе. Шумрай знает и про это.

Но оказалось не так. Не за тем вызвали старика в сельсовет. Председатель сказал, что ему звонили из города. Сам секретарь велел передать, чтобы Шумрай не отлучался надолго. Из Москвы приедет ученый человек, и Шумрай покажет ему то место, где брал нефть.

— Я думал, забыл секретарь, — начал было Шумрай.

Председатель Совета покачал головой.

— Старый ты человек, Шумрай, — проговорил он, — не мне бы учить тебя, но про райком ты неправильно говоришь. Ты сам пошел к секретарю, хотел, чтобы тебе поверили? Секретарь поверил старому человеку, написал в Москву. Москва верит секретарю, значит, верит тебе... Ты бы лучше о другом подумал — не поторопился ли ты со своим ведерком? А если ошибка?

Ничего не ответил Шумрай председателю, а вернувшись домой, так и не смог заснуть. Всю ночь старик ворочался на топчане, кашлял, несколько раз вставал, в темноте набивал табаком трубку, потом набросил на худые плечи полушубок.

— Оставайся дома, — сказал он собаке, — я пойду посмотреть, не ушла ли нефть. Кто придет, подашь голос — будут знать, что Шумрай ушел без собаки, значит, и без ружья. Тогда скажут: Шумрай вернется скоро.

И старик отправился в лес.

Никто в деревне не знал, как и когда в лесу образовалась яма. Один Шумрай знал. Он сам видел. Видел и никому не сказал. Зачем говорить, когда человек испугался. Шайтан не любит, когда его поминают. Теперь не верят в шайтана, будут смеяться. А Шумрай сам видел.

Вот как оно все было. Весной, во время разлива рек, ехал охотник на лодке по затопленному лесу и оказался на поляне. Там вода подошла к озимому полю. Был уже вечер, солнце спускалось прямо в лес, и по воде легли розовые тени.

Шумрай отталкивался шестом, пробирался между деревьев — вода в этот год особенно большая, давно не было такого разлива. Неожиданно он увидел в зарослях камыша серую кочку. Сначала подумал, что это остожье — остаток сена, забытый под снегом. Но это оказалось не остожье, а земляной бугор шагов восемь-десять посередине. Шумрай удивился, он хорошо знал эту поляну, никаких бугров раньше тут не было. Вышел на островок, осмотрелся и решил остаться здесь на ночь. Место ему понравилось: кругом камыши, берег далеко. Тут утром будут садиться гусиные стаи. Прежде чем выйти на озимь, они будут плыть мимо бугорка, и Шумрай успеет взять двух, а может быть, и трех.

Шумрай укрыл камышом лодку и принялся копать на середине островка ямку, чтобы спрятаться самому. Под талым слоем земли, на глубине всего в пол-аршина оказался мерзлый ил, а потом и совсем пошел лед. Охотник взялся за топор.

Вскоре работа была закончена. Шумрай нарезал камыша, прикрыл им свое убежище и забрался в него, поджав ноги, намереваясь в таком положении скоротать недолгую апрельскую ночь. Ружье он оставил наверху, чтобы в любое время было под руками. Снял резиновые холодные сапоги и надел валенки — охотнику надо ноги беречь.

Перед рассветом у Шумрая затекли колени; чтобы дать им отдых, нужно было расширить яму, и старик стал долбить топором стенку. Под слоем льда пошла снова талая земля. Яма по дну стала больше; Шумрай вытянул ноги и закурил трубку.

За лесом занималось утро, небо вверху посветлело, и по нему плыли легкие облачка. Над головою охотника послышались взмахи тяжелых крыльев. Это были лебеди, они пролетели низко-низко и опустились на воду в нескольких метрах от кочки. Шумрай хорошо видел их черные носы. Лебеди плавали парами. Скоро их набралось уже больше десятка. Красиво изогнув длинные шеи, они бесшумно скользили по темному зеркалу воды. Утки плюхались вокруг без разбора, селезни резко крякали и с треском срывались с места, чтобы шлепнуться на другую сторону островка.

Шумрай ждал гусей, они должны вот-вот прилететь. Сердце старого охотника учащенно билось — так он был доволен удачным местом. А вот

и они: над лесом показалась большая гусиная стая. Осторожные крупные птицы летели молча — верный признак того, что они ищут спокойного места, высматривают его сверху.

Гуси облетели поляну широким кругом, снизились к самой воде и сделали еще один круг.

Шумрай сунул трубку в карман, пригнулся в своем окопе и перестал дышать. Стая шла на посадку, вода зашумела вокруг. Гуси били по ней крыльями и тут же отплывали в сторону. Рядом садились другие. Шумрай потянулся к ружью и тут-то вот услыхал какое-то шипение, будто свистит остывающий самовар. Свист доносился снизу. Шумрай потрогал рукой влажную стенку, а когда убрал руку, шипение усилилось, и вдруг, после того как Шумрай отворотил в сторону большой ком земли, оно переросло в сильный рев, похожий на то, когда собирается загудеть пароход. Из образовавшегося в углу отверстия била струя холодного воздуха.

Перепуганный старик выскочил из своей ямы, едва успел подобрать с земли ружье, а островок уже весь дрожал. Потом внизу, под ногами Шумрая, что-то забулькало, и из выемки в стене окопа, где минуту тому назад помещались ноги охотника, хлынула мутная вода. Она пузырилась, бурлила, в минуту заполнила окоп и полилась через верх желтым потоком во все стороны, унося с собою камышовую подстилку охотника. Шумрай непослушными пальцами отвязал лодку, оттащил ее поглубже и опомнился только уже в лесу, когда отъехал от злополучного места метров на триста-четыреста. Оглянувшись назад, он не увидел островка; встревоженные лебеди отплыли к противоположной опушке, гусей след простыл, только бестолковые, шальные чирки по-прежнему охорашивались друг перед другом да кувыркались на мелководье.

«Здесь нельзя оставаться, — подумал охотник, — это болотный дух. Он не хочет, чтобы Шумрай охотился в этих местах. Болотный дух злой, надо уходить подальше».

Вот какая это была история. Об этом старый Шумрай никому не рассказывал не потому, что верил в добрых и злых духов, а просто чтобы не болтали лишнего соседи. Соседи будут смеяться, а разве хорошо, когда смеются над старым человеком.

* * *

Долго не был Шумрай на этой поляне. Весенний перелет кончился. Три месяца висело ружье на гвозде у притолоки. Правда, раз или два брал

его старик в лес, когда со своим приятелем-лесником ходил за Черную речку искать волчье логово. На обратном пути шел мимо поляны, ружье нес на плече, как бабы носят грабли. Конечно, Шумрай не особенно верил сказкам, но так уж принято у охотников: в местах, где водится нечистая сила, не надо держать на виду хорошую вещь.

В августе Шумрай решил заглянуть на поляну. Шел опять от стогов, засучив рукава рубахи, вроде ищет воды человек помыть руки. Все по-прежнему, как и было, та же заболоченная луговина с буйно разросшейся меж кустов ольшаника осокой. Справа по косогору бурелом, малинник в рост человека — излюбленные места выпаски медведя. Так все оно и оставалось без изменения, только на самой поляне еще издали увидел охотник круглую яму с ровными, как у воронки, краями, а подойдя ближе, недоуменно развел руками: вода в яме оказалась совершенно черной, с маслянистыми разводами, как на старом оконном стекле, и пахло от нее керосином.

И опять никому не сказал Шумрай про это свое открытие — кто поверит?

Минуло еще две или три недели. Шумрай сидел на завалинке, ремонтировал колхозную сбрую. Мимо прошел тракторист. Парень год воевал, получил большую награду. Домой приехал из госпиталя. Надо бы поправляться парню, а он на другой же день отправился в поле, крепко поругался с девчонкой, которая сидела теперь на его тракторе, прогнал ее с поля.

Злой был парень, вся родня у них злая. Вот и в тот раз шел парень мимо Шумрая и ругался вслух. Всех ругал: и бригадира, и председателя колхоза. Надо ему полведерка масла. Бригадир обещал привезти — не привез; пожаловался председателю. Тот сказал: пошлю в МТС подводу. Вечер настал, подводы нет, а ему надо масла. Трактор не может работать, когда дышит пылью. Все знают, три дня остается парню жить дома, он успел бы за это время убрать половину поля. Рожь нынче не так-то уж и хороша... Вот теперь нет масла, придется поставить трактор под навес. Черт с вами, жните серпом!

Парень бросил пустое ведерко в крапиву и не ответил на приветствие Шумрая. Больно сердит был парень, не заметил даже, что старший с ним поздоровался. А Шумрай хотел сделать ему приятное: когда старик снимает шапку перед своим внуком, это надо видеть. Парень год воевал, получил на войне большой орден. Поэтому и поклонился ему Шумрай.

До ночи сидел старик на завалинке, курил свою длинную трубку, думал: «Если трактор дышит пылью, он не будет работать. За три дня можно сжать половину поля; парень уедет; рожь начнет осыпаться. Мужиков нет в деревне. Голодными останутся ребятишки. Где достать масла? Если подвода не вернулась с утра, наверное, и в МТС не стало этого масла. Война не уходит обратно. На войне много танков; они тоже не могут дышать пылью. Когда куришь худой табак, пыль давит на сердце. Трактор — как человек, только не скажет. Вот и ругается тракторист. Чем поможешь?»

Вздохнул старик, посмотрел на брошенное ведерко.

Покряхтел, поднялся с завалинки, отнес хомут под навес. Еще постоял, подумал. Потом поднял ведерко.

...Утром, когда пастух выгонял коров, навстречу ему из леса вышел Шумрай. Старик торопился, шел напрямик по полю, в руке что-то нес тяжелое.

За околицей стоял трактор, возле него догорал костер. Злой тракторист придумал, как помочь делу. Ему нужно было жидкое масло. Ночью он слил из бочки остаток нигрола — густого, тягучего масла, которое не годится для фильтров; сюда же добавил солярки, долго держал на огне, пока не вскипело.

— Здравствуй, дедушка! — весело крикнул он старику. — Уж не водичку ли тащишь? Вот спасибо-то!

— Ты вчера говорил: масла надо. Возьми!

Парень присел над ведерком, нюхал, размазывал на ладони жирные пятна.

— Обманули тебя, дедушка, — сказал он наконец. — Это для меня не годится. Кто тебе дал?

— Никто не давал, — с обидой ответил Шумрай. — Я место такое знаю. Приходи, черпай...

Усмехнулся парень, покачал головой.

— Не веришь?!

Тракторист помешал в ведре, палку бросил на угли. Вспыхнула палка, густой, черный дым поднялся над костром.

— Интересно! Может, место покажешь?

— Не веришь — не покажу.

— А если поверю?

— Тоже не покажу. Ты меня обидел. Шумрай семьдесят лет на свете живет! Шумрай ночь не спал!

— Ладно, не обижайся. — Тракторист положил на плечо старика свою руку. — Если не хочешь мне показать, иди к председателю, в город иди — к самому большому начальнику. Иди сегодня, сейчас же иди. Скажи: нашел нефть! Знаешь что, забирай ведерко и прямо в райком. К секретарю. Верное дело. Ты понимаешь, что это такое?! Это нам на фронте вот как надо! Летчикам, танкистам — всем надо! Я никому не скажу — иди!

Шумрай так и сделал. В райкоме ему поверили, а вот председатель сельсовета не верит. И оттого не по себе стало Шумраю. Может, председатель обиделся, что не ему рассказал старик про находку?

С нехорошими мыслями ушел Шумрай от председателя сельсовета: совсем не уважают теперь стариков. Если Шумрай сказал, что нефть можно черпать ведерком, ему надо верить. Он мерял дно в яме, вырубил длинную жердь. Дна не достал. Секретарь поверил, а этот говорит: «Ошибка!»

«Ошибки не может быть, Шумрай сам мерял! — в сотый раз повторял про себя старый охотник. — Шумрай не ошибся!»

Вечером вернулся старик домой. Привалился к стене со стоном. Нефти в яме не оказалось. Летом не было дна, сейчас не набрать и чашки. Берега у ямы обвалились, заплыли болотной тиной. На дне — вязкая жижа. Приедет из Москвы ученый, что ему скажет Шумрай?

Так просидел старик до утра. За окном моросил мелкий дождь, лохматые тучи цеплялись хвостами за оголенные вершины берез, скрипел ставень на ржавой петле. Старику не хотелось подниматься с места — оборвалась веревочка... пусть. Все его мысли остались там, в лесу, у ямы.

За окном начинает сереть. Дождь притих, извилистые струйки на стекле стали реже, ставень перестал хлопать.

«Может, и не приедет ученый? Лучше бы он не приехал, — тоскливо подумал Шумрай. — Надо пойти к председателю. Сказать — пусть не едет ученый: старый Шумрай ошибся».

Не зажигая огня, старик пересел к порогу, долго и сосредоточенно перематывал портянки, обувая лапти. «Как скажешь? Семьдесят лет Шумраю. Сказать про себя неправду?»

Проснулась под лавкой собака. Выгнула спину, зевнула. Подошла к старику, сунулась мокрым носом в колени, ждала — погладит ее хозяин. Не дождалась. Подняла голову, умным взглядом посмотрела в лицо. Свалилась на бок, но тут же вскочила, заворчала глухо.

Слышит теперь и Шумрай: кто-то бежит по улице. Вот он уже у крыльца, очищает ноги.

Не поворачивая головы, Шумрай локтем открыл дверь. Из темноты сеней звонкий мальчишеский голос выкрикнул торопливо:

— Председатель ждет, собирайся скорее, приехали! Слышишь?

* * *

Трое суток водил Шумрай по окрестным лесам и болотам прибывшую экспедицию. Профессор оказался совсем не старым, каким его до того представлял охотник. Он сам опускался на дно воронки, как тракторист, размазывал жирные пятна на ладони. С ним вместе приехали молодые, здоровые парни, несколько девушек.

Шумрай все время не сводил глаз с профессора, ждал его укоризненного взгляда, но тот, казалось, не хотел обижать старика. За три дня они обошли пешком километров сорок. К исходу третьего дня Шумрай снова привел профессора к яме. Над воронкой уже стояла деревянная вышка. На бревенчатом, грубо отесанном полу работали люди. Они устанавливали буровую машину.

— Ну иди, папаша, домой, — сказал тогда Шумраю профессор, — спасибо, мы теперь управимся сами.

Старик посмотрел на озабоченное лицо ученого и не посмел спросить его, о чем думал, а когда тот, окруженный своими помощниками, скрылся в палатке, тронул за плечо одного рабочего.

— Напрасно, может? — спросил старый охотник. — Надо было раньше. Ушла нефть, не видно.

— От нас не уйдет! — ответил тот, тряхнув волосами. — Найдем!

Старик потоптался на месте, на самые глаза нахлобучил шапку и побрел к дому. Навстречу ему по заброшенной, давно неезженной дороге ползли гусеничные тракторы, волокли на прицепах железные трубы. Плотники наводили мост, где-то в стороне рушились наземь сосны.

«Сколько народу приехало, — подумал Шумрай, — а вдруг не найдут? Лучше бы не говорить об этом трактористу...»

Целую неделю старик просидел дома. Пес тоскливо смотрел на хозяина. Он порою повизгивал, подходил к двери и звал старика в поле. Шумрай оставался равнодушным. Он не трогал ружья со стены и не замечал волнения собаки, как и того, что вновь установились погожие дни.

Встревоженные небывалым многолюдьем, над озерами кружились гусиные стаи; у мелководных речных плесов над тлеющими кострами

шарахались по утрам прилетевшие с жировки утиные выводки; зверь уходил глубже.

Прошла еще неделя, вторая, в конце месяца ударил мороз. Побелело вокруг поле, лес почернел и насупился, а небо поднялось выше. По окрестным холмам, в лесу, по широкой пойме реки одна за другой вырастали деревянные вышки, в вековую толщу земли все глубже и глубже вгрызались стальные трубы, но ничего этого Шумрай не видел. Часами просиживал он возле печурки, забывая подбросить на остывшие угли дров. Ждал стука в окно.

«Что ты наделал, Шумрай? — спросят его в сельсовете. — Иди теперь сам в райком!»

Охотник совсем заболел, слег. И вдруг в одну из ночей старик внезапно проснулся — за окном полыхало зарево. Шумрай в одной рубахе выбежал на крыльцо: над дальним лесом, в той стороне, где весной провалилась земля, пламенел, развеваясь на ветру, длинный огненный хвост. Пламя билось, улетало вверх. В багряном отблеске зарева чернели высокие шпили столетних елей.

Старик торопливо оделся. Спотыкаясь об узловатые корни, не видя знакомой тропы, бежал он по лесу, держа перед собою вытянутые руки, чтобы не поцарапать лица. Верный пес забегал вперед, садился на тропу, прыгал навстречу, пытаясь задержать охотника, или хватал его сзади за подол полушубка, упирался — охотник забыл ружье, куда он торопится? Но Шумрай и на этот раз не понял, он даже обругал собаку.

На поляне Шумрай остановился перевести дух. Над вышкой, вырываясь из железной трубы, ревело пламя. Вокруг толпились люди. Лица их медно-красные, таких он никогда не видел, такие все могут.

Старик подошел ближе, рядом с ним оказался профессор. Он положил на плечи Шумраю обе свои руки и, глядя прямо в глаза охотнику, улыбнулся.

— Спасибо, папаша! Еще раз спасибо! Теперь от всего нашего государства. Злой дух сделал доброе дело. Он указал тебе клад, которому нет цены. Это наша победа, отец!

Они долго стояли молча, подняв головы вверх, — московский ученый и старый охотник-мариец из заброшенной в лесах деревеньки. Профессор держал руку охотника. Потом Шумрай спросил, как о самом важном:

— Секретарь знает?

ГОД 41-й

Ничто
Никакой
Не имеет цены,
Кроме луны и звезд,
Дождя и солнца,
Морской волны
И почки, идущей в рост.
И родниковой чистой воды,
И óтчего очага,
И сердца друга — во дни беды,
И пули — в сердце врага.

* * *

Ты не с палкою суковатой
По Руси пошла босиком,
А пошла, как Ванёк, во солдаты.
Записал тебя военком.

Построенье в тёмной приёмной —
Узелки, узелки, узелки…
Снег и грязь размесили колонны,
Отплывают грузовики…

Морозкина Елена Николаевна (1922—1999). Член Союза писателей России. Родилась в Смоленске. Среднюю школу окончила в 1941 году, в 1942-м добровольцем ушла на войну. В 1951 году окончила Московский строительный институт. Кандидат искусствоведения, преподавала в Московском архитектурном институте. С 1977 года проживала в Пскове. Автор книг «Псковская земля», «Щит и зодчий: путеводитель по древнему Пскову», поэтических сборников «По Руси», «Распутица», «Осенняя песня» и др.

Отплывают они не за счастьем,
А навстречу суровой судьбе…
И в какой же воинской части
Отслужить придётся тебе?

* * *

Эшелон грохотал — на фронт!
На платформах — орудия.
Пил и пел офицерский вагон…
Люди-люди!
«Всё, что было,
Всё, что мило,
Всё давным-давно уплыло…»
Оторвались от тыла.
Проплывали печей могилы…
Обелиски труб…
«Всё, что было,
Всё, что мило…»
А у станции — труп.

Выбегали девчонки в шинелях:
Брёвна — на дрова!..
Подымали их еле-еле…
Раз-два!
Не мужчины!
На глазах курящего чина.

И мелькали талые дали.
И бежали зигзаги траншей.
И девчонки лежали-мечтали,
Мылись снегом, щёлкали вшей.
И колёса скрипели, скрипели…
И качался, стучал вагон.
И тихонько «Лучинушку» пели.

Эшелон грохотал — на фронт.

* * *

Мы все, как солдаты:
Раз-два!
Раз-два!
Раз-два и обчёлся —
Долой голова.

Мы все, как солдаты:
Налево — кругом!
Налево?
Там выпьем
До встречи с врагом.

Не в службу, а в дружбу —
Достанется на всех!
Ругнём нашу службу,
Соврём про успех.

Но то, что нам свято,
У нас не отнять:
Мы все, как солдаты —
Нам насмерть стоять.

Иван Васильев

КАК СОЛДАТЫ ЯБЛОКИ ЕЛИ

В нашей деревне все избы в яблонях. Только яблоки с них невкусные, не всякое и в рот возьмёшь.

Бабка Аксинья рассказала мне историю яблонь.

Вернулись после войны солдатки с ребятами на пепелище, кое-как обстроились, а когда крыша над головой появилась, человек о красоте думать начинает — сад сажает. Но где в то время культурную яблоню было взять? Пошли в лес, накопали дичков.

Дички на траншеях росли. Очень дивно росли — кругами. Видно, сидели солдаты кружком, яблоки ели, семена обронили — так и выросли яблоньки, повторив солдатский круг. Их и перенесли женщины в деревню, обсадили избы.

И хотя теперь совсем просто заменить дички — поехал на базар, покупай какую хочешь, — никто их не вырубает: очень буйно и красиво цветут весной лесные яблони. Но я думаю, не из-за одной красоты щадят жители Усть-Дёржи дикарок, а по какой-то другой причине. Может быть, яблони им кого-то напоминают.

СОЛДАТКИНА ИЗГОРОДЬ

В наших краях приусадебные участки называют немного странно — планы. Говорят, например: «Нынче трава на планах никудышная: помочки не было».

Планы огораживают от скотины изгородями. И в одну жердину, и в две, и в три, смотря по хозяину. Не ленив мужик в доме — изгородь в три жердины, а ленив — в одну кое-как.

Васильев Иван Афанасьевич (1924—1994). Русский советский писатель. Лауреат Ленинской премии (1986). В период Великой Отечественной войны воевал на передовой, на Калининском фронте, был тяжело контужен. Организатор и создатель литературно-художественного музея истории Великой Отечественной войны в деревне Борки Великолукского района. Народный депутат СССР с 1989 года. Член СП СССР с 1972 года.

Но вот уже лет тридцать изгороди на планах не хозяина аттестуют, а говорят, сколько мужиков с войны не вернулось. Если на кольях колючая проволока висит, это солдаткин огород. Отвалила солдаткам война от своих щедрот, целые возы «колючки» оставила — городите, бабы, огороды.

Жердина гниёт, «колючка» ржавеет, человек старится. И стоять бы со временем солдаткиным планам распахнутыми, если бы не электрификация. Пришли в деревню электрики, раскатали деревянные барабаны, подвесили провод на столбы, а что лишку — бросили. Старухи концы размотали, в одну нитку связали да на колья натянули. Глянешь на огороды солнечным днем — дивная паутина блестит, не лето ль бабье наступило?

То не бабье лето красуется, а вдовья доля плачет.

Евгений Маймин

БОЕЦ ГАСАНОВ

У Гасанова было так мало волос на голове, что, как казалось, их можно сосчитать и не ошибиться. Но каждый волосок торчал сам по себе, задиристо и грозно, и это производило внушительное и вместе с тем забавное впечатление. Гасанов вообще был очень забавен. Маленького роста, порывистый, не по возрасту наивный.

Судьба свела меня с ним незадолго до начала войны. Мы служили вместе на Каспии. Он был местным. То есть не из самого Баку, а из аула, из глухой азербайджанской деревеньки, расположенной километрах в семидесяти от Баку. До призыва в армию он работал колхозным бригадиром. Было ему лет тридцать. Нам, девятнадцатилетним, представлялся он стариком. По каким-то причинам ему из года в год давали отсрочку от военной службы, а в начале сорок первого призвали.

Солдатом он оказался, прямо скажем, не из лучших. Это не значит, что он несерьезно относился к своим солдатским обязанностям. Напротив, всегда очень старался. Усердно обучался строевой службе. Старательно заучивал названия частей пушки. Подолгу закручивал свои обмотки, что не мешало им спускаться всякий раз в самый неподходящий момент.

С особой бережностью относился он к своему котелку и ложке. Когда получил котелок, долго сидел над ним с длинным гвоздем в руке, пока не выцарапал на стенке: «Боец Гасан Али оглы Гасанов». «Пусть всегда будет мой котелок», — сказал он при этом.

Был Гасанов человеком чрезвычайно пытливым. Настырным даже в своей пытливости. Задавал самые неожиданные вопросы и чаще всего не соглашался с тем, как на них отвечали. Меня однажды спросил:

Маймин Евгений Александрович (1921—1996). Писатель, профессор, доктор наук. Родился в Воронеже. С 1924 года жил в Ленинграде. В Великую Отечественную войну был артиллеристом, морским пехотинцем, полковым разведчиком. В 1950 году окончил филологический факультет Ленинградского университета. Много лет заведовал кафедрой литературы Псковского педагогического института. Автор книг «Опыты литературного анализа», «Русская философская поэзия», «Я их помню» и др.

— Я живу в Азербайджане. А ты будешь из какой области?

— Из Ленинграда, — ответил я.

— Значит, из Москвы, — возразил он.

— Почему из Москвы? Я сказал, из Ленинграда.

— Зачем споришь, друг? Какая разница! Сперва называли Москвой, потом Ленин умер — Ленинград стали называть.

Как-то мы отправились с ним вместе с острова в увольнение. На шаланде доплыли до Большой земли и пошли гулять по главной улице Баку, по Приморскому бульвару. Он шагал рядом со мной, чуть припрыгивая по своему обыкновению, размахивая руками. И, как всегда, задавал вопросы:

— Скажи, ты женатый? У тебя был любовник? Она плакал, когда тебя провожал?

Навстречу шел патруль. Пехотный командир с двумя кубиками в петлицах — лейтенант — и с ним два матроса. В должный момент я перешел на строевой шаг, готовясь к приветствию. А Гасанов не менял шага. Только еще больше замахал руками и уставился во все глаза на патрульных. Начальник патруля подозвал его к себе:

— Товарищ боец, вы почему не приветствуете?

— А я подумал, что ты солдат, — отвечал Гасанов.

— Значит, по-вашему, солдата приветствовать не нужно?

— Конечно, не нужно. Солдат много. Если всех приветствовать, когда гулять будешь!

Гасанов говорил это совершенно серьезно. Он сознавал себя правым и от этого все время подпрыгивал и кипятился. Патрульный лейтенант тоже кипятился, хотя и по другим причинам. Я думал, что Гасанова заберут в комендатуру. Тем более что времена были насчет дисциплины строгие. Но лейтенант вел себя, по моему разумению, странно: в комендатуру Гасанова не отправлял, а вместо этого разъяснял ему уставные требования и правила солдатского поведения. Гасанов же его ежеминутно перебивал и задавал вопросы. В конце концов лейтенант, весь багровый от напрасных усилий, махнул на Гасанова рукой.

— Иди ты... — сказал он, переходя почему-то на «ты». — Иди к своим командирам. Пусть они тебя учат.

Свои командиры относились к Гасанову не только снисходительно, но даже с нежностью. Чем-то он брал их за душу. Его любил и лейтенант Бурцев, любили и взводные командиры. А командир подразделения части, суровый Кольцов, с некоторых пор стал называть его другом.

Случилось все вот как. Стоял Гасанов на посту. Довольно далеко от расположения батареи. А в это время на остров прибыл Кольцов. Решил он проверить, как идет караульная служба. Пошел без начальника караула, без разводящего на пост. Как раз на тот, где часовым стоял Гасанов. Дело шло к вечеру, но было еще довольно светло. Гасанов издалека заметил, что кто-то идет к нему, заволновался.

— Стой, кто идет? — попытался крикнуть он во весь голос, но голос не подчинился, получилось у него негромко и хрипло.

Тем временем майор Кольцов приближался.

— Стой! Стрелять будем! — хрипел и волновался Гасанов.

Командир молчал и шел дальше. Он был уже близко, и Гасанов узнал его. И оттого, что узнал, стал волноваться еще больше. Он совсем потерялся. А когда Кольцов подошел вплотную, он перехватил вдруг винтовку из правой руки в левую и протянул свободную правую руку:

— А, это ты, командир! Я узнал тебя. Здравствуй!

Кольцова трудно было смутить, но тут он в первый момент растерялся и не нашелся что сказать. Такого с ним еще не бывало. А потом он улыбнулся, широко, во все лицо улыбнулся, и тоже протянул руку:

— Ну что же, здорово! Здорово, друг!

С тех пор другом его и называл. Встретит, бывало, Гасанова в расположении полка, остановит его, спрашивает:

— Как живешь, друг?

А Гасанов, волнуясь, в ответ тот же вопрос задаст:

— А ты как живешь?

— Я что-то неважно, понимаешь, живу, — улыбался Кольцов.

— Зачем обманываешь! — говорил ему Гасанов. — Ты командир. Как ты можешь плохо жить!

Майор так полюбил Гасанова, что даже отпуск на неделю предоставил (отпуска тогда были редким исключением). За отличную стрельбу. Никогда Гасанов в стрельбе не отличался, а тут, когда на учебные стрельбы прибыл командир Кольцов, с ним настоящее диво приключилось. Стреляя из боевой винтовки, двадцать семь из тридцати возможных выбил. Мы даже не сразу поверили, что такое могло быть. А Кольцов долго тряс руку своего друга, поздравлял его. Потом спросил:

— Семья у тебя есть, Гасанов?

— Как же нет семья? — отвечал Гасанов. — Жена есть. Сына три штуки есть.

— Ну вот и хорошо, — сказал Кольцов. — Поезжай к ним на неделю. Проведай. Награждаю тебя за успехи в боевой и политической подготовке.

Это было в конце марта 1941 года. В первую неделю апреля Гасанов вернулся из отпуска. Разговорчивый, довольный. Больше всего о сыновьях своих рассказывал.

— Ты не думай, — говорил он мне, — они на меня совсем не похожи. Очень красивый. Стройный. Большой ростом. И волос на голове много.

А спустя два с половиной месяца, двадцать второго июня, началась война.

С этого дня мы были в походах, в боях рядом, вместе до декабря 1941 года. Точнее, до девятого декабря, до того боя под Самбеком, в котором многие из наших ребят погибли.

Путь наш к Самбеку был такой. Начало войны застало нас в Ленинакане. Потом около месяца мы проходили доформировку и ремонт материальной части в Махачкале. В середине ноября мы двинулись к Ростову-на-Дону.

Немцы тогда только что захватили город Ростов-на-Дону, и перед нами была поставлена задача снова овладеть им.

Со своими 37-миллиметровыми зенитными пушками, предназначенными также и для стрельбы по наземным целям, сопровождая танки 54-й танковой бригады, мы шли через станицу Аксай на Ростов. Форсировали Дон. В ночной атаке отбили Ростов у противника и продолжали его преследовать в направлении к Таганрогу.

На станции Синявская мы остановились на короткий отдых. На станции в ту пору располагался штаб 9-й армии, и там была столовая для комсостава, где можно было за деньги (случай на войне редкий) хорошо поесть.

То, что в столовую пускали только средних и старших командиров, а мы были младшие и просто рядовые, нас не смущало. Одетые в полушубки, мы вполне могли сойти за комсостав.

Собираясь в столовую, Гасанов решил взять с собой котелок. Я не мог ему этого позволить.

— Ты это брось, — сказал я ему. — Из-за твоего котелка нас сразу разоблачат. Зачем он тебе?

— А если тарелка не хватит? Как буду без котелка?

— Хватит тебе тарелка, — сказал я.

Хотя мне и удалось уговорить Гасанова насчет котелка, он все-таки разоблачил себя и нас. Притом самым неожиданным образом.

Мы сидели в теплой столовой — на дворе мороз был за тридцать, — сидели за столом, покрытым чистой белой скатертью. Против каждого на столе лежали ложка, вилка и нож, а посередине стояла тарелка с тонко нарезанным хлебом. Мы ждали, когда подадут заказанный нами обед, и чувствовали себя, как говорится, распрекрасно.

Только Гасанов проявлял видимое беспокойство и не отводил глаз от тарелки с тонко нарезанным пшеничным хлебом. Именно этот тонко нарезанный хлеб — я это понял потом — казался ему чем-то чуждым и странным и потому привлек к себе его внимание. Он вдруг взял в руки вилку и ручкой ее стал громко стучать по столу:

— Официантка, ко мне!

К нам подошла милая светловолосая девушка в белом переднике, спросила:

— Что вам, товарищи командиры?

Гасанов посмотрел на девушку строго и сказал:

— Где моя пайка хлеба? Почему ты не дал мне мою пайку хлеба?

Конечно, по словам Гасанова все сразу поняли, кто мы такие. Подошел дежурный по столовой. Выгонять нас не стал, дал дообедать. Но впредь наказал не ходить: не положено.

Это было — очень хорошо я запомнил — шестого декабря. А девятого декабря, под Самбеком, мы вступили в бой с немецкими танками и самолетами.

Еще в шесть утра все было тихо. Небо было темно-глубоким, безоблачным и беззвездным. На дальнем краю его чуть заметно занималась заря.

К нам подъехала кухня. С того обеда в комсоставской столовой мы почти ничего не ели. Кухня днями отсиживалась от немецких самолетов, которых особенно много было в первые месяцы войны, а ночами все догоняла нас. И вот только теперь догнала.

Повар Ванюша Сучков, маленького роста и непомерно широкий в плечах, разлил нам по котелку горохового супа с мясом и выдал по краюхе сильно подмерзшего хлеба. Но все это так и осталось нетронутым.

Только мы взялись за ложки, как услышали над собой гул самолетов. Потом не только сверху, но и вокруг все загудело. На нас двигались немецкие танки. Заходя кругами, один за другим пикировали «юнкерсы». Мы оставили котелки и бросились к своим пушкам. Стреляли из пушек очередями то по самолетам, то по танкам.

Сколько стреляли, как в точности было, не помню. Не только теперь не могу сказать этого, но и тогда сказать не смог бы. Все было как в тумане.

Помню только, что осколками бомбы заклинило вдруг одну, а затем и другую пушку. Мы взяли в руки автоматы, положили рядом с собою связки гранат и залегли, продолжая держать оборону. Вот тогда-то и вышел вперед Гасанов. Он вышел сам, без приказа. Его никто не посылал. Несмотря на сильный мороз, он шел в распахнутом полушубке, в полный рост, как всегда заметно подпрыгивая. Пройдя несколько десятков шагов, он бросил связку гранат в направлении переднего немецкого танка. И в тот же момент словно кто-то его толкнул, опрокинул на спину, навзничь, — и темное, большое кровавое пятно расплылось на снегу.

Бой продолжался, казалось, бесконечно. Время потеряло свой отсчет. После боя нас осталось мало. Но немецкие танки не прошли, оборона была удержана.

Ближе к вечеру, после того как последние немецкие самолеты, отбомбясь и отстрелявшись, улетели и все более или менее затихло, мы оттащили мертвое тело Гасанова и вместе с другими убитыми похоронили в свежевыкопанной братской могиле.

И только после этого мы осмотрелись и все увидели. На месте, где прежде стояла наша батарея, было черно и пустынно. Изрытая воронками земля. Тут и там валявшиеся осколки металла. Искореженные орудия, торчавшие бесформенными бугорками из-под потемневшего снега. И лишь один котелок, чудом уцелевший и даже сохранивший свои очертания, стоял нетронутым среди всеобщего запустения.

Он был весь черный от пороховой копоти и сажи, и внутри него каменно застыла темно-серая ледяная масса — то, что было прежде гороховым супом. А на стенке котелка — или мне это только показалось? — в закопченной черноте чуть высвечивалось, мерцало выцарапанное гвоздем: «Боец Гасан Али оглы Гасанов».

ЧАС ОТМЩЕНЬЯ

Ночлег

Так ласково день догоревший,
Так мирно отходит ко сну.
И ветер, как хмель присмиревший,
Прилёг до утра под сосну.

И мнится: в доверчивом мире
Ни крови, ни ярости нет.
Но утро взорвётся в четыре,
И дело зажжётся чуть свет.

Свинцом раскалённым подует,
Свирепый тротил хлобыстнёт,
Разверстая кровь забедует,
И кто-то судьбу проклянёт,

Кого-то надежда обманет,
Кого-то Звезда озарит,
И кто-то вовеки не встанет,
И кто-то в огне не сгорит.

Григорьев Игорь Николаевич (1923—1996). Родился в деревне Ситовичи Порховского района Псковской области. Во время Великой Отечественной войны был подпольщиком, партизаном-разведчиком. В 1954 году окончил филологический факультет Ленинградского университета. Автор поэтических книг «Листобой», «Забота», «Красуха», «Не разлюблю», «Жажда», «Стезя», «Крутая дорога», «Боль» и др. Член Союза писателей России.

Но это — потом. А покуда —
На целых четыре часа —
Покоя недоброе чудо,
Как веки, смежает леса.

Мы — тоже ведь чада природы,
Нам тоже не грех прикорнуть.
Ещё окаянные годы
Пошлют нас в пылающий путь.

22 июня 1941

Вот такое воскресенье
На святой Руси!
Светопреставленье!..
Боже, пронеси!

Грозна доля наша,
Пробил чёрный час:
Горестная чаша
Не минула нас.

В долгую дорогу —
С нынешнего дня.
Слёзы на подмогу —
Русская броня.

Пропадать зазряшно
Нам не привыкать…
Умереть не страшно —
Страшно умирать.

После налёта

Нет больше в небе «каменной стены»,
Какой вчера кичиться мы любили:
Три «юнкерса» — на третий день войны! —
За Плюссой мост и эшелон сгубили.

А их — случись — жаканом из ружья
Смахнул бы вниз, не то что из зенитки…
Мужи и жёнки не кляли вражья:
Совсем молчали. Все в крови до нитки.

7 июля 1941, за Плюссой
(у железнодорожного моста)

Постижение

Деревню взяли! С виду — люди:
И без копыт, и без клыков.
Казалось, нет ни зла, ни жути
У чужеземных мужиков.

На Мундхармоника[1] верзила
Играл «Катюшу»… Ну и ну!
Беда не шибко загрозила
(Хоть без беды — нельзя в плену).

Но это утро только мнилось —
Явь лихолела проклято:
К полудню всё переменилось,
И мы постигли, кто есть кто.

Не помня, что такое — милость,
Забыв, что есть на свете месть,
В «сверхчеловека» обратилась
Тевтонская тупая спесь.

[1] Губная гармошка *(нем.)*.

С чужих ремней любая пряжка
Кощунствовала: «Гот мит унс»[1].
И к лютой виселице тяжко
Шёл раненый великорус.

Непокорство

Будто матерь горевая
Над сынком, в крови лежачим,
Жжёт метель, стеня-взывая
Неподдельным русским плачем.

Словно вдовая невеста
Над любимым соколёнком,
Не находит замять места,
Захлебнувшись в стоне звонком.

Точно горькая сиротка
Над родительской могилой,
Тужит хвиль пугливо-кротко
Над судьбой своей постылой.

А кругом, в ночи-неволе, —
Ворог, проклятый трикратно.
Замерзает наше поле,
Замирают наши хаты.

Но мы слышим, слышим, слышим
Жаркий голос русской вьюги.
Да! Мы дышим, дышим, дышим —
Копим жилистые руки!

1 января 1942, Плюсса

[1] С нами Бог *(нем.)*.

После войны

Постой у разбитой опушки,
Ничуть не боясь, подыши.
«Грохочет!..» — Гуляют лягушки.
«Крадется!..» — Встают камыши.

«Взывают нещадные трубы!..» —
Не рвись: гомонят журавли.
«Над лесом багровые клубы!..» —
Заря доспевает вдали.

«Стенанья протяжные вдовьи!..» —
Не майся: неясыть поёт.
И полнится синею кровью
Раскиданный паводком лёд.

И месяц линём неторопким
Полощется в пенном пруду…
И станешь ты тихим и робким,
Зачем-то с собой не в ладу.

Зачем-то к земле равнодушной
Прижмешься горячей щекой,
Как в детстве сгоревшем, послушный,
Вздохнёшь, что совсем не такой.

Ах, как мы отвыкли от вёсен!
Ах, как мы без них не могли!..
Копейки сиреневых блёсен
На рыжую глину легли.

Иван Курчавов

ТРАГЕДИЯ КРАСУХИ
(отрывок из книги очерков «Городок на Шелони»)

Фашисты терпели на фронте одно поражение за другим и вымещали злобу на беззащитном населении. Пример тому — трагедия порховской деревни Красухи.

Это произошло в субботу, 27 ноября 1943 года. Неожиданно раздался несильный, но гулкий взрыв. На мостике, перекинутом через ручей, взрывом перевернуло немецкую легковую машину. Кто-то в ней был убит или ранен, и его увезли в сторону деревни Веретени. В Красухе стали обсуждать случившееся: кто бы мог это сделать? Партизанам категорически запрещено совершать диверсии в населенных пунктах: нельзя навлекать беду на жителей. Позднее поговаривали о том, что нашел мину и заложил ее под мост какой-то подросток из соседней деревни и что потом он погиб на фронте.

Одно очевидно: жители Красухи не были повинны в этой малой диверсии. Озверевшим фашистам нужен был лишь повод...

В Красухе появились машины с вооруженными солдатами. Каратели спрыгивали на землю и брали наизготовку винтовки, словно собирались идти в атаку. Алексей Дмитриевич Дмитриев, выскочивший из дома и попытавшийся убедить немцев в том, что жители ни в чем не виноваты, был тут же заколот штыком. Фашисты стали выгонять из домов женщин, детей, стариков. Были тут и беженцы из-под Старой Руссы. Больную, метавшуюся в бреду Нину Шикунову вынесли из дома родственники. Вывели из дома и маленьких детишек, дрожавших от страха и холода.

Дом заполыхал быстро. А когда он разгорелся вовсю, усатый фельдфебель посмотрел на солдат и что-то сказал им вполголоса. Он вынул из пачки сигарету, прикурил от зажигалки, сделал глубокую затяжку

Курчавов Иван Федорович (1916—2002). Член Союза писателей СССР. Наиболее значительным произведением И. Курчавова является трилогия «Московское время», известны его роман «Цветы и железо», сборник очерков «Фронтовые были», роман «Теплынь в Студенце», документальные повести «Ольга и Сергей», «Красуха». С первых до последних дней войны И. Курчавов в действующей армии — на Ленинградском и Волховском фронтах. До конца февраля 1942 года находился в кольце блокады Ленинграда.

и отвернулся от горящего дома. Солдаты не спеша подходили к детям. Они хватали их, испуганных, царапающихся, плачущих, и бросали в бушующее пламя. Больная Нина с ужасом смотрела на происходящее. Когда стихли голоса заживо сожженных ребятишек, гитлеровцы приподняли и ее. Они раскачали больную и швырнули в огонь.

Оставшихся в живых стали бить прикладами и показывать на гумна, к которым со всех концов деревни гнали людей. Кое-кому, единицам счастливцев, удалось скользнуть в глубокую канаву. Уже за деревней среди спасшихся оказалась и комсомольский вожак Красухи Женя Павлова. Она была в безопасности. Но глаза у нее застыли от ужаса...

— Поползли, Женюшка! — ласково предложили ей.

— Не могу! — с отчаянием произнесла Женя. — Там подружки мои, комсомолки там наши. Может, помогу еще, может, кого спасу!

Полчаса назад ее гнали к гумну вместе с другими. Отец, колхозный бригадир Василий Павлович Павлов, посоветовал дочери бежать: он тогда подумал, как и другие красухинцы, что их погонят в Германию, а у Женьки характер гордый и строптивый — не ей быть в рабынях! Послушавшись отца, она прыгнула в канаву. По ней стреляли, но промахнулись. Теперь, уже со стороны, она видела, как к большим воротам гумна, куда гнали людей, немцы тащили доски, солому и канистры с горючим. Страшная догадка осенила ее: фашисты намерены сжечь людей живыми. Но она знала, что с обратной стороны этих гумен есть маленькие дверцы, в которые при молотьбе обычно выбрасывают плевел и прочие отходы.

— Я доберусь туда, я открою эти дверцы! — Женя показала рукой на гумна. — Я спасу наших девочек, я всех спасу!

И поползла обратно к гумнам. Подползла. И стремглав бросилась к тем маленьким дверцам, которые могли стать чудесными спасительными воротами для обреченных.

Женю заметили палачи. Один из солдат наставил ей в грудь штык, другой притащил вилы. А девушка стояла с гордо поднятой головой и что-то гневно бросала в лицо убийцам. Что? Люди, которые видели все это из далекой канавы, разобрать не могли. Фашисты в ярости пронзили Женю вилами и штыком.

Ужасная мысль обожгла мозг Марии Лукиничны Павловой, когда ее со свекровью и ребятами — одиннадцатилетней Ниной, шестилетним Витей, детишками рано умершей сестры мужа — десятилетней Галей и семилетней Надей — погнали к раскрытому настежь гумну. Кругом были солдаты с непроницаемыми лицами. Офицер кричал громко и исступленно:

— Кто знайт диверсант, будет милость! Кто знайт, где партизан, будет миловайт! Три шага вперед!

Но никто не сделал три предательских шага. Если красухинцы и не знали человека, совершившего диверсию, то они могли бы назвать не одну, а несколько партизанских баз. И не назвали. Промолчали все.

— Один минут размышлений! Кто учинийт диверсий? Где партизан и кто их укрывайт? Три шага вперед!

И опять никто не сделал три этих шага.

Офицер зябко поежился и поднял воротник кожаного пальто. Еще Мария Лукинична заметила на нем начищенные сапоги, черные перчатки, которые он то снимал, то снова натягивал на руки. Офицер часто поглядывал на часы, щуря подслеповатые, в пенсне, глаза. Потом вдруг нахмурил брови и небрежно махнул рукой.

Людей начали толкать к гумнам. Перед Марией Лукиничной шли две молодые беженки. Они попытались остановиться, но их ударили прикладами и швырнули в гумно силой. Только сейчас Мария Лукинична заметила, что ее дети и племянники исчезли: их увлекла подгоняемая прикладами, штыками и пинками толпа. В это мгновение сильный удар свалил ее с ног. Она потеряла сознание и уже ничего не видела и не слышала. В двух гумнах дело шло к ужасному концу. Офицер взглянул на часы и решительно махнул рукой.

— К делу! Быстро! — скомандовал он.

Ему не пришлось повторять приказ. Солдаты бросились к воротам гумен, прикрыли их и стали забивать досками. Принесли канистры с горючим и облили ворота и стены. Обреченные почувствовали резкий запах бензина, отчаянно заколотили в ворота кулаками и ногами. Подростки сделали еще одну отчаянную попытку выбраться на волю — через соломенную крышу. На крыше их скосили автоматные очереди.

Офицер еще раз махнул рукой. Солдаты поднесли к гумнам горящие факелы. Вскоре оба гумна превратились в высоченные костры.

Сквозь бушующее пламя и клокочущий сизо-бурый дым неслись стоны, плач и крики. Солдаты отвечали на эти крики беспощадным огнем винтовок и автоматов. К офицеру подвели женщину.

— Мать! — весело доложил подвыпивший солдат. — Желает видеть своего ребенка!

— Разрешайт! — ухмыльнулся офицер.

Женщину опрокинули на землю, взяли за руки и за ноги и бросили в огонь.

Этой матерью была Мария Шикунова, одна из тех, кто отбывал тяжкую повинность в бывшем господском имении Нестрино. Как только она заметила дым над Красухой, бросилась бежать туда: в деревне остался ее маленький сын. Боялась, угонят людей с сынишкой. И вот прибежала — чтобы погибнуть вместе со своим первенцем...

А Мария Лукинична Павлова пришла в себя тогда, когда догорали оба гумна. Безумными глазами смотрела она на все то, что осталось от самых дорогих для нее существ. Палачи уже отошли от пожарища. Мария Лукинична поползла в сторону. В соседнюю деревню она приковыляла под вечер. Ее едва признали. Она походила на помешанную, на нее было страшно смотреть.

Вряд ли когда-либо удастся восстановить имена всех несчастных, ставших жертвами фашистов 27 ноября 1943 года.

Погибли все жители Красухи, в их числе дети от шести месяцев и старухи до восьмидесяти двух лет. Чудом вырвались из этого ада лишь несколько человек.

Были еще и гости из Ленинграда, летний отдых для которых окончился трагически.

Были беженцы из-под Старой Руссы и из соседних селений, пережившие трагедию у себя и погибшие в Красухе...

Партизанский край продолжал существовать долго, его не сокрушили три крупные карательные экспедиции оккупантов. 18 июня 1942 года там состоялась первая партийная конференция. Присутствовало 56 делегатов, и не только партизан, но и колхозников. Эти делегаты пробирались тайными тропами, чтобы обсудить первые итоги и новые задачи по усилению борьбы с врагом. Докладчик — комиссар 2-й партизанской бригады и политический руководитель края Сергей Алексеевич Орлов. Ему было что сказать делегатам: почти год партизаны вели героическую борьбу в тылу противника, нанеся ему ощутимые потери. Решение конференции вылилось в клятву: пока в Партизанском крае останется хоть один коммунист, ни на один день не потухнет борьба с ненавистным врагом, партизаны не выпустят боевое оружие из рук.

Прошло немного времени, и партизаны доказали, что они верны этой клятве.

В августе 1942 года гитлеровцы начали свой четвертый карательный поход. С фронта была снята целая пехотная дивизия. Ее усилили танками, артиллерией и авиацией. Бои были жаркими и кровопролитными. Только

при переправе через реку немцы потеряли пять танков и до тысячи солдат и офицеров.

Почти месяц продолжалось сражение. Гитлеровцам удалось захватить и выжечь три района, но сокрушить партизан они не смогли. Народные мстители перебрались в другие районы Псковщины, уведя с собой стариков и детей, для которых было заранее подготовлено надежное убежище.

В южной части Порховского района действовала 3-я Ленинградская партизанская бригада. Ее командиром был Александр Викторович Герман.

На территории Порховского района в разное время действовало несколько партизанских бригад, но 3-я стала самой «своей». Порховский межрайонный подпольный партийный центр был переподчинен политотделу этой бригады. «Тройки» и сельские уполномоченные развернули сбор продовольствия и теплой одежды. Порховская и славковская «тройки» передали бригаде свыше шестисот тонн зерна.

В боях с фашистами в ходе четвертой карательной экспедиции понесла ощутимый урон и 3-я бригада. Из Партизанского края она вышла в небольшом количестве — всего 200 человек. По району пронесся призывный клич: все, кто может носить оружие, — в ряды народных мстителей! И потянулись люди в леса. Не оставались в деревнях и женщины, уходили и матери, оставив малолеток на попечение своим матерям или свекровям. В мае 1943 года 3-я бригада А. В. Германа уже насчитывала до двух тысяч партизан, готовых к схватке с врагом.

В октябре 1942 года партизаны осуществили успешный налет на вражеский гарнизон в деревне Ясно, где собрались на совещание немцы и предатели полицейские.

Настала пора наносить ощутимые удары по железным дорогам, узлам и мостам. В историю эта операция вошла как «рельсовая война». Комбриг Герман лично готовил специальные группы. Фашисты стали предусмотрительно посылать впереди воинских эшелонов бронедрезины, ощетинившиеся крупнокалиберными пулеметами. Но дрезины проходили мимо, а эшелоны с грохотом летели под откос. В феврале 1943 года партизаны уничтожили все хозяйство на станции Подсевы и на разъезде Уза взорвали мост через реку. А это была важная магистраль, по которой через Порхов и Дно шло пополнение живой силой и техникой немецких войск под Ленинградом и Старой Руссой.

В «рельсовой войне» отличились десятки и сотни партизан. Ежедневно в боевых рапортах бригады упоминались все новые герои.

Самой удачливой была группа комсомольца Сергея Загребина. Он и его друзья немногим более чем за год пустили под откос девять вражеских эшелонов. Орденом Ленина отметила Родина подвиги отважного комсомольца.

Партизанская столица Ровняк стала костью в горле фашистских оккупантов. Они повели атаки на эту деревню, но всякий раз с потерями убирались восвояси. В середине марта — новое наступление. Месяц шли ожесточенные бои. Было подбито шесть вражеских танков, убито и ранено до полутора тысяч солдат и офицеров. Образованный командир, Александр Герман грамотно применял свою тактику: на пути карателей он устраивал засады, проводил внезапные налеты там, где противник меньше всего их ожидал, всегда вовремя выводил полки из боя, чтобы сосредоточить их в нужном месте.

«Рельсовая война» не знала пауз. Ночной порой 21 августа 1943 года бойцы 3-й Ленинградской совершили бросок к железнодорожной магистрали Псков — Порхов и уничтожили 228 гитлеровских захватчиков, взорвали 9 железнодорожных мостов, разбили паровоз и 38 вагонов. В октябре германовцы пустили под откос 15 немецких эшелонов, подняли в воздух 10314 рельсов, 10 железнодорожных и 29 шоссейных мостов, порвали 92 километра проводов телефонной связи.

Используя гибкий маневр, 3-я партизанская бригада перебазировалась в Новоржевский район. Туда было направлено до 14 тысяч карателей. Бои шли упорные, однако огромный перевес врага сказался.

Немало полегло в тех схватках. Болью в сердце каждого партизана отозвалась весть о гибели любимого комбрига Александра Викторовича Германа, который, уже будучи раненным, пытался вывести людей из окружения. Многие оказались спасены, но Герман погиб. Его именем была названа 3-я партизанская бригада, а ему посмертно присвоено высокое звание Героя Советского Союза.

Невозможно поделить по районам заслуги партизан и потери немцев. За годы войны на героической земле Псковщины уничтожено 150 724 гитлеровца, выведено из строя 1602 паровоза и 24 741 вагон, взорвано и сожжено 2687 шоссейных и железнодорожных мостов, подорвано свыше 190 тысяч рельсов, на земле и в воздухе уничтожен 121 вражеский самолет. Сюда можно добавить сотни автомашин, танков, пушек, минометов и прочей боевой техники.

27 января 1944 года город Ленина салютовал доблестным войскам Ленинградского фронта 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий.

Салют был посвящен знаменательному событию — полному снятию 900-дневной вражеской блокады.

Подводя итоги этой великой победы, командующий фронтом Маршал Советского Союза Л. А. Говоров писал: «Немцы потерпели под Ленинградом жестокое поражение. Еще незадолго до нашего наступления они хвастливо утверждали, что русские ни при каких условиях не смогут преодолеть пресловутый «северный вал», их «железное кольцо». Они действительно использовали все средства, чтобы сделать неприступными свои позиции под Ленинградом, сохранению которых гитлеровское командование придавало исключительное значение. Оборона немцев имела глубину в несколько десятков километров и опиралась на ряд мощных узлов и крепостей, подобных крепости, созданной ими в Красном Селе. Передний край противника состоял из нескольких траншей полного профиля, имел тысячи железобетонных, броневых и деревоземляных огневых точек, был усилен всевозможными противотанковыми и противопехотными препятствиями и до предела насыщен огнем. Противник имел здесь не только исключительно большое количество автоматического оружия, но и чрезвычайно мощную группировку крупнокалиберной дальнобойной артиллерии, из которой обстреливал Ленинград и на которую опиралась вся его оборона».

Так было не только под Красным Селом, так было всюду. И все же долговременная, глубоко эшелонированная, мощная немецкая оборона была взломана на всех участках. За месяц наступательных боев воины-ленинградцы нанесли врагу огромнейшие потери: около 100 тысяч убитыми и ранеными, до 4000 орудий, свыше 450 танков, около 5000 минометов и неисчислимое количество пулеметов, автоматов и прочей техники.

После освобождения города Дно, в честь которого салютовала Москва, части Красной Армии вышли на Порховское направление. Освободить Порхов предстояло 285-й стрелковой дивизии под командованием полковника И. Д. Соболя, 288-й стрелковой дивизии генерал-майора Г. С. Колчанова и 198-й стрелковой дивизии генерал-майора М. С. Князева.

Перед советскими воинами уже была река Шелонь, а на ней древний Порхов. «В ночь на 26 февраля части Красной Армии овладели городом Порхов, — писали корреспонденты фронтовой газеты «На страже Родины». — Захват этого важного узла вражеской обороны — пример искусных действий наших бойцов и офицеров, которые на практике осуществляют требования Верховного Главнокомандующего о преследовании противника и смелом маневре. Вот как развивались бои за Порхов.

На реке Шелонь и к северу от города немцы создали крепкий промежуточный рубеж обороны от деревни Вир до Лаз...» Газета обстоятельно показала весь ход боев по освобождению города.

Всюду поспевающие агитаторы рассказали бойцам, что в одном-двух километрах от деревни Лаз в девятнадцатом году были остановлены, а затем обращены в бегство белые орды. «Черные орды побегут еще быстрее!» — заверяли бойцы, приглядываясь к местности. Зрелище появившихся в деревне факельщиков подхлестнуло воинов. В ночной темноте они поднялись на левый берег и вышли к деревне. Все дома не спасли, но факельщики трусливо бежали. На тот берег переправились и другие группы советских бойцов и ударили во фланг укрепившегося противника.

Успешно шло наступление и с другой стороны — от Полоного и Малитина. На этом рубеже противник сопротивлялся целый день, даже сумел предпринять несколько контратак, но вынужден был отступить. Гитлеровцы оставили Малитино, Турово, бежали из совхоза «Полоное». Расстояние до города уже измерялось не километрами, а сотнями метров. Стремительно преследуя фашистов, советские воины заняли Попадинку — пригород Порхова.

В боях за Порхов гитлеровцы потеряли от половины до двух третей личного состава в каждой роте. 322-й полк 285-й дивизии за три дня недосчитался свыше 300 солдат и офицеров. В районе Порхова советские воины захватили 10 танков, более 50 пулеметов, 27 орудий, 12 тракторов, 20 тысяч снарядов и гранат, уничтожили 4 тысячи гитлеровцев.

— Мы никак не думали, — показывал растерянный, плененный фриц, — что у этого маленького городка мы понесем такие большие потери!

— Городок-то маленький, да удаленький! — велел перевести немцу командир 285-й стрелковой дивизии Иван Дорофеевич Соболь.

— Передай ему еще, что били их бойцы 285-й. Да-да, он не ослышался, — сказал полковник, заметив недоуменный взгляд немца. — Их 285-ю била советская 285-я! Хорошо била!

ДЕРЕВНЯ

Растут и стареют деревья.
Кручинятся вдовы в тоске.
Не раз полыхала деревня
На ветреном том большаке.

Мечом попирая законы,
Вокруг сея ужас и страх,
Её запалили тевтоны,
С крестами на белых плащах.

Оплакав тяжёлое горе,
Мужик начинал всё с кола.
Но шляхтич надменный Баторий
Спалил деревушку дотла.

Крестьяне века вековали,
За лучшее бились житьё.
И белые здесь лютовали,
Фашисты сжигали её.

Изюмов Евгений Александрович (1926—1990) детство и юность провел в Ленинграде. В осажденном городе перенес блокаду. В 1944 году был призван на военную службу. Награжден орденом Отечественной войны II степени и двенадцатью медалями. С 1955 года регулярно публиковался в газетах Псковской области, а также в центральных газетах и журналах. В 1971 году в Лениздате вышел сборник стихов «Трудные версты». В 1981 году — второй сборник, «Светлица-река». В 1989-м опубликована книга очерков Евгения Изюмова «Их имена забыться не должны», посвященных псковичам и гостям земли псковской.

С победой из вражьей столицы
Вернулись солдаты домой…
Деревня, как вещая птица,
Из пепла восстала живой.

Колышутся льны голубые,
Челом бьёт высокая рожь…
Деревня — кровинка России,
А Русь на кострах не сожжёшь!

КУРГАН

В лесу на зелёной поляне,
Где пахнет нагретой смолой,
В заросшем цветами кургане
Лежит партизан молодой.

Там бабочки кружатся низко
Погожим, безветренным днём.
И стынет гранит обелиска,
И звёздочка светит на нём.

Приходят мальчишки к кургану
Салют пионерский отдать…
Над сыном своим партизаном
Склоняется Родина-мать.

«ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»

Российских женщин гордую осанку
В дороге дальней каждый вспоминал.
Красивый марш «Прощание славянки»
Забытый композитор написал.

В напеве труб — разлуки отголоски,
Ржаного поля говор ветровой…

Под этот марш в метель от стен кремлёвских
Полки с парада уходили в бой.

В снегах пылали вражеские танки.
— Назад ни шагу! Защити свой дом! —
И помогали гордые славянки
Родной Отчизне праведным трудом.

Выходит солнце по утрам на стражу,
Над мирным краем музыка плывёт.
Но если мне страна моя прикажет,
Под этот марш и я уйду в поход!

ДВЕ МАТЕРИ

Сражались за Родину парни,
Себя не щадя на войне.
На том Сандомирском плацдарме
Лежать бы навеки и мне.

Но славная девушка Даша,
Солдатскую верность храня,
Меня отыскала средь павших
И к жизни вернула меня.

Есть в женщинах добрая сила
И щедрая нежность тепла:
Одна — возле сердца носила,
Другая — от смерти спасла.

Вдыхаю берёзовый ветер,
Живу, головы не клоня.
Я самый богатый на свете:
Две матери есть у меня!

* * *

Привычная российская картина:
Застыли обелиски у дорог.
На пепелище выросла рябина,
И пьёт она земли целебный сок.

Шумит беспечно, ветками качая,
Встречает птиц и провожает вдаль.
И ничего, кудрявая, не знает,
Какая скрыта в той земле печаль.

* * *

Над рекою утром рано
Воздух стынет в вышине.
Как с картины Левитана,
Осень вдруг сошла ко мне.

Солнце медленно восходит,
Зябко ёжится вода.
Где-то рядом, на подходе,
Притаились холода.

Снегопад не испугает,
Только грустно, мой дружок, —
Никогда уж не растает
На висках у нас снежок.

Мы мечтали и любили,
Были мечены огнём.
Мы такое пережили…
И мороз переживём!

Михаил Иванов

ВСТРЕЧИ НА ФРОНТОВЫХ ДОРОГАХ
(из книги «На грани смертельного круга», Псков, 2004)

И на русского солдата
Брат-француз, британец-брат,
Брат-поляк и все подряд,
С дружбой, будто виноватой,
Но сердечною глядят.

А. Твардовский

Чем ближе мы подходили к Германии, тем чаще попадались нацистские лагеря смерти. Создавалось впечатление, что организаторы их готовили индустрию уничтожения народа с учетом стоимости перевозок «сырья», во-первых, а во-вторых — боялись мести населения стран, которые, узнав о лагере на их территории, стали бы искать контакты с узниками, и правда о фашистском режиме, чего, при всей наглости нацизма, они опасались, распространилась бы по континенту. А может, боялись массового побега узников к партизанам или в группы сопротивления, и тогда отряды повстанцев пополнились бы самыми стойкими бойцами-антифашистами, прошедшими курс идеологического воспитания в системе национал-социалистического образования. Заполучив оружие, они стали бы бороться — и боролись, как показало время, с фашистами, даже мёртвыми. Возможно, были и другие мотивы, побуждавшие рейх держать узников поближе к своей стране, — не знаю, но, какие бы ни были мотивы, позабыть, тем более оправдать увиденные злодеяния не способно ни время, ни новые идеологические теории. Картины встреч и жизни узников невозможно позабыть.

Иванов Михаил Федорович (1924—2010). Родился в деревне Жуковичи (ныне Струго-Красненского района). Во время войны вступил в 10-ю Ленинградскую партизанскую бригаду и участвовал в боевых операциях. С февраля 1944 года воевал в 46-й Лужской стрелковой дивизии, прошел от Невы до Эльбы. Издал книгу о выдающемся советском ученом-физике В. А. Лихачеве, воспоминания участника Великой Отечественной войны «На грани смертельного круга». Член Союза писателей РФ.

Нельзя! Невозможно! Непростительно!

И хотя прошло много лет и заботы мирных дней должны сгладить в памяти виденное — в душе хранятся они и будоражат неправдоподобностью пережитого, стоят те картины с рядами колючей проволоки, апельплацами, бараками, сторожевыми вышками и людьми, вид которых опалял сердца солдат, добавлял ненависти, всю жизнь потом являясь во сне столь ярко, что мы просыпались в ужасе.

Многие солдаты, особенно не попавшие в оккупацию, увидев горы человеческих волос, предназначенных для набивки матрацев, бочки мыла из людского жира, абажуры из татуированной кожи мужчин, склады детской и женской обуви и одежды умерщвленных, не могли прийти в себя. Все здесь использовалось во славу рейха.

Спустя много лет мы, группа псковичей, побывали в Бухенвальде. Гид показывал вещественные доказательства зверств. Женщины стали падать в обморок, мужчины плакали, и гиду пришлось прекратить экскурсию, хотя лагерю был придан музейный вид. А каково было нам, открывшим ворота тех лагерей?

Я не ходил смотреть лагеря ради любопытства — пережитое под Старой Руссой в лагере, до ухода в партизаны, возродило бы отчаяние, посыпало бы соль на раны.

При встрече с узниками первыми бросались к нам русские. Это не удивительно: по молчаливому согласию иностранцев, такое право по праву принадлежало соотечественникам, ибо граждане России подвергались за непокорность и противоборство большему преследованию и уничтожению, чем другие.

Радость встречи была непомерной. Особенно бурно и эмоционально выражали чувства женщины. Каких только ласковых слов не говорили они, смеясь и плача одновременно, целуя и обнимая, гладя и ощупывая, не веря в реальность прихода советских воинов.

«Милые! Ненаглядные! Родные! Сыночки дорогие!» — рыдали неуёмно, не в силах сделать шага от волнения, уткнувшись лицом в ладони.

С бойцами постарше женщины вели себя сдержаннее, с нами, мальчишками, были по-матерински искренни, откровенны — изливали радость безудержно, поразительно быстро переходя от восторга к печали, от слез к улыбке, от причитаний к вопросу, от крика к шёпоту.

— Кто из Смоленска? — спрашивали. — Нет ли минчан? Сынок, а ты не из Полтавы? — сыпались вопросы в поисках земляков.

Припадали к шинели, гладили лица, жали руки, заглядывали в глаза...

Их можно понять — каждый советский для них посланец родины, дорогой человек, с приходом которого возвращалась жизнь. А увидеть родину, родных, отчий дом... — этого не понять не испытавшему меру унижения попавшего в лагерь. Годы, месяцы, недели, дни и часы и даже минуты жили они одной мечтой, одной надеждой дождаться своих, хоть глазком посмотреть на советского солдата, тогда и помереть можно, как говорили женщины.

И вот он пришел! Это ли не радость! Это ли не счастье!

Когда спадал порыв радости у русских, сквозь возбужденную толпу пробирались иностранцы и мимикой, жестами, отдельными словами, русскими или интернациональными, вроде «товарищ-товарищ», «други», «спасибо», выражали приязнь, благодарили за спасение — переводчики тут не нужны, ибо радость, как и горе, понятны на всех языках.

Плакали не только женщины. Припав к шинели, к щеке солдата, молча рыдали мужчины, старавшиеся спрятать появившиеся слёзы за улыбку или реплику.

Сознавая мизерность своих заслуг в деле их освобождения, мы считали неудобным принимать столь эмоционально выраженные благодарности за свой счет. Лишь сознание, что сие выражение относится не ко мне, а к русскому, советскому народу, представителем которого я был здесь, оправдывало приятие её.

Касаясь встреч в лагерях, вспоминаю рассказ друга-киевлянина Адама Моисеевича Вишняка, в то время офицера нашей дивизии.

— Разные случаи пришлось пережить. Помню, у Данцига мы вошли в лагерь смерти. Неожиданно подбегает ко мне женщина, плачет, захлебывается слезами, необычно взволнованно говорит что-то по-польски и указывает на мужчину, повторяя: «Убейте его, расстреляйте, пан офицер, — понял я, — он начальник лагеря, он — зверь! Арестуйте! Он уйдёт!»

— Успокойтесь, пани, вы говорите про человека в чёрном пальто у выхода в лагерь? — спрашиваю.

— Да-да. Он — герман, офицер. Он собак на нас напускал. Псы рвали людей, а он стоял и хохотал! Матка боска, уйдет! Прошу — расстреляйте!

— Хорошо, я поговорю с ним.

— Он должен умереть... — истерично кричала, рыдая, женщина. Я догнал мужчину и спросил, кто он. «Я — поляк», — отвечает. Польский схож с украинским, спрашиваю:

— Пан вшиско по-польску разумие? «Вас-вас?» — выдал он себя.

— Пройдемте! — указал пистолетом на дверь дома начальника лагеря, где располагалась наша группа. Допрос подтвердил, что это был хозяин дома. Хотел улизнуть, подлец, но спасибо польке, успели задержать — ищи потом ветра в поле. Да-а-а, тяжелое впечатление оставляли те лагеря, я долго переживал посещение их, — заключил мой друг.

...Сержант Цыганков взял меня для проверки одного из лагерей, невольники которого в основном уже покинули его, кроме больных, безродных, слабых. Нары… робы... кляпы... кашель… стон... ругань... Седой сухолицый поляк с морщинистым, как кора старого дерева, лицом, в зимней шапке-ушанке, пропахший табаком и особым, свойственным бараку запахом, подошел ко мне и возбужденно стал говорить слова, из которых я понял лишь: «Неволя закончилась... огромне дзенькую... война доконала... тысячи полеглых и забитых... Польска флаг повороту Гданьска до Польши...» После каждого слова он повторял «дзенькую», плакал, тряс мою руку, заглядывал в лицо.

А я вспомнил другую встречу — с немецкими солдатами «освободителями» в 1941 году в своей деревне Жуковичи. Здоровые, хорошо экипированные, старавшиеся выглядеть бравыми завоевателями, хохочущие, с засученными рукавами, с пилотками под погоном, поглядывающие свысока на нас, как на дешёвую рабочую силу, они и в самом деле имели право гордиться, наводить блеск и лоск, ограбив Европу, не встретив серьёзного сопротивления, дойдя за месяц-другой до Ленинграда и Подмосковья.

Помню их и в 1943 году в партизанах — в соломенных бахилах (род обуви, надеваемой на сапоги), бабьих платках, обросших, пахнущих, вымаливающих жизнь на коленях. Теперешнему поколению русских и немцев трудно представить, из каких неудач, потерь, разрухи, голода, гигантских эвакуаций встал перед изумленной Европой простой, сердечный, добрый и беспощадный, скромный и гордый, совсем не элегантный советский солдат, спасший мир от нацизма, сам живший в тяжелейших условиях, но в минуту смертельной опасности позабывший обиды и потери.

Это помнят те, кому мы открывали ворота концлагерей, те, кто плакал на плече русского солдата, жал руку, благодарил, молился, ожидая нас, боготворил не за красоту и внешний вид, а за миролюбие и за простоту обращения. Встречи... Воспоминания...

...Колонна полка вошла в поселок, остановилась на привал у стен домов, когда из-за поворота улицы показалась группа, национальную

принадлежность которой мы узнали по флажкам в руках, по выговору, по одежде, по поведению. Подошли — жмут руки, хлопают по плечам, обнимают, произнося: «Вива Шталин, Гитлер капут, Ленин, коммунист, революсьон». Отрадно видеть их радость, восторг.

— Други! Такий добжий день треба одзначить! Откорковывай бутылку! — тянет поляк разукрашенную этикетками ёмкость. Выплывает кружка солдатская...

— О-о-о! Хм-хм! Открывай. Откорковывай. Мах ма ауф! — шум, кряканье, щелчки...

Кружка ходит по кругу. Ротный не перечил, хотя и не одобрял. Но отдать должное им: заметив, что мы, мальчишки, не хотим выпивать, не неволили, предлагали старшим, умеющим держаться с достоинством, которые, крякнув после выпивки, утирали рукавом рот, подмигивали в знак одобрения вина под бурный возглас угощавших. И надо было видеть лица теперь уж бывших узников, их смех, говор, улыбки!!!

А мальчишки! Где их нет? Что-то жуют, ощупывают автоматы, гранаты, подсумки, просят звездочки.

Кто бы и что бы из недоброжелателей ни говорил плохое о советском солдате, ни мы, ни те, кто встречался на фронтовых дорогах, не поверил клевете — сами видели, ощутили, знаем, как встречались с народами европейского континента.

Людское горе текло рекою по дорогам войны. Европа захлебывалась в несчастьях, и эпицентром их стала Германия, так как миллионы мужчин и женщин всех возрастов и наций были сорваны с родных мест, перемешались, искали друзей, жен, подруг, знакомых, братьев и сестер. Я искал односельчан, которых проводил в 42-м году по набору в Германию, когда чудом удалось избежать угона, и считал себя в чем-то виновным перед ними. (На первую комиссию я «опоздал», от второй меня освободил, весьма возможно, волостной, с которым отец за какое-то вознаграждение договорился, да и жена его, моя первая учительница, помогла отстоять лучшего ученика её школы.) Я переживал их горе и хотел встретиться с кем-либо, особенно с Леной. Она не знала о моей приязни — стыд и робость не позволяли мне подойти к ней на посиделках и гулянках. Лишь тайком любовался я белым лицом с мягкими линиями губ, бровей, носа. Слушал её вибрирующий грудной голос, гасил желание потрогать густые, заплетённые в косы волосы цвета льняной кудели. Походка, смех, одежда — всё в ней рождало во мне непонятное влечение и надежду на возможное знакомство, которое не состоялось... Где бы ни видел русских

— в концлагерях, у бауэров, в городах, всюду надеялся узнать её или других односельчан и порадоваться их освобождению, в котором была и моя доля участия. Но... не встретил! После войны односельчане сказали, что Лена попала в американскую зону и вернулась на родину позднее.

...Запомнилась встреча с американскими солдатами-военнопленными в том же посёлке. Из-за поворота вышла группа мужчин в обмундировании цвета хаки, без погон, в беретах, грубых ботинках красного цвета, на толстой подошве, выглядевших отнюдь не истощённо (не в пример нашим военнопленным!), высоких, здоровых, шедших вольно, даже развязно, громко смеющихся, жестикулирующих и крикливо говорящих. Приблизившись, они примолкли, рассыпались, стали здороваться, угощать сигарами, вином. Мы знали, что гитлеровцы относились к американцам иначе, чем к русским: Красный Крест разрешил посылать посылки, письма, право носить форму и знаки различия. Им создавали сносные условия жизни, но самое главное — Родина не считала их предателями! А то, что вели они себя иначе, — не осудительно: у каждой нации свои формы выражения чувств. И всё же их обращение к нам напоминало панибратство, отношение богатого к бедному, хотя понять их нетрудно: встретили товарищей по борьбе, живы, едут на родину. Но всё же в глубине души таилась при встрече с союзниками какая-то настороженность и недоверие. Взамен сигарет наши предлагали им самокрутки из махорки, которую мы называли «вырви глаз», от затяжки её союзники кашляли взахлёб и хохотали, приговаривая:

— О-о-о! Макорка! — Крутили пальцем у виска, мол, кружится голова, и хвалили: — Карош табак!

Такой же шумной толпой «томми» и «айки» скрылись за поворотом.

В другом посёлке подошли мужчины в разношёрстной одежде, исхудалые, весёлые, довольные, под хмельком. Шли широкой шумной толпой. Походка, поведение, тон разговора были иными: сдержанными, спокойными по сравнению с союзниками. Это — рабочие из западной Европы: французы, голландцы, бельгийцы. Такие группы попадались и ранее на марше, но там они отступали к обочине и провожали нас криками и поднятием сжатого кулака к голове. Здесь на отдыхе они подошли и стали выражать благодарность индивидуально. Ко мне подошел нестарый мужчина в голубом берете и шарфе неопределенного цвета, заговорил на непонятном языке. Я попросил:

— Я не понимаю вас, говорите, если можете, на немецком языке.

— Хорошо, я буду говорить на немецком. Но плохо.

— Я тоже, но мы можем понять друг друга.

Не думайте, читатель, что дальнейший разговор шёл гладко. Передам суть его, которую помогли понять мимика, жесты, взгляд.

— Я француз, из Марселя, — ткнул он пальцем в свою грудь, — мы ждали вас! Очень ждали! Мы благодарны вам за спасение от наци. Советский Союз — великая страна. Никто не позабудет вашего подвига. Красная Армия и советский народ разбили фашистов, помогли Европе и Франции освободиться от Гитлера. Французы ненавидят бошей. Там, во Франции, идет борьба с ними. Вы не представляете, как мы ждали вас! — радовался француз, жестикулируя. — Наши маки успешно громят врага, но конец войны зависит только от ваших побед! Париж восстал! Спасибо вам! Мерси! — И он вновь заговорил на своем языке.

Я не стал перебивать марсельца, думая о ценности знания языков, когда из нескольких предложений приоткрывалась душа человека, даже врага, рождая ответные чувства приязни или ненависти. Выговорившись, француз обнял меня, похлопал по плечу. Я ответил тем же, веря, что никто не будет благодарен русскому солдату больше, чем они, сполна хлебнувшие унижений и несправедливости.

Однажды встретился с югославом, моложавым, черноволосым.

— Я Словении. Югославия, понимаешь? Броз Тито, понимаешь? Партизан, понимаешь?

— Да. Иосип Броз Тито — его боятся фашисты, как огня, слышал.

— Мы боремся насмерть. Партизаны умеют постоять за себя.

— Я тоже был в партизанах в России, — сказал я, и собеседника словно взорвало от восторга:

— О-о-о! Горы! Босния, Черногория! Нас тысячи, много, очень много! — схватил он руку и после каждого слова тряс её, говоря: — Мы хорошо воевали... У них танки, самолеты, артиллерия, но мы победим! Я был ранен, — продолжил он более спокойно, — попал в плен. Теперь — домой. Там сестра, брат, мама. Может, живы. Отец погиб. А Гитлера — повесим. — Он скосил голову и высунул язык. — Никуда он, подлец, от нас не уйдет! Не уйдет! — У партизана горели чёрные глаза, обеими руками жал мне руку и говорил, говорил: — Вы — герои! Вы... — Не находил слов, поднял ладонь в приветствии. Сталин — Тито! Спасибо!

Слушая собрата по борьбе, вспомнил другую встречу с югославом: в вагоне, шедшем к Старой Руссе, нас, попавших в облаву, везли в лагерь для постройки дороги к фронту. Ко мне подошёл немецкий солдат (шёл дождь, вагон был открытым, нас продувало), он кутался в шинеленку и

жался к группе, а потом запел на славянском, немного понятном языке. Спросил меня что-то и рассказал, что едет в отпуск в Югославию, что уйдет к Тито в партизаны. Я молчал, не понимая, почему он откровенничал, видимо, хотел поделиться радостью с русскими узниками.

Услышать похвальное слово о Сталине от югослава — приятно. Беседу с новым знакомым прервала команда старшины Романюка:

— Подъем! В колонну для марша становись!

Квадрат роты раздвинул толпу.

— Запевай!

Силы армии нашей несметны,
Знамя партии к славе ведет...

Над посёлком взвился припев:

Непобедимая и легендарная,
В боях познавшая радость побед,
Тебе, любимая, родная армия,
Шлёт наша родина в песне привет.

Можно представить себе след волнения уходившей в бой колонны в сердцах спасенных! Оттого и пели во многих странах наши песни, услышанные иностранцами в день встречи с красноармейцами. Они торопились домой, мы — дальше от дома.

Встречи рождали раздумья: о французах у меня противоречивое мнение — врагами шли в первую Отечественную, оставили у многих поколений неприязнь. Мой уход в партизаны — воздействие романа «Война и мир» Л.Н.Толстого. В то же время дедушка, Яков Северьянович, осерчав на нас, грозился: «Приди домой, хранцуз ты этакий, я покажу тебе, как по чужим садам лазать!» Или, рассказывая о найденной в лесу бруснике, сравнивал: «Я-ягод! Как французом покрыто!» Он же вспоминал, что кто-то из их родни участвовал в войне с Наполеоном, и по всему выходило, что французы — враги. Но из истории, литературы мы знали и уважали французскую культуру, революционность их. Нет в мире искусства, которое мы любили больше, чем французское. Они — друзья.

А поляки! О них еще больше противоречивого таилось в душе. Даже мама, неграмотная женщина, увидев, какой погром мы, играя, учиняли в избе, говорила: «Господи, что вы тут натворили, как Польша прошла!» Враждебность к полякам известна из истории, но в то же время мы гор-

дились героизмом повстанцев Кастуся Калиновского, битвой при Грюнвальде. Вот и пойми, как относиться к ним.

Были встречи и иного характера. Тысячи немецких семей беженцев бросила война под свои колеса в прямом и переносном смысле. Брели они, растерянные и оглушённые, по дорогам, заполняя проезжую часть и обочины, провожая нас глазами, полными тоски, страха и тревоги. Толкали тачки, тележки, велосипеды, понукали битюгов с фурами добра, попадали под обстрелы, а в ночное время под танки и машины не только наши, но и соотечественников, когда удиравшие фашисты, пьяные, гнали технику, не разбирая дороги. Картины раздавленной колонны ужасны.

...Было раннее утро. После небольшого ночлега мы шли, преодолевая сонную одурь, медленно. Земля похрустывала тонкими стеклянными льдинками. Стояла лесная тишь. Сквозь покрытые инеем ветви струился розовый свет. Чистый воздух напоминал родниковую воду, и, как всегда, он вливался глотками-вдохами в грудь, бодря и освежая. Настроение от такого утра, небольшого отдыха и сознания, что до противника далеко, — приподнятое. Вдруг колонна почему-то свернула на обочину. Я увидел раздавленных людей, сломанные повозки, трупы лошадей, барахло, искореженные велосипеды и людей с левой стороны дороги, за спинами которых рылись могилы. Оставшиеся в живых молча, безразлично смотрели на нас. Лишь старик возле лежащей, бьющейся в постромках лошади делал движение рукою, прося пристрелить несчастное животное с переломленной хребтиной и раздавленными ногами. Лошадь поднимала голову, вытягивала шею, но тело не поднималось, падала голова с округлившимися от боли блестевшими глазами. Старик, стоя как изваяние, делал движение пальцем, словно нажимая на крючок, но никто не выходил из колонны. Он ждал следующую группу и повторял жест. Конечно, выстрел был бы лучшим исходом для лошади, но я не мог представить, кто на глазах у сотен людей смог бы пристрелить её, и, оглянувшись, увидел, что старик уже не просил, поняв бесполезность этого, а стоял, понурив голову.

Выходка фашистов тягостно легла на душу, омрачила утро, но жизнь вместе с солнечным потоком улучшила настроение, под свойственную вблизи противника настороженность.

За поселком на пригорке, под разлапистым деревом, возле пароконной повозки, рядом с трупами лошадей лежали девочки, разбитые теми

же танками. Платье женщины завернулось до пояса, тело неприлично оголилось, посеребренные инеем волосы рассыпались веером вокруг головы. Девочка десяти лет смотрела, раскинув ручонки, в голубизну неба, не успев испугаться и понять, откуда ее настигла смерть.

Пожилой солдат слез с повозки, подошел к погибшим, женщине, оттащил подальше от дороги, вернулся, поднял девочку и отнес её к матери…

Эта и ей подобные картины на фронтовых дорогах, полных народного горя, как кадры фильма проплывали назад, а ноги, как грейфер, перемещали их в прошлое в надежде, что они, эти картины, не повторятся ни для какого народа.

Даже немецкого.

КЛЯТВА

Окрасил дым волнистые туманы,
Ночное небо стало розовей.
В такую ночь собрались партизаны
И дали клятву Родине своей:

«Родная мать! Мы все полны стремлений
Громить врага как ночью, так и днём.
Скорей умрём, чем станем на колени,
Но победим скорее, чем умрём!»

Прошёл отряд по просекам знакомым,
С тех пор — могуч и грозен тёмный лес.
Сосновый бор, ты стал родимым домом
Под вечной крышей — куполом небес.

Коварен враг, и цели его зверски,
Он за бронёй, но жмётся у дорог.
Страшны врагу леса и перелески, —
Стреляет в немцев каждый бугорок.

Строчит «максим» — не сунешься в лощину,
Бьёт автомат — свинцовый ураган!
Запомнит враг советскую Псковщину
И не забудет красных партизан!

Виноградов Иван Васильевич (1918—1995). Профессиональный журналист, прозаик и поэт. Участник Великой Отечественной войны на Псковской и Ленинградской земле. Основные публикации: «На берегах Шелони» (очерк о Ленинградском партизанском крае); «Костры и версты» (стихи и песни); «Не расстанусь с тобой» (стихи); «Дорога через фронт. Записки партизан»; «Строки, пропахшие порохом»; «Душа у памяти в плену» (стихи и проза. В 2 т.) и др.

За нашу кровь нам враг ответит кровью,
Где мы прошли, там путь непроходим.
Мы любим жизнь горячею любовью,
Но если надо — жизни не щадим.

Гордись страна отважными сынами,
Пройдём сквозь дым и лютую пургу.
Навечно жизнь останется за нами,
А злую смерть мы отдадим врагу!

И вздрогнет лес тогда в салютном гуле,
Исчезнут вмиг морщинки у бровей,
Мы встанем все в почётном карауле,
Мы — патриоты Родины своей.

«Родная мать! Мы все полны стремлений
Громить врага как ночью, так и днём.
Скорей умрём, чем станем на колени,
Но победим скорее, чем умрём!»

МОСКВА ИДЁТ НА БЕРЛИН

Гремят бои. Туда все взоры,
Где в кровь окрасились снега,
Где гром потряс седые горы,
Со свистом пуль слилась пурга.
Весь фронт в огне. Какая сила!
От юга до балтийских вод
Шагает грозная Россия,
Как богатырь, идёт вперёд.
Пробил для немцев час расправы.
Им не помог Арденнский клин,
Когда Москва от стен Варшавы
Пошла в атаку на Берлин,
Когда в стремительном движенье
Восточный фронт, бои кругом…

И чёрной тучей пораженье
Нависло грозно над врагом.
Мы помним пепел Сталинграда
И в Минске вражеский разбой.
Дрожи Берлин! С Москвою рядом
Все города рванулись в бой.
И тени павших в жаркой схватке
Идут незримою стеной…
Вперёд, герои!
Предкам внемля,
Рубите ворога сплеча:
Кто шёл с мечом на нашу землю —
Пусть сам погибнет от меча.
Хоть путь тяжёл, барьеров много,
Но твёрд народ наш, исполин.
Теперь у нас одна дорога,
Дорога эта — на Берлин!

ЗДРАВСТВУЙ, ПСКОВ!

Любимый Псков! Как трудно в этот час
Мне мысли высказать. Ведь ныне
Я вновь с тобой. Не разлучили нас.
Я вновь встречаюсь с древнею твердыней.

Не верится. Неужто наяву
Иду по плитам, с детства мне знакомым?
Как даль, воспоминания плывут,
И горечь к горлу подкатила комом.

Кругом развалины. Бросает в дрожь.
Враги убить тебя, мой Псков, хотели.
Родимый город! Как ты не похож,
Как много ран на непокорном теле!

Не стало прежней города красы —
Всё взорвано, всё в диком беспорядке.
И на дворце Советов замерли часы,
Остановилась стрелка на девятке.

И над рекой Великой вздыблен мост,
Как будто в ужасе застыл от взрыва.
Печные трубы вытянулись в рост,
О страшных днях вещая молчаливо.

Молчат сады, объятые тоской,
Угрюмо дуб нахмурился у склона…
Уж не твоя ли кровь, мой Псков родной,
Разбрызгана по листьям клёна?

Сверкает клён, оранжевый, как медь,
Он видел всё, он слёз твоих свидетель.
Но день настал, — опять ему шуметь:
Уже подул с востока обновленья ветер.

* * *

Да, Псков, я не забыл твоих огней,
В садах и парках шума, ликованья.
Я много здесь провёл отрадных дней,
Меня волнует каждое названье.

Вот так бы взял тебя, да и обнял,
Обвил твой стан горячими руками.
Здесь Пушкин жил, здесь Невский воевал
И Ленина запомнил каждый камень.

Я встретился с тобой, как с братом брат,
Мы были рядом, были вместе…
Быть может, слышал, как мой автомат
Косил врагов в твоих глухих предместьях?

Тяжёлой тучей немец нависал,
Мы воевали в рощах и долинах,
И разносилась песня по лесам:
«Запомнит враг советскую Псковщину…»

СЕСТРА

Когда лежишь больной в кровати
И на душе то жар, то лёд, —
Легко, коль девушка в халате
К тебе с улыбкой подойдёт.
Как будто легче станут раны,
Теплом повеет по избе.
Сестра! Не раз мы, партизаны,
В походах вспомним о тебе.
Где сосны сделались седыми,
Клубится дым пороховой,
Мы вспомним ласковое имя,
Твои глаза и образ твой.
Метель поднимется некстати,
Поближе сдвинемся к костру
И вспомним девушку в халате,
Свою знакомую сестру.
И в светлый день Победы нашей,
Когда затихнет пушек рёв,
Мы вспомним Зою и Наташу,
Что помогли нам в дни боёв.

ГОРДОСТЬ РОССИИ

Товарищи, день-то сегодня огромный,
Его бы эпохой назвать, а не днём,
Проносится возглас по нашим колоннам:
— Равняйте ряды! К Ленинграду идём!

И вот по проспектам родным и любимым,
Закутанным в синий морозный туман,
Овеяны славой, пропахшие дымом,
Проходят сурово полки партизан.

И кровь на винтовках ещё не остыла,
Ещё распалён от боёв автомат,
Проходят герои из вражьего тыла,
Сыны твои, наш дорогой Ленинград.

Когда мы сидели в лесу, перелеске
И сыпался злобный винтовочный град,
Мы помнили Смольный, мы помнили Невский,
Дворцовую площадь, тебя, Ленинград.

И мы говорили, бросая гранату
Иль заряжая в бою автомат:
— Вот вам, фашисты, святая расплата
За гордость России, за наш Ленинград!

* * *

Жителям бывшего Партизанского края

Подвиг никогда не умирает,
В памяти хранит его народ.
Слава тем, кто жил в заветном крае,
Слава тем, кто ныне в нём живёт!

Слава тем, кто будни трудовые
Приравнял к отваге на войне,
Кто вдохнул в просторы голубые
Силу жизни. Слава им вдвойне!

* * *

Передо мной — листы газетные,
На них печать суровых лет.
Слова зовущие, заветные,
И грозной битвы жаркий след.
Шуршит бумага, чуть колышется,
Свидетель схваток и засад.
А мне сквозь тихий шелест слышится
И треск костров, и гром гранат.
Сквозь строки видятся пожарища,
Леса, военная страда…
И в нашей памяти товарищи
Встают, как прежде, как тогда.
Как в годы ратного содружества,
Когда с врагом вершили спор.
Мы языком большого мужества
Вели с народом разговор.
Ходили в бой с двойным оружием —
С пером сроднился автомат,
И по всему гремел окружию
Наш голос правды, как набат.
Поправ врага угрозу строгую,
Несли гонцы газетный лист,
И не могли закрыть дорогу им
Ни вой пурги, ни пули свист.

Неутомимые, бесстрашные,
Бойцы — по праву им венец…
Когда встаёт заря над пашнями,
Я вижу отблеск их сердец.

Семен Гейченко

КАК ГИТЛЕРОВЦЫ СОЖГЛИ ДОМ-МУЗЕЙ ПУШКИНА В МИХАЙЛОВСКОМ

В один из августовских дней 1960 года на усадьбе Михайловского появился посетитель с большой папкой в руках и хорошим фотоаппаратом, висевшим на груди. Посетитель внимательно разглядывал место, где стоит дом-музей, берега Сороти, вглядывался в дали. Потом раскрыл папку, вынул из нее большую фотографию и стал сличать ее с тем, что видел. Любопытства ради я подошел к экскурсанту, представился ему и спросил, чем он занимается. Неизвестный назвал себя Алексеем Васильевичем Гордеевым и сказал, что приехал он из Ленинграда, что он давно собирался побывать в Михайловском, где в 1941 году воевал, и что вот, наконец, мечта его осуществилась.

В разговоре выяснилось, что на глазах у Гордеева фашисты сожгли дом-музей Пушкина. Я попросил его рассказать, как это случилось. Ведь до сих пор неизвестно было, когда и как гитлеровцы сожгли усадьбу поэта!

Вот этот рассказ Гордеева в кратком изложении:

«В 1944 году я был командиром наземной фоторазведки, майором. Командовал нашим дивизионом полковник Алексей Дмитриевич Харламов.

Как-то в конце марта 1944 года в разговоре со мной Харламов многозначительно заметил: „Собирайся, братец, скоро поедем с тобою в Михайловское, в гости к Пушкину“. Я чрезвычайно обрадовался предстоящему заданию. Подумать только, увижу Михайловское, о котором столько слышал, читал! Прошло несколько дней, и действительно, 1 апреля нашу часть перебросили в Пушкиногорский район, к берегам Сороти. По прибытии на место мы расположились на окраине деревни Зимари, лежа-

Гейченко Семен Степанович (1903—1993) — русский советский писатель, пушкинист, музейный работник. Заслуженный работник культуры РСФСР. Герой Социалистического Труда (1983). Член КПСС с 1955 года. С 1943 года — на фронте, тяжело ранен под Новгородом. Воевал командиром миномётного расчета. Лишился левой руки. Известен воссозданием мемориального музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в Псковской области.

щей напротив усадьбы Михайловского. В бинокль хорошо было видно, как на пушкинской усадьбе суетились гитлеровцы…

4 апреля Харламов вызвал меня к себе и сказал, что в ближайшее время будут освобождать заповедник от гитлеровцев и что командование поручило нашей группе срочное выполнение особого задания — подойти как можно ближе к усадьбе и сфотографировать панораму Михайловского с домом Пушкина, домиком няни и служебными флигелями.

В группу фоторазведчиков были назначены старшие сержанты Кущенко и Алехин (операторы) и старшина Немчинский (подносчики аппаратуры и обработчики снимков). Получив задание, группа разведчиков немедленно приступила к выполнению его.

Рано утром 5 апреля саперы сделали лаз в проволочном заграждении, разминировали проход в минном поле, и разведчики поползли к Сороти. Съемка производилась при помощи мощной оптики. Всё прошло благополучно и без потерь. Снимки вышли очень хорошими. С негативов были сделаны отпечатки с шести- и тридцатикратным увеличением и сразу же отправлены в штаб армии и командованию дивизиона. Крупные отпечатки предназначались для демонстрации бойцам, которые готовились к бою за освобождение Михайловского. В эти дни фронтовые газеты выходили под шапкой «Отомстим за нашего Пушкина».

С разрешения Харламова по экземпляру снимков оставили себе на память и мы, то есть я и солдаты-разведчики.

Вскоре наша разведка показала, что гитлеровцы стали разбирать домик няни и усиленно маскировать вершину Михайловского холма молодыми свежесрубленными елочками. В наружной стене дома-музея сделали большую прорезь. В прорези появилось 75-миллиметровое орудие. В крайних окнах дома установили пулеметы.

Наше командование дало строгий приказ ни в коем случае не стрелять по Михайловскому, чтобы не покалечить и не уничтожить его памятники.

2 мая рано утром к нам в деревню Зимари прибыла артиллерийская батарея под командованием капитана Нестеровой. Звали ее Анна. К сожалению, я запамятовал ее отчество. Батарея расположилась в районе колхозного сада. 2 и 3 мая в Михайловском было тихо. 4 мая, около двух часов дня, фашисты вдруг „заговорили“. Ударила пушка из дома-музея. Одним из первых выстрелов были убиты два бойца нашей разведки, другой снаряд попал прямо в нашу огневую точку и вывел из строя нескольких артиллеристов. В ответ на это командир батареи Нестерова дала команду:

„Четыре снаряда, беглым огнем по огневой точке фашистов!“ Первый же снаряд попал в цель и перебил прислугу фашистского орудия. Видя, что их огневая — на нашем точном прицеле, гитлеровцы подожгли дом-музей и под прикрытием густого дыма стали отходить в глубь Михайловского парка и там засели в своих окопах и блиндажах. Дом вспыхнул как свечка и скоро сгорел дотла. Вскоре запылал и флигелек, стоявший рядом с ним».

— А теперь, — продолжал свой рассказ Гордеев, — пожалуйста, взгляните на этот снимок. — И он показал мне фотографию, снятую 5 апреля 1944 года. На снимке отчетливо была видна вся северная часть усадьбы Михайловского, от нынешнего поля народного гуляния до западной околицы с домиком няни.

Сегодня эта фотография хранится в музее заповедника как единственное изображение Михайловского в знаменательный и славный для него 1944 год — год изгнания фашистов с пушкинской земли.

САЛЮТ ПУШКИНУ

В Михайловском шумело эхо войны. Саперы неустанно слушали и щупали землю. Мины находили в самых неожиданных местах, даже там, где считалось, что всё уже хорошо проверено и чисто. Под крыльцом домика, в котором разместилось управление заповедника, оказалась тщательно замаскированная мина. А по этой лестнице поднимались члены Государственной комиссии по расследованию фашистских злодеяний — К. Федин, Н. Тихонов, Л. Леонов. В этом домике ночевали академик А. Щусев, председатель правительственной комиссии по разработке проекта восстановления заповедника, художник А. Лактионов... Знали бы они, как заглядывалась на них смерть!..

Или вот старый клен у домика няни. Уж где-где, а около этого места особенно тщательно проверяли землю. И какой огромный неразорвавшийся снаряд лежал под основанием ствола исторического дерева! Спасибо, обнаружить его помог случай. В мае 1949 года, за две недели до юбилейных пушкинских торжеств, разыгралась сильнейшая гроза. Прямым попаданием молнии древний клен расщепило надвое. Земля вокруг дерева оголилась, и все увидели снаряд. Когда саперы его вытащили, он оказался размером почти в человеческий рост. Снарядище вывезли за пределы заповедника и взорвали.

Саперы работали в заповеднике почти пять лет. И всё же даже после 1949 года находили фашистские дары. В ограде Святогорского монастыря, особенно сильно заминированного немцами, нашли мину в 1953 году! Уходя из Михайловского, эсэсовцы бахвалились: «Если мы уйдем — ваша земля будет за нас воевать еще пятьдесят лет!»

Да, земля гудела, люди гибли, только гитлеровцы просчитались. Прошло немного лет, и всюду на заповедной земле наступил покой и мир, — никаких фашистских следов не стало. Остались только ямки, ямы да знаки на старых деревьях, которым были нанесены жестокие раны и увечья, и они теперь чувствуют себя как инвалиды первой группы Великой Отечественной...

Саперы оставили по себе хорошую память в Михайловском. В свободное время они добровольно и с большой охотой помогали нам восстанавливать домик няни — первый музей, открытый в 1947 году. Очищали Михайловские рощи от пней и завалов, зарывали траншеи, окопы, блиндажи. Леон Абгарович Орбели — тогдашний вице-президент Академии наук — горячо благодарил их за это святое дело. Многим жителям деревень Бугрово и Гайки саперы помогли построить новые избы. А сколько народу харчевалось в походных солдатских кухнях, сколько концертов и киносеансов было устроено под открытым небом Михайловского для людей, которые за четыре года оккупации совсем отвыкли от художественного слова, кино, музыки! Этих добрых дел никто и никогда не забудет!

Вечная память двум бойцам, погибшим при разминировании Тригорского и Петровского!

В Михайловском, слава богу, всё обошлось благополучно, без жертв.

Теперь, когда толпы людей ежедневно приходят посмотреть восстановленный дом поэта, первое, что они видят в прихожей, — это маленькая медная пушечка-мортирка. О ней в книге А. Машина — собирателя народных легенд о Пушкине, изданной до революции в Петербурге под названием «Новое об 11 великих писателях», приводится свидетельство местного старожила Ивана Павлова: «Пушечка такая стояла завсегда около ворот Михайловского еще с давних пор...»

Потом эта пушечка исчезла неизвестно куда, как, впрочем, исчезла вся обстановка усадьбы до последнего черепка...

И вот в сентябре 1953 года в центре Михайловского, в нескольких шагах от густого орешника, замыкающего парк с северной стороны, там, где стоят полукруглые трельяжные беседки, солдат А. А. Алексеенко, из

подразделения саперов, которым командовал подполковник И. П. Солдатов, вдруг зычно закричал:

— Ребята, вот так пушка!

К Алексеенко подбежали другие солдаты и мы, сотрудники заповедника. И действительно все увидели пушечку. Она лежала на глубине 60—70 сантиметров от внешнего покрова земли. Пушечку вынули, стали рассматривать. И тут всё объяснилось. Это была так называемая каронада-пушечка, какие в старину обычно ставились помещиками в своих усадьбах. Из них в праздничные и знаменательные дни палили в честь хозяев и их гостей. На пушечке выгравированы обозначения. На одной из опорных пят надпись «P. F. Mortier» и цифра 1. На другой — «21 P. F. 1831». Около запальника следы монограммы, кем-то тщательно сбитой.

Вот и нашлась старинная пушечка Михайловского!

Прежде чем она была передана музею и поставлена там, где сейчас стоит, произошла трогательная сцена. А. А. Алексеенко подошел к подполковнику и отрапортовал:

— Товарищ подполковник, разрешите в честь Александра Сергеевича Пушкина пальнуть разок из этого орудия! Холостым!

Подполковник подумал, посмотрел на меня и спросил:

— Ну что же, ежели директор не возражает? Пушечка еще сильная, сохранилась прекрасно!..

Я, конечно, согласился. Подполковник приказал:

— Только зарядить не очень туго... осторожней!

— Есть не очень туго! — ответил солдат.

Пушечку зарядили. Все стали во фронт. Раздалась команда «огонь!» — и грянул салют!

* * *

Моих друзей негромкие дела —
Следы давнишние
На партизанских тропах.
И всполохи берёзок на окопах,
Повыжженных снарядами дотла.

На месте боя
В реденьком лесу
Кипрея запоздалое цветенье,
Как будто их последнее мгновенье,
Шагнувших в огневую полосу.

Моих друзей негромкие дела —
Потухшего костра живые угли.
Они по виду только смуглы —
Хранят частицу давнего тепла.

Озябший,
Угли приюти в ладонь.
Не только пальцам —
Сердцу полегчает.
Я свято верю,
Сердцем примечая,
Что до сих пор
Хранят они огонь.

Маляков Лев Иванович (1927—2002). Во время Великой Отечественной войны был партизаном-разведчиком, служил на Балтийском флоте. Заслуженный работник культуры РСФСР. Член Союза писателей СССР. Автор многих поэтических сборников. — «Заколдованное счастье», «Заряна-печальница», «Иваны России» и др. и романов «Доверие», «Затяжная весна», «Страдальцы» и др.

* * *

Земляк до Вислы шёл со мной.
Наш Тёркин —
славная натура!
И принял здесь последний бой.
Давно известно:
пуля — дура.

Я за двоих встречать готов
Штыком атаки лобовые…
Он не вернулся в родный Гдов,
Где льны, как небо, голубые.

В победный день его родня
Не ахала от буйной пляски.
И не тянул земляк бредня
По ласковой озёрной ряске.

И нам не знать его сынов,
Не видеть миру
их свершений.
Осиротел старинный Гдов
На много-много поколений.

Живущий ныне,
Не забудь —
Какие мы несём утраты!
До сей поры
нам давит грудь,
Как брёвна, горе в три наката.

ОПОРА

Оглянусь на былое,
воспряну,
От печали-тоски отрекусь
И поверю:
В отставку мне рано.
В трудный час
я ещё пригожусь.

Это мы обещали солдаткам —
Для Отчизны себя не жалеть.
Если надо,
пойду без оглядки,
Как бывало,
в огонь и на смерть.

Если надо,
осилю одышку
Не за ради похвал и наград…
Я стою, опершись на сынишку, —
Опершись на солдата — солдат.

СОЛДАТУ

Поля в пожарище бездонном,
Хлеба исхлёстаны свинцом.
Война металлом раскалённым
Тебе ударила в лицо.

Но вечно близкие картины
Пылают, видятся кругом:
Созвездья над деревней стынут,
Искрясь в сосульках под окном;

Да у завьюженных овинов
Цветут сугробы при луне,
Мороз седеет на стене,
И голубеет тень за тыном…

Ты всё поймёшь:
Как первый луч
К земле уснувшей прикоснётся,
Как солнце выйдет из-за туч —
И край заснеженный проснётся.

Тебе,
Тебе ли не понять
Лесную тишь и синь болота,
Ту землю, что пришлось пахать,
Горячей кровью поливать
И орошать солёным потом.

МАТЬ

В тот вечер холодный,
В тот вечер
Ты долго за ротою шла.
Как ворон, на скорбные плечи
Садилась чернющая мгла.

С бойцами усталыми рядом
Ты шла далеко за село
И вслед
Всепрощающим взглядом
Глядела, глядела светло.

Мы в ливни ходили стальные
И видели: рядом ты шла
По гневной великой России,
Спасала в минуты лихие
И совестью нашей была.

ОДИН ЗА ВСЕХ

Промёрзла,
Стала каменной земля,
Насквозь пропахла гибельным тротилом.
Мне думалось:
Нужна какая сила
Израненные возродить поля!

Своим дыханьем грели мы окоп,
Чтоб зеленели будущие травы.
Не ради орденов,
Не ради славы
Мы шли на верную…
Однако стоп!

Хотел я не о том.
Меня опять
Сюда приводят памятные тропы.
Здесь не тротилом —
Вызревшим укропом
И чем-то вечным можно подышать.

И помолчать,
И снова вспомнить тех,
Кто отстоял в огне родную землю.
Я всей душою сущее приемлю
Теперь один,
Один за вас за всех.

У КОСТРА

Думы уползают, как паром,
На волнах годов в иное лето.
Наша дружба давняя согрета
Партизанским памятным костром.

Сердце выжгло горечью дотла —
Нам невольно у огня молчится.
Машенька — предвестница-синица
В январе
желанного тепла.

Улетела не за океан,
Сгинула в немецком гарнизоне…
Не горит костёр,
от боли стонет.
Всхлипнув,
Пригорюнился баян.

Ты ль не говорила:
Будем жить!
Не ошиблась веселунья наша.
Мы на тридцать лет сегодня старше,
Но тебя не можем позабыть.

Посидим у нашего костра,
Не пугая громкими словами
Память о былом…
Побудешь с нами,
Маша — медицинская сестра.

ПРИСЯГА

Гулко падали листья в ночь,
Звонко сыпались в август звезды.
Нам никто не может помочь:
День и ночь
Фронт уходит прочь…
Ох, как душен
Холодный воздух!

Обложили село кольцом,
Топчут травы чужие солдаты.
И над школьным резным крыльцом
Хлещет свастикой флаг в лицо,
Глуше, глуше боев раскаты.

Кто нам скажет: когда,
Когда
Возвратятся наши с победой?
На селе — не в страду страда:
Придавила людей беда,
И пути всего — до соседа.

За село однажды тайком
Ночь свела сыновей солдаток:
Мы на цыпочках, босиком,
Где бегом, но больше ползком —
Прочь от вражьих колючих рогаток.

Мы ложились земле на грудь,
Забывали про все невзгоды,
Замирали, страшась дыхнуть,
Слово другу боясь шепнуть,
Землю слушали возле брода.

Под щекою в мягкой пыли,
Где Желча у камней смеется,
Билось сердце родной земли.
Это значит — бои вдали,
Это значит — Русь не сдается!

Мне запомнилась эта ночь:
Над рекою созвездий гроздья,
И присяга —
Отцам помочь…
Гулко падали листья в ночь,
Звонко сыпались в август звезды.

Анатолий Малиновский

НАС СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ

Оккупанты принесли в пушкинский край страх, голод и суровый «орднунг» — «новый порядок».

Военный комендант майор Зингер знал русский язык, хвалился, что знаком с русской литературой, ценит стихи Пушкина. Порой Зингер даже заигрывал с населением, изображая из себя этакого радушного хозяина. Но любое неповиновение неизменно каралось смертью.

На стенах домов забелели приказы: сдать оружие, радиоприемники, не делать то, не делать это. За отказ от исполнения — смертная казнь. Вверху — черный орел, внизу подпись: военный комендант Зингер. Приказов становилось все больше.

Помощник коменданта Трайбхольц — седой, бородка клинышком — появлялся на улицах часто: прогуливал белого дрессированного барашка.

За Трайбхольцем толпой бежали маленькие ребятишки:

— Бя-яша! Бя-яша! Бя-я!

Барашек злился, вставал на задние ноги, подогнув передние.

Люди знали, что помощник под стать коменданту, любимое его слово — расстрел. На барашка и его хозяина смотрели с ненавистью.

Поселок был буквально набит солдатами. Они играли на нашем стадионе в футбол, бились по-настоящему: на бровке поля всегда стоял санитар.

Горше всего было видеть солдат у могилы Пушкина. И здесь немцы разговаривали громко и резко. Оккупанты охотно фотографировались около обелиска. Славу Пушкина враги считали, видно, своим особым трофеем.

Под стать оккупантам были предатели. Заместителем начальника полиции стал вдруг Виталий Юпатов, которого я знал по школе. В каждом классе Юпатов сидел по два года. Чужая форма переменила его: даже лицо, казалось, стало похожим на немецкое, глаза пустые, рука постоянно на кобуре парабеллума.

Малиновский Анатолий Дмитриевич. Родился в 1925 году. Участник Великой Отечественной войны, писал о подполье Пушкинских Гор, обороне Ленинграда, окончании войны и своей службе в милиции. Автор книг «Подпольщики Пушкинских Гор» и др.

Нужно было искать надежных людей...

Однажды я вернулся домой и увидел: в горнице сидит незнакомый человек в серой шинели без петлиц.

— Некрасов, бывший военный врач, — протянул левую руку гость, разговаривавший перед моим приходом с матерью. Правая рука была на перевязи, забинтована.

Нежданный гость сказал, что ему нужна гражданская одежда. Мать открыла сундук, достала отцовскую рубашку, костюм. Военный скинул гимнастерку, снял галифе. Внешность у Некрасова была далеко не военная, волосы длинные, и когда он оделся в штатское, то стал похож на деревенского фельдшера.

Мог прибежать с улицы братишка, зайти кто-нибудь из соседей. Мать разрезала военную одежду на куски, затолкала в печку, в огонь, быстро сожгла...

— Страшно, — призналась мать. — У меня трое детей. Останутся сиротами, если что.

Военврач сказал, что уйдет ночью, но мать его не отпустила:

— Утро вечера мудренее. Что-нибудь придумаем...

Начальником управы оккупанты назначили бывшего учителя Васильева. В Первую мировую войну он был в плену в Германии. Научился там чужому языку. Перед войной работал в школе, преподавал немецкий язык. Некоторое время Васильев снимал комнату в нашем доме, хорошо относился к матери.

Мать и тетя Проня, перебравшаяся к нам из деревни, посоветовались и решили: пусть Некрасов назовется нашим родственником, скажет, что работал участковым врачом в деревенской больнице.

Наутро гость ушел, вернулся сияющий, с целым ворохом документов. Васильев, недолго раздумывая, назначил Некрасова главврачом районной больницы. Так в Пушкинских Горах появился новый житель — Павел Семенович Некрасов.

Больница разместилась в бывшей поликлинике — в самом центре поселка, на крутом зеленом холме. Новую, построенную перед войной в глубине соснового леса больницу заняли под казарму фашисты.

Как только Некрасов стал главврачом, он сразу же взял на работу мать и нас с тетей Проней. Мать и тетя Проня стали работать санитарками, меня же Некрасов назначил дезинфектором.

Весть о том, что главврач больницы — надежный человек, обрадовала Дорофеева.

— Скоро нас будет много, — сказал Виктор в раздумье.

В больнице я сразу же стал присматриваться к людям. Всех ближе к нашей семье была врач Полина Ивановна Иванова: еще до войны мать работала под ее началом в роддоме.

Смуглая, с крупным лицом, Полина Ивановна была похожа на артистку Раневскую. Фигура мужская, угловатая, характер — по первому восприятию — тяжелый, взрывчатый, но мы-то с матерью знали, какая добрая душа у Полины Ивановны, как она любит детей, как старается помочь каждому в беде.

Я рассказал Полине Ивановне о болезни Дорофеева, попросил полечить его. Вскоре Виктор сказал мне, что Полина Ивановна — с нами, ей можно смело доверять во всем.

Потом я узнал, что приемник Виктору принес бывший работник радиоузла Анатолий Харитонов. За хранение радиоприемника полагался расстрел, и в надежности Анатолия можно было не сомневаться.

Приемник сначала спрятали в подвале у Дорофеевых, а потом передали Степану Кошелеву, который работал до войны пожарником и руководил духовым оркестром. Дом Кошелева стоял за мельницей, на самой окраине, пользоваться приемником там было надежнее.

Фашисты превратили Пушкинские Горы в военный городок. Солдат, полицейских и гестаповцев стало не меньше, чем мирных жителей. Стало известно, что фашисты создают глубокую агентуру во всем районе. Нужно было противопоставить ей сильное подполье.

К концу сентября в организации оказались братья Виктор и Евгений Дорофеевы, Борис Алмазов, мы с Алексеем Ивановым, Алексей Захаров, Володя Петров, Гена Иванов, Василий Васильев, Анатолий Харитонов, Степан Кошелев и Полина Ивановна.

Чуть позже были созданы группы в Мехове, Астахове, Коврине, Губине и в других местах. Дорофеев, Кошелев, врач Иванова, Борис Алмазов и мы с Алексеем вошли в штаб подполья.

Дорофеев говорил:

— У них агентура, у нас своя. Нам легче. Им приходится начинать с ничего, привлекать всякую нечисть. Наша власть не уничтожена, нам только надо собрать силы в кулак. Немцы взяли на работу нашего военврача. Их можно обмануть: они здесь чужие, мерят все на свой аршин.

Степан Кошелев выступил на заседании штаба:

— У меня спрятаны винтовка и приемник. Думаю, что приемник сейчас сильнее винтовки.

Потом взял слово Алексей:

— Вон рядом лагерь, военнопленные, арестованные коммунисты. Охрана невелика. Дождаться темной ночи и...

— Это — серьезное дело... — согласился Дорофеев. Столь же серьезным делом было расширение наших рядов.

В доме рядом с больницей, в мезонине, жили Григорий Завьялов и Василий Щербаков.

Завьялов воевал, был ранен под Пушкинскими Горами, жил в деревне. Раны не заживали, его привезли в больницу. После лечения Григорий остался жить при больнице. Для оккупантов была придумана легенда: Завьялов якобы сидел перед войной в тюрьме.

Щербакова ранило на Сороти. Санитарный автобус шел в тыл, когда военфельдшер и шофер увидели фашистов. Все, кто мог идти, бросились к лесу. В автобусе остались лишь тяжелораненые. Враги шли не таясь, держа в руках автоматы. Василий достал из кобуры наган, начал стрелять в упор. Фашисты залегли, ударили по автобусу — в минуту превратили его в решето.

К ногам Василия упала граната. Он не успел и пошевельнуться — оглушило, ослепило взрывом. Очнулся на сеновале в деревне Зимари (напротив Михайловского, за рекой). Ноги были наспех забинтованы. Осколками перебило ступни ног, и они повисли, словно тряпичные. Крестьянское лечение не помогло, ноги опухли, почернели.

В больницу Щербакова привезли одетым в военную форму, но и без того было видно, что он ранен в бою.

Главврач Некрасов предложил ноги ампутировать.

— Лучше умереть, — сказал Василий. — Был уж на том свете, не боюсь. Отрезать не позволю.

В больнице раненый пролежал всю осень. Некрасова, а потом и самого Щербакова несколько раз вызывали в комендатуру для отметки. Ноги слушались плохо.

— Хоть катись по земле, а отмечаться надо, — горько шутил Василий.

Григорий оказался хорошим плотником, а Василий — талантливым сапожником. Сапоги он, в сущности, шил из ничего: из обрезков, из старого материала...

Немцы поощряли игру в карты и вечеринки. В конце осени Виктор Дорофеев прямо у себя дома задумал собрание. Через младшего брата передали приказ: прийти в воскресенье с утра.

Когда я пришел к Дорофеевым, почти все были в сборе. Доктор Полина Ивановна помогала матери Виктора на кухне. Наигрывал на баяне Степан Кошелев. Рядом — Щербаков и Завьялов, принаряженный Борис Алмазов.

Опоздал лишь Леша Иванов.

— Фу! Чуть не попал под облаву! Кто-то бежал из комендатуры!

Обыски, дневные и ночные облавы, солдаты с овчарками были уже постоянным явлением. За оружие и помощь партизанам полагался расстрел. Погибнет немецкий солдат — схватят первых попавшихся десять человек, повесят или расстреляют.

Расстреливали в лесу, в песчаном карьере за домом Степана Кошелева. Из слухового окна Степан видел, как закапывали убитых, считал, скольких убили...

Оккупанты делали все для того, чтобы люди жили в страхе, чтобы даже мысль о сопротивлении не могла прийти в голову.

Сели за стол, и все взгляды обратились на Виктора.

— На повестке дня три вопроса. Надо выходить на связь с партизанами — раз, конспирация — два, девушки — три.

— Без партизан мы сделаем мало, — сказал, подумав, Степан Кошелев. — Они нам могут помочь отпечатанными листовками, газетами. Могут дать взрывчатку, мины. Мы можем передавать партизанам ценные сведения, медикаменты, поможем оружием.

— Пулемет не отдам, — нахмурился Леша Иванов.

— О конспирации скажу сам, — заговорил Дорофеев. — Ребята рвутся в бой, а воевать пока нельзя. Каждый человек на виду. Надо думать, ломать голову.

Листовки распространять надо осторожнее. Наклеивать не стоит: прочтет один человек, другой, а потом полицейские сорвут. И опасно это — наклеивать. Лучше осторожно подложить.

Все согласились с Дорофеевым, и разговор пошел о девушках.

— Вопрос очень серьезный, — нахмурился Виктор. — Девушкам тяжелее, чем нам.

Я мысленно согласился с ним. Война сделала девушек затворницами. Опасность подстерегала их на каждом шагу.

— Девушек надо защищать, — продолжал Виктор. — И не только защищать — попросить, чтобы помогли нам.

— Правильно, — согласился Анатолий Харитонов. — Я вот дружу с Зоей Ивановой, она до войны была пионервожатой. Очень надежная девушка. Ручаюсь, как за себя.

— А наши медсестры? — встрепенулась Полина Ивановна. — Карпова, Аввакумова, да и другие.

— Хорошие девушки есть в управе, — заговорил Борис Алмазов.

— Везде есть надежные девушки, — улыбнулся Дорофеев. — И в Астахове, и в Мехове, и в Пушкинских Горах. Если мы их привлечем к работе — нас станет по-настоящему много.

Собрание оказалось коротким, но это было настоящее собрание, мы впервые были все вместе. Возвращаясь домой, я готов был пуститься в пляс. Понял: когда рядом товарищи — не страшен даже лютый, вооруженный до зубов враг.

ПУШКИНОГОРСКАЯ ТРАГЕДИЯ

Про аресты в Пушкинских Горах я узнал от Валентина Шамина, страшную новость ему рассказали в штабе полка. Бригада действовала на севере Партизанского края, но слух дошел и туда. Сначала говорили, что взято десять-двенадцать человек, потом стали называть цифры тридцать и сорок.

Лишь после освобождения района стали известны подробности того, что произошло. Новые аресты начались в январе 1944 года. Первой была взята под стражу Рая Семенова. При допросе у нее нашли спрятанные под одеждой листовки.

Неожиданно арестовали Пашу Голядкину и Женю Жарову, но через три дня выпустили. Девушки были жестоко избиты; Женя упала в снег за воротами комендатуры, с трудом поднялась. Кто-то помог, довел до дома.

Александра Д. работала на складе. Рядом со складом, в том же доме, была столовая. В ней готовили пищу для арестованных. За готовой пищей приходил кто-либо из содержащихся под стражей — с мешком для хлеба и термосом, в сопровождении полицейского.

Неожиданно Александре передали записку от Раи Семеновой. На клочке бумаги было написано: «Сообщи матери, чтобы принесла передачу».

На другой день с мешком и термосом пришел пожилой мужчина. Выждав, когда полицейский отвернется, обронил на пол скатанную в трубочку бумажку, указал на нее взглядом. Записка оказалась более под-

робной: «Если вызовут на допрос, не признавайся, что со мной знакома. Когда меня отправят в лагерь — уходи к партизанам».

Александру арестовали вечером 3 февраля. В тот же вечер взяли Шарину, Судьину и Фомину, вновь схватили Голядкину и Жарову. Наутро были доставлены в комендатуру Маша Карпова и Нина Крылова.

7 февраля — новые аресты. Взяли Прохину, Аввакумову, были доставлены в комендатуру сестры и мать Никоновы, Дуня Жарова, Женя Васильева, Тася Белокурова, Клава Дмитриева, Шура Жарова, Фрося из деревни Зимари, Владимир Васильев, Клара Васильева.

Всех их поместили в школьном подвале — в общей камере. Маше Карповой удалось отправить записку матери. В записке было сказано, что в камере сидят двадцать два человека — взрослые и дети. Лишь Александра Д. и Семенова были помещены в одиночки. На прогулки их не выпускают.

...Резко лязгнул засов, вошли обер-фельдфебель и вооруженный солдат. Конвойные отвели Александру в соседний дом, ввели в небольшую комнату. За столом сидел офицер, тот самый, что утром вел допрос в комендатуре.

Фельдфебель что-то доложил офицеру, хмуро посмотрел на Александру.

Офицер был пьян, на столе лежала обшитая войлоком фляга.

— Глупый девчонки. Надо все признаваться. Мы будем прощать.

Наутро Александру вызвали на очную ставку с Марией Карповой. Следователь спросил, получала ли Александра от Карповой винтовки.

— Получала, три или четыре раза. Передавала Семеновой.

— Подтверждаете это? — обратился следователь к Карповой.

— Нет. — Карпова сжала зубы, лицо ее стало серым.

Александра поняла, что молчать не сможет. Виноватой, однако, считала не себя, а Семенову.

Карпову вновь спросили, может ли она подтвердить то, что сказала Александра Д.

— Этого не было. Все это — ложь, — не сдавалась Карпова.

Офицер взял резиновую плеть и приказал солдату вывести Александру. Но в тот же день ее вызвали на очную ставку с Прохиной.

— Вы знакомы? — спросил офицер Александру.

Она коротко кинула и, встретив взгляд Тони, отвернулась к стене.

— Получали вы или нет лекарства от Прохиной? — последовал новый вопрос.

— Получала, передавала Семеновой.

— Вы подтверждаете это? — повернулся офицер к Прохиной.

— Нет, ничего не передавала! Все это ложь! — отрезала Прохина.

Александра без разрешения следователя быстро-быстро заговорила:

— Глупая, они все знают, признавайся, будет легче. Что ты врешь, зачем?

Офицер вновь потянулся к плетке, и Александру вновь вывели.

В тот же день ее привели на третью очную ставку — с Семеновой Раей. Следователь спросил, передавала ли Александра записку Семеновой к Таисии Николаевне Васильевой.

Александра ответила, что передавала, но содержания записки не знает...

Вечером была четвертая очная ставка — с Алексеем Пашковым. Спросили, где находится брат Алексея. Александра ответила, что в партизанах — так считают многие.

То же спросили и у Пашкова.

— По слухам, ушел в партизаны. Точно не знаю. — Парнишка дерзко смотрел в глаза следователю.

— Почему не знаешь точно? — задал вопрос следователь.

— Жил с братом раздельно. Вот и не знаю.

— Подтверждаете, что братья Пашковы жили раздельно? — обратился следователь к Александре.

— Подтверждаю. Встречались очень редко.

— Связан ли этот человек с подпольем?

— Этого не знаю, — покачала головой Александра.

И вновь офицер взялся за плеть, а Александру увели конвойные.

На третий день утром Александра рассказала следователю про встречу молодежи с партизанами дома у Раи Семеновой. После этого Александре подали протокол, написанный на четырех страницах по-немецки, и девушка его подписала не думая.

По нескольку раз на день вызывали фашисты на допрос Женю Шабохину. Александра рассказала следователю, что перед самым арестом Семеновой Шабохина передала ей списки полицейских поселка; испугавшись, Александра сожгла эти списки в плите.

На очной ставке Шабохина отрицала, что передавала списки.

Допрос следовал за допросом, очная ставка за очной ставкой. Фашисты повторяли, что им все известно, старались запугать девушек.

Сначала всех, кроме Семеновой и Александры Д., держали в одной общей камере. После допроса каждую из девушек переводили в другую общую камеру. Никоновых, Шабохину, Крылову, Прохину, Судьину и Аввакумову без конца избивали, потому что они ни в чем не признавались.

Особо жестоко били Никоновых, спрашивая об одном и том же: где спрятаны взрывчатка и магнитные мины? Все трое отвечали, что ничего не знают.

О взрывчатке спрашивали и у Владимира Васильева.

Мать Раи Семеновой несколько дней подряд носила дочери передачи, пока кто-то не предупредил, что ее могут арестовать. Младшая сестра Семеновой Ида рассказывала впоследствии, что 18 февраля они с матерью увидели, что к соседней деревне Смоляны на санях едут какие-то люди в белых халатах, — мать и дочь обрадовались, думая, что видят партизан, но вдруг услышали стрельбу и поняли, что это немцы или полицейские.

Мать велела Иде бежать в лес, а сама осталась дома. Когда Ида вернулась, то увидела, что матери дома нет, а часть вещей вывезена. В тот же день было арестовано еще много людей из семей партизан.

Ольга Прокофьевна не вернулась в свою деревню, о судьбе ее можно только гадать.

Все, кроме Александры Д., до конца стояли на своем, отказывались подтвердить то, в чем их обвиняли.

Фашистам не удалось доказать главного — того, что девушки занимались разведкой. Не была доказана и причастность к взрывам, к хранению взрывчатки. Девушки обвинялись в распространении листовок, в передаче партизанам медикаментов и перевязочного материала. Причем и это почти все обвиняемые отрицали.

21 февраля Антонина Прохина, Клара Васильева, Женя Карпова и Анна Шарина вместе с партизанскими семьями были отправлены в концентрационные лагеря. Остальных ждала самая тяжелая участь.

Раю Семенову мучили особенно долго. Она первой попала в руки гестаповцев, заговорила не сразу, путала следователей, отказывалась от своих слов, пробовала перехитрить врагов, про листовки сказала, что нашла их в лесу. Мальчишки находили листовки, сброшенные с самолета, она тоже нашла — совершенно случайно.

Били учительницу без пощады. Когда она лежала пластом, офицер наступил сапогом на пальцы; кисть руки после этого распухла, пальцы стали будто чужие.

Когда девушек повезли к месту казни, они успели выбросить несколько записок. Письмо Судьиной дошло до ее родителей.

Известны имена погибших в тот страшный день: Нина Крылова, Клавдия Дмитриева, Александра Жарова, Лидия Аввакумова, Клавдия Судьина, Евгения Шабохина, Владимир Васильев, Валентина Никонова, Таисия Никонова, Ольга Никонова, Раиса Семенова, Мария Карпова, Мария Фомина, Паша Голядкина, Дия Михайлова.

Расстреливали патриотов солдаты и офицеры 727-й группы тайной полевой полиции. Командовали расстрелом комиссар группы капитан Коде и его заместитель капитан Вагнер. Расстреливал унтер-офицер Шааль.

Нас к подвигу звала Победа

Современные писатели о воинской славе и о плодах Великой Победы

* * *

Давний снимок. Предвоенный год.
Молодые мама и отец.
Я смотрю — и в горле ком встаёт:
как жесток ты, времени резец!
Я нигде красивей не видал
этих лиц — не тронутых тоской.
...На двоих — фанерный чемодан,
связка книг, и вера в мир людской,
и любви отчаянная рань,
и гнездо — сосновая изба,
и вокруг — лесная глухомань:
сельских просветителей судьба.
...Ни снежинки нет на волосах,
озорства очам не занимать.
Не завяла в северных лесах
юная учительница-мать.
Вот я вижу: к удалой груди
прислонила нежное лицо...

Знать ей не дано, что впереди —
горький дым, блокадное кольцо.
Сгорбит глыба тыловых работ.
Дальний фронт безвестием дохнёт:
не слыхать о муже ничего.
В голодухе вспучится живот
маленького брата моего.

Золотцев Станислав Александрович (1947—2008). Поэт, прозаик, публицист, литературный критик. Родился в деревне Крестки под Псковом, в семье сельских учителей. Начал печататься с 1970 г., первая книга стихов вышла в 1975-м. Член Союза писателей России с 1975 г. Автор 20 книг стихов, трех книг литературных исследований и ряда романов, повестей и рассказов, опубликованных в журналах. Его перу принадлежат также многие книги переводов поэзии Востока и Запада. Автор слов гимна города Пскова.

И — пока не взвился над тобой
горький дым, ведущий в горький путь, —
мама, отдохни перед судьбой.
Больше не придётся отдохнуть.
И отец, глядящий в объектив,
ничего не ведает о том,
что его фугасный вгонит взрыв
с головою в южный чернозём,
и померкнет солнце...
И, как тот
шолоховский горестный герой,
он сквозь муки адовы пройдет
с чистой честью — и вернётся в строй.

И пока не грянул смертный бой
и свинец ещё не впился в грудь —
отдохни, отец, перед судьбой,
больше не придется отдохнуть...

* * *

Я, ровесник Победы, сегодня к ненастной године,
К высочайшему часу в твоей прокалённой судьбе
обращаюсь, отец мой.
И запах июньской полыни
пропитал эти строки и думы мои о тебе.
…Только раз ты поведал — а мне же всё снится
и снится
этот гарью, и потом, и порохом дышащий сон:
ты встречаешь войну
на степной хлебозорной границе,
и в полынную ночь вдавлен танками ваш батальон.
Нет, вы встретили ворога так,
Что немыслимо драться достойней.
Но броню лобовую пробьет ли пехота собой
С трехлинейкой в руках... И у каждого — лишь
по обойме,
где всего пять патронов. И не было больше обойм.

И тебе довелось — нет, не бегством спастись,
а пробиться
словно в песне — штыком, но совсем без гранат.
…На крови, на полынном стыде, на горящей пшенице
настоялась безмерная ярость российских солдат.
Как живая вода — на смертельной беде настоялась
эта лютая воля, сломившая чёрную рать.
И спасла нашу землю она — эта ярость.
И приказы стратегов скрепляла она как печать.
…А в тебе отзывается
болью свинцовой поныне,
незабытою горечью первых военных дорог
этот запах полыни — тобой обагрённой полыни,
как щемящий укор и как самый тяжёлый урок,
Но урок — не позор, если он не проходит бесследно,
и тропа отступленья в июньской полынной степи
привела тебя всё-таки к майской сирени победной,
стала первым звеном в протянувшейся к миру цепи.
Пусть же этот урок
в судьбах нынешних не повторится.
Летописец любви — не могу я забыть ни о чём.
Пусть ракетная мощь не встревожит границу
и полынная память
в дозоре стоит трубачом.

* * *

Качается год сорок третий
на ветках немецких ракит.
Вдыхая неласковый ветер,
отец на откосе стоит.
В шеренге оборванных пленных
на погнутой стали лопат,
на лицах, небритых и бледных,
запёкся багровый закат...
— Полмиски бурачной отравы
зажуйте отравы куском
и — шнеллер! — грузите составы

для дзотов фашистских песком. —
Но узники встали как гости —
ни горсти не бросив песка.
Фельдфебель зашёлся от злости,
дрожит с пистолетом рука.
— Берись за лопату!
— Не буду! —
И — взгляд раскололся о взгляд.
И рыжий стреляет ублюдок,
зажмурив глаза, наугад.
А пуля — свинцовая дура —
не знает, куда попадёт.
Она вылетает из дула,
отцу прожигая живот.
И неба нерусского просинь
на русские пала глаза:
отец мой лежит под откосом,
и стала кровавой роса...

Но пуля в крови рассосётся.
И кровь передаст мне отец,
и в сердце мне памятью бьётся
наследственный этот свинец!

* * *

Щедро сегодня
Вам почёт воздается...
Только всё реже ваши когорты
в майский девятый день.
Фронтовики —
так немного вас остаётся:
даже на самых младших старость бросила тень.

Жадно живя — и всё же тайно готовясь
к неумолимым, неотвратимым разлукам,
фронтовики,
Вы сегодня — высшая совесть
и сыновьям, и подросшим внукам.

Как запоздало наше благодаренье
тем, кто в бою
мировую чуму пересилил...
Фронтовики,
Вы — реликтовые деревья
вечнозелёного леса, который зовут —
Россия.

МОРСКОЙ ОБЫЧАЙ

На воду — венки!
На воду венки...
В море вышли мы не за добычей.
Сжаты кулаки. Взгляды, как штыки.
На воду венки: таков обычай.
Встала молодёжь и фронтовики.
Сбавила машина обороты.
С борта корабля
на воду венки
памяти полярного пилота.
Здесь он принял свой самый краткий бой,
вспыхнув звёзднокрылой огневицей.
В этой глубине серо-голубой
вольная душа его томится.
Грузные слои дыбятся стеной,
кажутся очнувшимся гранитом.
Дышит океан солью ледяной,
зря ли он зовётся Ледовитым...
Стылая вода, вечные пласты
венчаны с отвагою людскою.

На воду венки,
вешние цветы,
лентой перевитые морскою.
Бьётся над водой
сумрачный гудок.
Флаг приспущен алый на флагштоке.
Брызги жгут лицо, словно кипяток.
Ветер треплет волосы жестокий.
Вот уже венки скрылись в стороне.
Руки от канатов коченеют...
Только за кормой в стылой глубине
две звезды на крыльях пламенеют...

ПАМЯТЬ

Живые мёртвым памятники ставят
на скалах, на холмах и площадях.
Живые мёртвых в реквиемах славят,
ни бронзы, ни оркестров не щадя.
Но помним ли, что каждый павший
вот этот воздух, росами пропахший,
в себя вбирал в миг смерти,
и за смерть
не бронза статуй, не оркестров медь
ему венец, а запах тёплых пашен,
где комковатый пласт росой украшен
и жарким потом сдобрена она,
где семена — как павших имена,
и хлебом станут эти семена...

И лишь за эту славу смерть красна.

РЕТРОСПЕКТИВА: «ДЕНЬ ПОБЕДЫ. 1965»

Жуков снова на Мавзолее.
Это видел я, это было
в день двадцатого юбилея,
в день двадцатой мирной весны.
В первый раз меня осенило
воплощенье воли и силы
и пронзила мысль, что Россия
столько лет уже — без войны.
Я сегодня в два раза старше.
Но и память сильнее вдвое.
И яснее видится Маршал,
непокорно-крутой стратег.
Лишь над временем был не волен
поседевший кряжистый воин.
Пересилил всё остальное
этот огненный человек.
Улыбался — как не бывало
горьких лет суровой опалы.
И лицо в глубоких морщинах
сохраняло твёрдость брони.
Дух бойца, крестьянского сына,
не сдавило бремя обиды.
Полководец кровью — не чином —
был идущим бойцам сродни.
Был сродни молодым ребятам,
для которых его увидеть,
шаг чеканя, в минуты эти
было выше любых наград.
Сколько б лет ни прошло над миром,
но — покуда мир на планете —
будет Жуков на Мавзолее
принимать Победный парад!

* * *

Как много песен время разметало...
Но высится по-прежнему одна,
звуча лавиной гнева и металла, —
её зовут «Священная война».

Едва в эфире вострубит она,
каким бы сердце ни было усталым,
ты резко в мир посмотришь из окна:
неужто и твоя пора настала?!

Я верю — лихолетье не воскреснет
в моём краю. Но если эта песня
тревожит в мирный час, как ни одна, —
то здесь не только память виновата
и давние кровавые утраты.

Грозой пропахла наша тишина.

ПРОВОЛОКА

Я думала, что ты давно
Погребена в земле сыпучей…
И вдруг смотрю:
Окружено
Строенье проволокой колючей!
Трава цветами тяжела.
И леса мудрое соседство…
А ты?
Ты все еще жива,
Жива — мой ржавый спутник детства!
Я помню боль колючих жал
И помню вдовьи разговоры:
Тогда еще никто забором
Свои дома не окружал.
Тебя тащить с передовой
Ничья рука не подымалась…
Я думала, ты там осталась,
Где отгремел последний бой.
…В траншеях поднята трава.
И слава мертвых не разбудит.
Их нет, и скоро вдов не будет,
А ты, проклятая, жива!

Молева Светлана Васильевна (1946—2005). Поэт. Родилась в селе Чихачёво Бежаницкого района Псковской области. Начала писать стихи уже в начальных классах. В 1961 году вышла в свет ее первая книга стихов — «Подснежники». В перестроечные времена пишет прозаическую книгу «Единородное слово». Вышел в свет сборник ее стихов «Забытые песни».

ПЕРЕД ФОТОГРАФИЯМИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА

Мой город, ты ли это?
Ты…
Такой знакомый, сердцу близкий!
Но где твой люд,
Огни,
Цветы?
Я вижу:
Словно обелиски,
дома встают из темноты.
Встают из пепельных снегов,
В провалах окон нет покоя.
Блокада…
Слово-то какое,
Что жутко вымолвить его!
Но ты держался.
День за днем
Мужался верой и печалью.
И закалялся, крепче стали,
Январской стужей
И огнем…
Я не могла тебе помочь.
Зато теперь со всей любовью
Твоей переболела болью.
Счастливая, я — мира дочь!
Все принимаю наперед
И все за то отдать я рада,
Что получила, как награду,
Гражданство гордое твое.

Вера Сергеева

СЕСТРЁНКА

Гремели раскаты
В военных закатах…
Всего девять лет было ей!
Она через речку
Бежала навстречу
Последней минутке своей.

Глумились у хаты
Свои — не солдаты,
В похмельно-сивушном бреду,
Потешились «малость»,
Сестрёнка осталась
Лежать на заснеженном льду.

Лишь вздрогнуло тело
И забагровела
Снегов голубых чистота.
А взор полицаев
Был непроницаем
И в тусклых глазах — пустота.

Сестрёнка, родная,
Тебя я не знаю,
Ко мне не приходишь ты в сны.

Сергеева Вера Михайловна. Поэт. Член Союза писателей России. Печаталась в литературных альманахах: «Скобари», «Земляки» (г. Псков), «Родная Ладога» (г. Санкт-Петербург) и др. Вышли отдельные книги: «Межсезонье» (Санкт-Петербург, 1998), «На перепутье дум» (Псков, 2000), «За розовой далью» (Псков, 2002), «Прощёное воскресенье» (Великие Луки, 2005), «Фиалковый ветер» (Псков, 2010).

Расстрелянной песней
Кружишь в поднебесье
Средь жертв миллионов войны.

Проносятся годы,
Как бурные воды,
Весною — летят журавли…
Я — в крошеве быта,
Но ты не забыта, —
Мне имя твоё нарекли.

НЕЗАБУДКИ

Всем, сражавшимся за Родину

Незабудки-цветы, голубые крупиночки,
При канавах лесных и в прибрежном лугу.
А быть может, они — голубые слезиночки
Тех, ушедших от нас, перед кем мы в долгу.

Над обрывом грустят голубиночки влажные,
Хоть заласкан обрыв шелковистой волной.
В сорок третьем здесь взвод переправу налаживал
Да остался в тяжёлой глуби ледяной.

Незабудки грустят в полумрачной расщелине,
Где упавшим кострищем рванул самолёт.
И грустят они там, где солдатик простреленный
Смог заставить молчать злобно лающий дзот.

Время лечит холмы, что изрыты окопами.
Время лечит поля, что стонали в боях.
Но тоскуют леса неторёными тропами
О рязанских, калужских, смоленских парнях…

Ходят парни геройские тропами млечными
Там, где звёзды прозрачнее яблок Перси[1],
А чтоб мы не забыли и помнили вечно их —
Незабудки рассыпаны в травах Руси.

УЖИН ИЗ МОЕГО ДЕТСТВА

Вьюжит, вьюжит, ох как вьюжит
Загулявшая метель…
А в избе — нехитрый ужин,
За столом сидит «артель».

Мать с отцом, нас — три девчонки,
И знакомая гостит.
Хворост щёлкает в заслонку,
Вьюшка радостно гудит…

Помакушка[2] золотится,
В ней — селёдка да мука.
И картошка — что царица,
Пар валит из чугунка.

И пофыркивает чайник,
В «носик» дует, как в трубу…
Дух смородового чая
От плиты ползёт в избу…

Утром веточек смороды
Мы успели припасти.
Ведь теперь нам к огороду
Ни проехать, ни пройти.

Ветер воет, вьюга кружит,
Снег заваливает двор…
А в избе — тепло и ужин
И душевный разговор…

---

[1] Перси — сорт яблок.

[2] Помакушка — вроде густого соуса.

ПИСЬМА С ФРОНТА

Памяти Сергеева Д.А., кадрового офицера, пропавшего без вести в боях за г. Севастополь, и Сергеева А.М., погибшего в бою под г. Смоленском.

Читаю письма фронтовые —
Дрожит душа, дрожит рука…
В них запахи пороховые —
Из огневого далека.
В морщинах старческих бумага,
И охра времени на ней.
А в ней — горячая отвага
И верность родине своей.
«Окоп, июнь, год 41-й…» —
Начало этого письма.
Струной натянутые нервы,
Реки бегущая тесьма.
Бегущих строчек свет и нежность,
И теплота — к своим родным,
И напускная безмятежность:
«Вы не волнуйтесь, победим!
Мы защитим вас, дорогие.
Не плачь, маманька, здесь вполне
Дуная волны голубые
Напоминают Волгу мне…»
Он свёртывал письмо, как фантик,
И был судьбе грядущей рад,
Красноармейский лейтенантик —
Сергеев Митя, сын и брат.
Но не на Запад, а назад он
С боями начал отступать.
Он поднимал солдат в атаку[1],
Шёл в схватки, как в акулью пасть.

[1] «В атаку на врага» — заметка в газете того времени, где говорится, как лейтенант Сергеев и сержант Юсупов подняли солдат в атаку. Автор заметки Д. Ткачёв.

Был смел и дерзок, и награды
Звенели в списке послужном…
А Севастополь сущим адом
Кипел-пылал — в сорок втором.
Смешалось всё: земля и люди,
Вода и небо, гул и чадь…
Летела смерть из всех орудий
И норовила всех объять…
С накалом мужества и чести
В дом — вновь письмо, как ураган:
«Ваш сын-герой пропал без вести,
Сергеев Дмитрий, капитан…»
О, горе! Суть письма такого
Для сердца матери — напалм.
А впереди известье снова:
«Ваш муж… на поле боя… пал…»
Их — миллионы! Скорбь слезится,
А им — не встать, хоть как проси,
Но надо им не позабыться,
Должна быть память у Руси!

НЕМЕЦКИЙ ПЛЕН

Памяти отца моего

-1-

Он был в разведке. Сквозь ненастье
Кровил на тропки алый лист…
Вернулся, а на месте части
Уже хозяйничал фашист.

Как вороньё, чужие речи
Слетали на болотный чад,
На лес смоленский, где разведчик
Из окруженья в плен был взят.

Их гнали всех в страну чужую,
Босых — по снежистой траве…
И за турнепсину[1] гнилую
Гулял приклад по голове.

Для них сарай бывал острогом.
Курить хотелось, есть и пить,
Но фриц выкрикивал им строго:
«В сарай нельзя никто курить!»

А в русском — сколь всего лихого?!
И кто-то, сдуру, закурил.
Всех — в строй. И каждого второго —
Из автомата — в грудь, в распыл.

Он чьей-то был спасён молитвой,
Не оказался он «второй»,
Не оказался он — убитый,
Над ним не вился шпанок рой.

Его в клочки не разорвали
Клыки натравленных собак…
В аду держаться помогали
Лишь нервы, сжатые в кулак.

И было: трижды убегали,
Но кто-то, видно, выдавал.
Опять в барак, в сарай толкали
Или в какой-нибудь подвал…

Душа была уже на грани —
То ль в теле быть, то ль улетать?
Приказ раздался утром ранним —
В строй, как обычно, быстро встать!

[1] Турнепс — кормовая репа.

И немец, взглядом цепенея,
Изрёк картаво, скривив рот:
«Хто есть фы шить сапок умеет,
На шак выхотит пусть вперёт!»

Эх! Не была была! — сказал он,
Шагнувши из ослабших сил.
И этот шаг, как оказалось,
Ему спасенье подарил.

-2-

Его загнали в «шуэфабрик»[1].
И Бог опять ему помог.
Советский русский пленный чахлик
Кроил союзки[2] для сапог.

От голода, как воск, он таял.
Дрожала слабая рука.
Мария, немка молодая,
Носила кожи вороха.

И в этих кожах для раскроя
Она упрятывала хлеб…
И знала — не простят такое!
А пленный понемногу креп.

И по Марии после плакал
(Охранник на неё донёс).
И ночью слушал — над бараком
Кружился часто бомбовоз…

[1] Шуэфабрик (*нем.*) — сапожная фабрика.
[2] Союзка — передняя часть заготовки обуви.

Потом бомбили зло и свято,
Освобождая всех от бед…
И он к родным своим пенатам
Пришёл, хоть сущий был скелет.

…За то, что плена ад был пройден,
За то, что жив остался он, —
Марии, худенькой той фройляйн,
Через года все — нёс поклон.

Александр Бологов

ВАЛЬС ПОБЕДНОГО ДНЯ

Не помню какого-либо другого дня в своей жизни, чтобы сравнить его с этим майским днем, который я провел в военном госпитале.

В помещении с большим окном нас было двое: напротив меня лежал такой же, как я, пацан с забинтованными руками и головой, — нам обоим оторвало пальцы добытым у саперов запалом. Конец шнура мы поджигали вместе, но в горячке забыли, кто должен был кинуть запал, как гранату, за сарай, и, пока вырывали его один у другого из рук, он взорвался. Мне оторвало несколько пальцев, а Витьке посекло и лицо, у него вытек правый глаз.

Больниц в городе, недавно освобожденном от немцев, еще не было, и нас доставили в госпиталь, как раненых, — этих привозили уже издалека, даже из самой Германии, где наши брали Берлин.

Нас с Витькой отделяли от передней части палаты, которую называли подсобной перевязочной, шкаф и белая занавеска из простыней, — она почти всегда была затянута. Однако что происходило за ней, мы знали, даже могли видеть в щель между занавеской и шкафом. Но первое время ничто нас не интересовало, — мы оба, едва оставались одни, укрывались с головой и плакали... Витька вообще почти не высовывал голову из-под одеяла, а по ночам иногда так выл, что и я начинал нюхать забинтованные кулаки и хныкать в подушку.

В другой половине комнаты стояли крытые клеенкой кушетки, на которых перевязывали раненых. Часто при смене повязок занавеску оставляли отдернутой; сестра или врач вяло махнут нам рукой: «Давай отворачивайся!..» — и возятся с отмоченными гипсами да бинтами в сплош-

Бологов Александр Александрович. Родился в 1932 году в г. Орле, в семье железнодорожных рабочих. В 1981 году заочно окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета. Повести и рассказы А.А. Бологова публиковались в центральных российских журналах («Юность», «Наш современник», «Нева» и др.). А.А. Бологов — заместитель председателя приемной комиссии Союза писателей РФ и член Высшего творческого совета Союза писателей РФ.

ных пятнах, успокаивают людей с култышками. Когда перевязки делали женщинам, полог закрывали плотней. Но в нервной, кровавой работе про нас с Витькой часто забывали: голоса за отгородкой крепли, сбивались, слышались матерные слова, — они вырывались у тяжелых — безногих, безруких. Один раз я слышал, как сквозь слезы так кричала молодая женщина без обеих рук. Если у раненых отрывали присохшие бинты, слышались вскрики; мы с Витькой прятали головы под подушки.

Витька говорил, что, когда мне меняли повязки, он тоже накрывался с головой, чтобы не переживать. И я так делал, даже шептал в темноте, что в голову придет, чтобы только не слышать, как Витька пищит, а сестра его успокаивает.

Вот только Ежик, когда его привозили на высокой коляске и целый час перематывали, ни звука не подавал, только кряхтел, как под тяжким грузом. Его уже увозили из перевязочной, а он все тужился и сопел... Но и смотреть на него была одна жуть — чистый мясной обрубок. Обе ноги вылущены по самый край, даже сидит, то и дело переваливаясь с боку на бок, — на копчике больно; и рука осталась одна, да и то левая. Стригли его наголо — сам, говорят, просил, — и он все время держался остатней рукой за хрусткую макушку, будто и ее мог потерять. Его прозвали так — Ежиком, фамилия была другая. Один раз кто-то подошел к нему и тоже тронул ладонью шершавое темя: все нормально, мол, кореш... А он втянул шею, чистая черепаха, и ни звука в ответ, только глаза сузил... Я, когда видел, как везут его на каталке, старался не глядеть в его сторону, на его цепкую руку, ухватившую вытертый подлокотник.

После отбоя я иногда подолгу не засыпал. Началось с того, что на вторую же нашу ночь в госпитале я услыхал за шкафом чей-то шепот. Разговаривали двое, и я сразу узнал, кто там находится: слышались глуховатый голос лечащего нас с Витькой доктора Кротова и быстрый, с теплым придыханием, медсестры Кати. Слова было трудно разбирать, и я, приподняв голову, прислушался. Кровать подо мной скрипнула, и голоса за простыней смолкли. Я замер; Витька сопел в подушку... Он и потом ничего не слышал — вся голова была замотана.

— Спя-ат... Спя-ат... — спокойно, но как-то торопливо не прошептал, а почти проговорил доктор Кротов и стал что-то делать с Катей, отчего та, то ли всхлипывая, то ли хихикая, задерживала дыхание и шептала: «Евгений Ильич!.. Евгений Ильи-ич!..»

Возня стихла, и они долго целовались, — это было ясно, все было слышно. Но через какое-то время Катя снова вздохнула: «Ну, Же-еня!..»

«Не могу!.. Не могу!..» — громче ее проговорил доктор, и голоса на время утихли, а потом в прерывистом дыхании я различал чаще всего только редкие Катины слова: «Милый мой, да, да!..» И одно и то же, повторяемое доктором: «Хорошая моя!.. Хорошая...»

Через день — снова было их дежурство — Катя и Кротов делали ночью то же самое, а потом, как бы уже не боясь, что их может кто-то слышать, разговаривали почти в полный голос. Доктор говорил спокойно, рассказывая Кате про далекий город Таганрог и про своих родных.

— Я уже все про тебя написал, — не один раз повторил он медсестре. — Они твою карточку просят, а я написал — живую, мол, привезу. Особенно Ксанка: хоть какую-нибудь пришли, пишет, хоть малёхонькую.

Ксанка, как я понял, была сестрой доктора, девчонка еще, потому что он сказал раз, что у нее уже тоже, мол, хлопцы на уме.

— Я ей дам хлопцев, — добавил со смехом после этого, — задеру подол и — крапивой.

Катя засмеялась, а потом, притихнув на минуту, проговорила:

— А вдруг я не понравлюсь твоей маме?..

Доктор, видно, тронул Катино лицо или волосы, потому что она прошептала: «Какие руки у тебя горячие!» — и, кажется, стала целовать их. А он, тоже переходя на шепот, видно, притиснулся к ней и забормотал:

— А у тебя все горячее, все-все горячее...

А мне стало горько, даже рукам стало больнее. Я захватил зубами пропахшую йодом повязку на правой руке, где у меня целыми остались три последних пальца, и даже прикусил под бинтом стянутую нитками голую косточку, где был указательный палец. Когда снимали бинты, долго сочилась кровь, но Катя, потихоньку отдирая каждый клочок марли, повторяла одно и то же: «Терпи, мужичок, терпи...» Как мне хотелось дотронуться щекой — руки были в бинтах — до ее близких тонких пальцев, но она, как бы чувствуя это, строго смотрела на меня и переводила взгляд на Витьку, прятавшего под одеялом свой единственный глаз.

Я понимал Витьку. Я сам не знал, например, как буду писать в школе без главных пальцев, как делать то или сё, а у него еще и глаз... И лицо в швах... Мать его особенно убивалась из-за глаза. Сидела, прибегая после работы, и, не переставая, качала головой да охала: «Ох, бедный ты мой... Ох, бедный ты мой...» Это и вспоминал, наверно, Витька, когда по ночам голосил под одеялом.

Когда они — Кротов и Катя — появлялись перед нами вместе, я незаметно сравнивал их. Катя шла за доктором, когда уже снимала нам по-

вязки, — первое время их приходилось даже отмачивать. Доктор присаживался на табуретку, щепотью поднимал и поворачивал одну мою руку, вторую, просил подвигать пальцами, что-то говорил сестре и чмокал небольшими пухлыми губами: «Нормально». И Катя часто повторяла это его слово, когда перебинтовывала нас. Потом они шли к Витьке, я и рассматривал их. Доктор был полнее, он и на табуретку садился, оглядываясь, — выдержит ли. Лицо у него, правда, было симпатичное: красивое, с розовыми щеками, с маленьким носом и такими же губами. Катя была другой, — дело даже не в красоте лица, не в легкой походке и свежем запахе духов, который я ощущал, когда она оказывалась рядом. Она была тоньше, мягче, она была чище и слаще — так бы я определил то свое далекое представление о ней.

В одну из ночей я слышал, как доктор и Катя выпивали. Они горячились больше обычного, говорили, перебивая друг друга. Доктор то и дело включал карманный фонарик, луч его ползал или метался по стенам и потолку; а Катя смеялась и сама же повторяла: «Тихо!.. Тихо!..» Потом звякнули кружки — в них что-то полилось, и сразу потянуло спиртом.

В тот раз зашевелился и Витька; он сначала поднял голову, а потом отвел одеяло и привстал. Под ним хрустнули пружины. Открытый глаз Витькин выглядел в потемках черной впадиной. Я приложил к губам укутанный в марлю кулак и показал, чтобы Витька ничего не спрашивал. Не знаю, что он улавливал своими замотанными ушами, но когда я махнул ему рукой и показал: «Ложись!.. Ложись!..» — он послушался.

А за шкафом, за простынным пологом разгорался невидимый костер. Тихие Катины стоны и ее ласковые слова прерывались невнятным бормотанием доктора. Душа моя рвалась туда, в темноту пропахшей йодом и спиртом перевязочной, где двое совсем недавно прикасавшихся ко мне людей, кажется, забыли про все и про всех... Они радуются, они ликуют от какого-то своего непомерного счастья, отгородясь от всего, что мешало бы им пить его, как пьют в жажду живительный сок...

В наступившем скоро затишье слова долетали до меня ясно, я слушал и понимал все. Больше говорила Катя. Оказывается, у них уже все было решено. Война заканчивается, наш госпиталь будет скоро расформирован: раненых развезут по другим, стационарным, госпиталям, медперсонал перераспределят, а часть сразу же демобилизуют — на гражданке не хватает и врачей, и сестер. И они — Кротов и Катя — отправятся к нему в Таганрог, о чем он уже предупредил родных. Катя в основном о них и расспрашивала. У нее самой, как я понял, были только дальние родст-

венники — близкие погибли, — но и к ним она в будущем собиралась съездить, — конечно же, вместе с ним, с Кротовым. Я слышал, как он уверенно сказал об этом: «Факт, съездим...»

...С левой руки мне сняли повязку; два пальца с обкорнатыми верхушками сильно чесались, но двигались и работали, как и целые. Меньше стало бинтов и на другой руке, я уже и боли в ней особой не чувствовал. И Витька по ночам перестал реветь, только охал, пока не заснет.

Когда в перевязочной в очередной раз ночью появились Кротов и Катя, я уже спал, а разбудил меня какой-то шум. Как я понял, в темноте свет они уже потушили — Катя задела ногой кушетку. «Прямо коленом...» — тихо, изменившимся голосом, прошептала она, когда сон уже отлетел от меня. «Больно?» — спросил Кротов. «Д-да...» — послышался ответ. «Сейчас посмотрим...»

Тон, которым произнес последние слова доктор, показался мне наигранным, а прозвучавшее в ответ: «Товарищ майор!.. Ну что вы! Ну что вы сразу!..» — словно обдало холодом. С Кротовым была не Катя.

— Я тебе не майор, — с легким укором сказал Кротов. — И не начальник... Сейчас..

— Я понимаю, — тихо отозвалась женщина.

И я узнал голос. С доктором была медсестра с третьего этажа Пранутe, литовка. На взгляд она была еще моложе Кати и совсем другого склада: плотная, как и сам Кротов, светловолосая, молчаливая. Я не раз встречал ее то на лестнице, то в прогулочном коридоре.

— А ребята? — имея, видимо, в виду нас с Витькой, спросила Пранутe.

Я не расслышал, что ответил доктор. После небольшого молчания и последовавшей тихой возни послышался шепот медсестры:

— Не нужно, я сама...

Она, как я понял, стала раздеваться.

— Давно я ждал тебя... — несколько раз повторил Кротов, чмокая губами. Литовки не было слышно...

Когда они успокоились, доктор стал говорить ей об их скорой демобилизации и Таганроге. Пранутe говорила мало, просто отвечала на его вопросы.

После их ухода я долго не мог уснуть. Не спал, вроде бы, и Витька, но он все равно ничего, наверное, не слышал, — голову его до сих пор не разбинтовали. Я ему, конечно, кое-что рассказал о нашем докторе и Кате, — что они встречаются по ночам, — но Витьке было не до них, ему

это было, кажется, все равно. Теперь вот еще и сестра с третьего этажа... Правда, Витька ее, думаю, ни разу и не видел, — кроме туалета в конце коридора, он никуда не ходил.

Через день Кротов снова пришел в перевязочную с литовкой. Тут можно было не напрягать ухо: почти все наши слова она выговаривала по-своему, даже такие, как «товарищ майо-ор». Доктор перебивал ее, как и она, растягивая последнее слово: «Я говорю: я тебе не майо-ор», — но медсестра сверху называла его все равно по-своему.

Было еще не очень поздно — смена дежурного персонала прошла недавно, — но стояла полная тишина. Не прислушиваясь, можно было различать шаги ходячих раненых, бредущих в туалет или на лестницу покурить. Эту ночную музыку нетвердых шагов я уже знал наизусть.

Витька спал неслышно. Он уже привык смотреть одним глазом и по ночам не ревел, как вначале, когда и я лил слезы, согревая дыханием ноющие кулаки.

С Пранутe у нашего доктора долгого разговора и на этот раз не было: пошептались немного, и опять стало слышно лишь тяжелое дыхание майора. Я закрыл голову одеялом, захватил губами здоровое место скрытого бинтами беспалого кулака.

«А Катя?.. А как же Катя?!» — кричал я мысленно доктору, и в укрытии слыша его гундосый голос. Или это звенело у меня в ушах? Я откинул одеяло и перестал дышать: звон в ушах не проходил.

Это было звучание тишины, — я это почувствовал, не уловив никаких звуков из-за простынной загородки.

И вдруг раздался слабый стук в дверь, а затем — голос: «Евгений Ильич!» Тишина, кажется, стала еще глубже. А голос повторился: «Женя!..» И тут, как шипение, послышалось из-за шкафа докторово: «Это Малахова. Что ей надо?..» Я чуть не вскрикнул: ну как же я не узнал Катина голоса!..

А через несколько дней и пришло то, чего и мне, тогда бездумному пацану, не забыть вовек, как не забывается, может быть, не самое важное, а самое особенное в жизни.

Уже с утра того дня повеяло чем-то новым во всем ходе госпитальной жизни. Все, что шло своим чередом, словно сбилось с толку, потеряло привычную опору. Утренний обход прошел и не вовремя, и абы как. Даже Катя вместо градусника едва не сунула мне под мышку пустую руку и, в конце концов, потрогав лоб, махнула ею: «Нормально». Доктор вообще не смотрел ни меня, ни Витьку — вообще не появлялся в нашей каморе.

Зато в нашей перевязочной побывали многие, до той поры никогда и не появлявшиеся на этаже, люди — все больше офицеры, в халатах и без халатов, беспокойные, но веселые, с хитрой искрою в глазах. Мы с Витькой тоже полдня провели на ногах, болтались по всему госпиталю, и никто нам ничего не указывал. Дежурившие у входа на каждый этаж сестры подолгу не оказывались на месте — такого до сих пор не бывало. Мертвый час в этот день просто не состоялся. Мы-то с Витькой, как и было положено, улеглись на свои скрипухи, но чтобы спать... Это было даже и невозможно: за отгородкой, за шкафом шла в этот день иная, чем обычно, жизнь. Постоянно хлопала дверь, слышались незнакомые голоса — громкие, несдерживаемые, цокали алюминиевые фляжки и кружки, звякали стаканы; крепко пахло спиртом. Уже к вечеру вместе с майором Кротовым в перевязочную зашел какой-то тяжко дышавший человек, хрипло сказал: «Засунь подальше... Чем заесть, принесет Архипов...» «Есть!» — отозвался Кротов, и я понял, что его спутник званием выше.

...Витьке уже освободили одно ухо от бинтов, он тоже все слышал, и мы поняли главное: ночью ожидается важное сообщение по радио — скорее всего, выступит товарищ Сталин. Война кончается — об этом говорят в сводках, толкуют в госпитале, но как же наступит ее главный, полный конец? Для того чтобы сразу все прекратилось: и бомбежки, и похоронки, и голод, и взрывы мин и запалов, потери рук и ног в госпиталях, для того чтобы пресеклись все душевные муки, выпавшие людям, — нужно что-то особенное, необычайное, невообразимое...

«Это случится ночью, об этом известят по радио в важном сообщении» — вот что мы с Витькой уяснили наконец в самом исходе дня, поздним вечером. Около полуночи все были на ногах; лежачим помогли выбраться в проход те, кто передвигался самостоятельно — на своих двоих или на костылях. Легкий гул, будто сетью, накрыл собравшихся в широком коридоре людей. Переговаривались больше врачи и сестры; раненые вытягивали шеи и нервно покашливали, устремив глаза к черной тарелке радиодинамика.

...Я не удержал в памяти, кажется, ни одного слова из того, что громоподобно провозгласил омытый чистыми слезами и всенародной любовью диктор Левитан, я еще не был готов к восприятию великих истин. Но помню, до сих пор чувствую, как в тот момент трепетно забилось мое сердце — слитно с ударами крови в жилах людей, измученных увечьями и ожиданием особого, тайного откровения. И вот оно наступило. Про-

клятая Германия капитулировала, война закончилась, павшие за Победу смертью попрали смерть...

А живые... Кто-то забинтованной рукой вытирал слезы... Вот один, не с нашего этажа, с криком бросил костыли и, сильно хлопнув в ладоши, пошел в прискок на одной ноге, а в бок выкинуть было нечего — подвернутая штанина билась пустой. Удалец завалился. Ему принесли костыли, а он сидя прыгал на полу и продолжал отчаянно хлопать и что-то выкрикивать.

Но вдруг прибежали сверху несколько человек; прокричав что-то, спустились по лестнице ниже. На бегу — прыгали и с костылями — показывали на окна, но там со стороны ничего не виднелось. Сунулись к пролету и раненые с нашего этажа, музыка стала слышней...

Через какое-то время все объяснилось. Ежик... Отколол все же номер. Он сидел, сидел на койке, щупал подрост на голове, разглядывая свои старые фотки, а потом попросил ребят поднять его и подвезти к наружному окну — поглядеть на улицу. Его в несколько рук подняли на каталку (я потом узнал, что это было кресло для женского лечения) и прикатили к подоконнику. А он: нет, говорит, повыше, поднимите к раме. Осилили, кто умел, перевалили кряхтуна чуть не к стеклам. Он махнул своей левой: хорош, мол, так я и хотел, спасибо. А через минуту (все, кто ходячий, в широкий коридор ушли: радио заговорило громко) — звон стекла, хряск выбитой рамы. Это Ежик... Ему даже в стекольный проем было не пролезть — во всю старую раму сунулся.

Настрой, конечно, сбился, хотя в госпитале всякое было и до этого. Пока за стенами подбирали калеку, — что там от него осталось... — гвалт поутих.

...А потом опять заиграла музыка, хотя толпа немного и рассосалась, часть раненых разошлись по палатам. Приказов никаких никто не отдавал, врачи сами были возбуждены не менее больных, сами готовы были и петь, и плясать. Это вскоре и началось. Когда по радио отгремели марши и репродуктор умолк, посередине главного простенка поставили тумбочку, а на нее трофейный патефон, принадлежавший кому-то из раненых.

Мы с Витькой пошли было к себе, но дверь в палату оказалась закрытой, из-за нее доносились громкие голоса. Мы не стали стучаться и вернулись назад, поближе к тумбочке с поющим патефоном.

«Победа, братцы! Победа, мать...» — выкрикнул кто-то из небольшой группы раненых, сбившихся у переходной лестницы. Что-то крикнули им снизу, с первого этажа, и стоявшие у лестницы отозвались громким хохотом.

А дверь в нашу перевязочную вдруг распахнулась, из нее вышли Кротов и с ним несколько человек. Первым — тучный высокий офицер в накинутом на плечи халате, потом пожилая черноволосая женщина — главный хирург госпиталя. Мы с Витькой ее знали, она осматривала нас после операции.

— Вальсы! Вальсы! — сипло бросил в сторону стоявших у патефона добровольцев грузнотелый офицер, — погоны его топорщились под халатом. И не очень ловко, хмельно, не дожидаясь музыки, стал кружить на свободном месте главного хирурга.

И тут я увидел Катю... Где же она была до сих пор? Или я, как и все, одуревший от неожиданного счастья, не заметил ее в этой ошалевшей от радости толпе? Я ведь и забыл о ней в самые бурные минуты торжества...

Катя стояла среди молодых солдат, которые рассказывали ей что-то смешное: говорили почти в самое ухо и смеялись, не понимая, видно, отчего не отвечает им тем же симпатичная сестра. Катя — я теперь не спускал с нее глаз — смотрела туда, где около начальства был виден Кротов. Он уже станцевал вальс с врачом-хирургом, которая в танце не показалась мне такой уж старой, как вначале, — чуть откинув голову, она кружилась легко и плавно.

Витька попросил проводить его в туалет. Пока мы ходили туда, понаслушались всякого. В палатах пили и пели, кто-то пытался играть на губной гармошке; в другом месте, так же коряво, — на аккордеоне, и везде стоял несмолкаемый радостный гул.

Когда мы вернулись, Кати на прежнем месте не оказалось, она уже была вблизи начальства, стояла перед доктором Кротовым. Она его пригласила на танец. Доктор наклонил голову и повел ее в круг. Мне казалось, что мало кто из движущихся в этом круге умеет танцевать: в вальсе надо кружиться, как это только что делал толстый офицер с легкой, как перышко, женщиной-врачом, кружиться под четкие такты музыки.

Ах, как бы мне хотелось услышать, о чем говорили они, медленно движущиеся в потерявшей ритм, опьяненной великой вестью толпе. Говорила в основном Катя, — я видел, как беспокойно шевелились ее губы, как неотрывно смотрела она в глаза доктора. Он не отводил взгляда, он даже улыбался в ответ на какие-то ее слова и тут же пожимал плечами. В конце танца он хотел проводить ее на место — обратил к ней лицо и что-то спросил, но Катя отвела его руку и ушла в сторону, стала пробираться по занятому больными коридору к лестнице.

Я тоже хотел уйти к себе и рассказать Витьке про все, что знал о Кате и Кротове. Хотел и не решался, стоял истуканом и трясся от какого-то вдруг охватившего меня озноба. Не помню, где блуждал какое-то время мой потерянный взгляд, но вдруг глаза остановились на выплывшем из тумана серой госпитальной одежды белом пятне медицинского халата. Катя! Катя!.. Да, она снова стояла в переходе, правда, дальше старого места, и снова смотрела на отдельную группу людей, среди которых был и Кротов. Но они, словно по команде, вдруг двинулись к нашей перевязочной, и дверь ее закрылась...

Какая-то сила оторвала меня от стены и понесла к медсестре и поставила рядом, так близко, что я, замирая от счастья, всеми легкими вдохнул ее безумно сладостный запах.

— Катя... — выдавил я из себя, не зная, что говорить дальше. Она повернула голову:

— Что?

Она даже не глядела на мои руки, что единственно связывало нас в гуще взволнованных людей. И голос ее был пуст, он прозвучал, как эхо невнятного звука.

— Что? — повторила Катя, опять повернув лицо в сторону нашей перевязочной. Смотрела она сощуренно — либо чтобы лучше видеть, либо чтобы удержать слезы, скопившиеся за ресницами.

— А как же Таганрог? — сказал я как можно тверже.

— Какой Таганрог?.. — Катя перевела глаза на меня и сощурилась еще больше. И вдруг стала быстро краснеть — щеки ее просто запылали.

— К-какой Таганрог? — переспросила она и дернулась, как от икоты. Потом закрыла лицо рукой, а другую слепо вытянула в мою сторону и выдохнула: — Гос-споди!..

«Катя, я люблю тебя...» Я ведь, кажется, произнес тогда эти слова, потому что вспоминаю их как сказанные и ею услышанные. Иначе бы не перестала она сдерживаться и не притиснула бы к мокрым глазам носовой платок. Или это сейчас я выговариваю в памяти то, отчего чуть не потерял тогда сознания, — признание в незнакомых мне в ту пору, сжигающих сердце чувствах? Я не помню и до сих пор не понимаю, как они проросли во мне и окрепли, но воображение творит со мной немыслимые вещи: я как бы вижу себя перед Катей большим, взрослым, искренне открывающим ей свою душу.

...«Господи!..» — повторила тогда Катя, оглядываясь, прижимая платок к губам. А по коридору вдруг пробежала новая упругая волна оживления — кто-то принес еще какое-то победное известие.

— Смотри! — показал я на шумных толпящихся людей. — Победа ведь, Кать...

Она закрыла глаза и кивнула:

— Да... В самом деле, Господи...

Она даже взялась рукой за мою культю и слегка сжала ее в руках, как птицу с больным крылом, а потом опять вздрогнула, разжала пальцы и, будто и сил у нее не было, тихо произнесла:

— Слушай, иди ради Бога... Иди…

ПОБЕДА

— Анютка-а! — донесся из горницы бабушкин голос.

— Чего?

— Глянь, сколь время-то уже! Поесть не успеешь, ребяты уйдут. Будешь потом догонять...

— Успею.

Анютка сполоснула руки — смывала грязь с башмаков, — подошла к столу.

— Ешь давай, — поставила бабушка перед ней миску с картошкой. Близко стояла другая, с кислой капустой, в кринке — простокваша. — Снулая какая севодни.

Анютка промолчала. За три года, что жила у деда с бабкой, научилась терпеть, не перечить без толку. Не как раньше, когда совсем маленькой приезжала сюда на короткое лето.

— А дедушка? — спросила с полным ртом.

— На конюшне. Манефа жеребится, пришли за ним.

Анютка хорошо знала Манефу — хромую лошадь с пятном на лбу. Бурая, ровная в окрасе, Манефа носит это белое пятно как звезду на фуражке.

— Доносила все же, — вздыхает бабушка. — Бог даст, все обойдется.

Анютка кивнула. Она тоже подумала, что все обойдется и Манефа принесет еще одного жеребенка, последнего в своей жизни, как говорил дедушка. Он говорил, что их латышка, то есть Манефа, и так запоздала с этой своей охотой. Однако веселым был, когда уводил ее на случку в другую деревню.

— Собирайся живей, ничего тебе не осталось, — подняла бабушка глаза к ходикам на стене.

А в конюшне с ночи суматоха. Манефа перестала есть, забеспокоилась. Ходит по деннику, ложилась несколько раз. Молоко уже не держит. Когда подошел старый конюх, она уже улеглась насовсем, уже ждала своего часа. Но легла неловко, крупом в стенку, и Лукич показал помощнице: надо двигать. Опорная нога была с порезом — из-за нее и забраковали лошадь на отборе, — Манефа никак не хотела вставать. И так, и эдак крутились — заставили подняться и опять лечь, — уже на чистую подстилку со свободным местом назади.

С самого утра и в доме какая-то суета. Проснувшись, Анютка увидала в хате соседок. Говор, охи, ахи. То выйдет какая-то, опять зайдет.

— Назаровна, неужели? — допытывается Глаголиха, мать одноклассницы Анюткиной, Зинки. — Неужели правда?

— Сама же говоришь, — отзывается бабушка.

— Дак и мне сказали, — торопится подтвердить что-то Глаголиха. — Ночью, говорят, по радио объявили.

— Дай Бог, дай Бог!.. — повторяет бабушка.

Тут Анютка и зашевелилась, слезла с полатей.

— Ой!.. Дитятко! — Зинкина мать обхватила ее, теплую, еще вялую со сна, прижала голову к фуфайке. — Одни осталися-а!..

— Война кончилась, внученька, — переняла Анютку из ее рук бабушка. — Кончилась, Господи!..

Бабушка тоже притиснула к себе, припала губами к макушке. Однако не стала причитать, как Глаголиха, как сама полгода назад, когда получила похоронку на сына Колю. И Анютка поняла, что бабушке стоит немалых сил — не застонать, не упасть головой на стол, как это было осенью, когда они с Зинкой пришли из школы и узнали о похоронке. На второй день Зинка провела ее за руку до самой парты. «И у нее папку на фронте убило», — сказала. А Анютка кивала, пришла ее пора принимать жалость.

Бабы, и радуясь, и плача, разошлись на дойку. Потом одна за другой стали подходить с молоком, снимать с подойников стираные тряпки.

— Радость-то какая, Назаровна, — слышалось из сеней, где бабушка принимала молоко. — Ребяты в Мохово бегали, там тоже все гомоном.

Было слышно, как позвякивают ведра, скрипят доски моста под ногами. Анютка знает, что там делается. Слева от лестницы на сеновал стоит стол с пробирками. Бабушка наливает в них молоко от каждой коровы, потому что у них разная жирность, и каждой хозяйке записывает в книжку, сколько та сдала. От шипения молока, когда его сливали в бидоны, от

железного стука бидонов Анютка и просыпалась по утрам. Но этот день начался не так...

— Ну где ж бабы-то? — не раз слышалось из сеней. — Чо они, в самом деле?

— А и доить забыли...

И правда, не все в это утро подоили коров, сбиваясь в кучки у крылец да в хатах.

А на конюшне возле потной Манефы такой же потный Лукич.

Трогает, щупает вздутое брюхо, говорит ласковые слова. Лошадь косит на него налитым глазом, кряхтит с натуги.

— Манефа, Манефа, — одно и повторяет конюх, свой, самый близкий ей. Теперь-то они оба хромые, а было время...

Было время, на кобылу-латышку смотреть приезжали, удивлялись стати. От нее одной колхоз и продал двух жеребят на племя. Когда Манефа повредила на косьбе ногу, Лукич волосы на себе рвал. Но, как говорится, нет худа без добра: военные спецы в первую выбраковку лошадей только языком цокали, оглядывая хромую красавицу. Хромота-то была невелика, но никак не излечима, и лошадь оставили в деревне. Не взяли ее и на войну, когда конюшни вычищали чуть не под ноль и отбраковывали, считай, самое старье и убогость. Опять глядели на Манефу, жалели, что припадает на ногу, а взять не взяли. Ну и Лукич, конечно, свою роль выполнил, — сам полступни потерял, соскользнул под трамвай в городе, знал, что это такое — иметь порченую ногу. «Обое мы с белым билетом», — говорит. Он и содержал Манефу не как других, жалел. На вспашку ее не брали; а по ровному полю — на прикатке в посев, на косьбе — тут она справлялась. Молоко возила, воду с пруда. Уже с нездоровой ногой принесла жеребенка и вот еще захотела, — напоследок, как сказал Лукич, увидав ее поведение.

Был у нее и грех большой; и все, может быть, из-за ее негожей ноги. Уехала на ней за почтой тогдашняя возница ее Егориха. Баба горячая, нервная, Егориха, как говорила, чуть не каждый день видела худые сны. «Что-нибудь с Павлом сталось», — догадывалась про мужа на фронте. Всю жизнь ревновала его к молодухам, на войну провожала — об этом же беспокоилась. А детей у них не завелось. И в тот раз поехала раньше срока, упросила председателя, да и все в деревне рады были лишнему случаю получить письмо или что. Собрала угольники по дворам, у кого были на отсыл, отправилась. Прошло время, народ ждет. Дела, конечно, никто не бросает, все заняты. А вот и колеса услыхали. Подъезжает телега, а в

ней Егориха, уже, считай, холодная. Ей Манефа копытом угодила, в самый висок. Это уже с участковым разобрались, когда дорогу проследили, откуда лошадь сама пришла. Как все вышло, Бог знает, не до следствий было, да и у кого спрашивать, кого привлекать. Может, по нужде решила Егориха остановиться, может, вожжу выправляла да за ногу хромую туго взялась, — кто знает. Но, видать, сумела в горячке сделать шаг да в телегу повалиться. Встала Манефа у конторы, чует неладное дело — дорогой никто не понукал, — фыркает. А что с нее возьмешь? Хорошо хоть сирот Егоровых не осталось. Пашке тоже не сладко пришлось, калекой домой вернулся.

А на конюшне все больше волненья.

— Видать, нога подогнулась, — сказал Лукич о жеребенке.

Никогда у Манефы ничего такого не было, выжеребки проходили, грех жаловаться, всякий раз в полчаса укладывались. А с последним, вишь, расставаться не хочет.

— Манефа, — опять провел рукой по мокрому боку ее Лукич. — Ну давай, трудись, мать, трудись! — И тоже губами двинул, как и Манефа своими — пухлыми, тревожными.

Тут ворота скрипнули, председатель появился. Всегда молчком подходил, а тут на ходу еще пошел говорить. Просто новое для него, так и есть — выпивши.

— Дожили, Лукич! Победа... — поднял оба рукава вверх, один с рукой, другой пустой наполовину. — Дожили, етишкину мать!..

Степан Захарыч отвел культю и вытащил из-под нее, с-под фуфайки, бутылку с самогонкой. Но, оказавшись ближе, увидал все, что есть, и остановился.

— Видишь — что? — не подымаясь с колен, убирая локтем пот со лба, выдохнул Лукич. — Бастуит...

— Манефа! — скосоротился, будто только что и уразумел, что перед ним деется, председатель. Но грудь не могла удержать того, что в ней было, и он опять воздел кверху порожний рукав: — Наша взяла, Лукич... Побе-еда!..

Он видел, что пособить тут ничем не может, и ушел. Двинулся к конторе, к штабу своей бабьей роты, как называл всю наличную силу деревни. Он им скажет, что не зря они мыкались все эти годы, жали не лобогрейками, а серпами, сохраняя зерно, слали на фронт, что могли. Не зря оплакивали мужиков, а то и сынов своих... Больше слезов не будет...

До школы было три версты. Дорога уже подсыхала, грязь не липла лаптями на ногах, и шагалось легко. Да и что-то в сердце — теплое, светлое, — как волшебная сила, поднимало и несло вперед. Так бывало, когда все уроки были хорошо сделаны и не надо было ни чуточки бояться, что Мария Никаноровна вызовет к доске. Анютка, как лучшая ученица, сидела на первой парте и имела на ней со своего края красный флажок.

Она и еще трое ребят из деревни — всем передалась эта лихорадка старших — шли и рассказывали, каким выдалось нынешнее утро, как матери позабыли про их уроки и даже про печи, которые запалили не вовремя. Потом стали говорить про близкие каникулы, про то, как скоро станут бегать на речку и на плотину. Как ни весело было в школе, а вольное лето, уже совсем недалекое, кажется, уже шло навстречу, вытянув вперед на глазах теплевшие руки. Оттого и распирало все внутри и хотелось встать повыше.

— А мне папка из Германии охотничий ножик привезет и аккордеон. В письме написал...

— Аккордеон?

— Ага. И еще патефон с пластинками. Чуть не сто пластинок привезет. И новый патефон.

У одного Семки Горелова оставался еще жив-здоров отец; он да Степан Захарыч, двое в деревне, играли на гармошке.

— А мой папка... — хотела что-то сказать Анютка, но остальные глянули на нее — совсем по-другому, чем на Семку, — и она остановилась. Потом на Зинку Глаголеву коротко поглядели, у нее тоже отца на фронте убило.

А за горкой и Мохово открылось, и школа с расшитыми во всю стену окнами. И дым над ее обеими трубами свежий — тоже, видно, с задержкой затопили. Голоса оттуда издалека слышны, они и шагу заставили прибавить.

— Эй, эй! — встретили их на школьном дворе, как будто они ничего не знали. — Война кончилась, уроков не будет!

Ребята бегали вокруг свежевскопанной клумбы, носились друг за другом, девчонки смеялись и визжали. Из школьных дверей вышла уборщица тетя Клава; вытирая глаза, пошла к сараю.

— Тетя Клава, правда, уроков не будет?

Та замотала без слов головой, махнула рукой в сторону ворот.

— Ура-а! — уже в который раз заорали все как один. — Ура-а!

Их даже по классам не развели. Учителя, нераздетые, с порога собрались в холодном еще директорском закутке. В сообщение по радио верили, а радоваться боялись.

Вспоминали тех, кого учили в своей четырехлетке до войны и кто, как стало уже известно, погиб за эти годы. Плакали о павших близких. И никого не проведаешь — ни одного на своих погостах не похоронено.

Потом директор вышел на крыльцо и стал ждать тишины. Дождался, сошел со ступенек к передним, кто подошел почти вплотную. Набежал глазами на покрасневшую от игры Анютку, положил ей руку на льняную голову. Анютка запылала еще горячей. Показалось, что директор нетрезвый.

— Сегодня... ребята... не будем учиться, — сказал он, задерживая слова. — Сегодня праздник...

Все уже знали это, а все равно, как на новое, откликнулись одним духом:

— Ура-а!..

И директор — поднял кулак над головой и тоже округлил рот:

— Ура-а!..

Непонятно было только, почему у него, как и у тети Клавы, были мокрые глаза, раз праздник.

Назад шли — несли по очереди знамя: флажок с Анюткиной парты. Мария Никаноровна разрешила. Надвязали к нему длинную палку — издалека виден. Шли и пели песни — «По долинам и по взгорьям» и «Вставай, страна огромная». Где не помнили слова, повторяли пропетые, все подходило и получалось даже громче.

— Бабуля! — из сеней крикнула Анютка, зацепившись флажком за дверной косяк. — Нас отпустили.

В хате сидел дедушка.

— Ты пьяный? — быстро оглядела стол Анютка.

Лукич протянул к ней руки — обнять и приголубить последний светлый лучик. Анютка увернулась, бросила на ходу: — А бабушка где?

От деда сильно пахло конюшней.

— А как Манефа? — остановилась перед ним Анютка. Лукич поднял большой палец.

— Ожеребилась? Дедушка!

Дедова голова мотнулась вниз, он кивнул.

...Манефа справилась. Она лишь шумно кряхтела и отдувалась, пока он выправлял жеребенку скосившуюся ножку, когда, сам измученный и

мокрый, Лукич принял вышедший плод и перевязал пуповину, благодарно ткнула его мокрым носом. Острыми глазами глядела, как он очистил жеребенку рот, нос и уши, а потом, шатаясь, встал: давай, делай свое дело. Манефа даже щурила глаза, жарко вылизывая легкое тельце дочери. А та подрожала, подрожала и поднялась на ноги, и все увидали на лбу ее такую же, как у матери, звезду. Так, с огоньком на голове, и ткнулась матери в вымя.

Через две недели подошли каникулы. Опять ребята из деревни шли из школы — пели песни. Дорогой рвали цветы, кидались сумками, обзывали необидно друг дружку. Как и сговаривались, сразу не пошли по домам, а с выгона повернули к конюшне. И возле нее увидали Манефу с жеребенком. Он стоял в стороне, и Манефа, увидав голосистую команду, коротко заржала. Жеребенок стрельнул под ее защиту.

— Победа, Победа! — закричала Анютка, а за ней и другие.

Манефа тряхнула головой.

— Победа! — услыхала опять.

Так назвали ее дочку.

ВСПОМИНАЯ ПАВШИХ

Сражённые вражьими пулями,
Ушедшие в небытие,
До времени только уснули вы —
В потомках ваше житьё.

А коль не осталось потомков,
Вы памятью в каждом из нас.
Пусть подвиги ваши негромкие
К свершеньям зовут нас сейчас.

Мы после — на долгие годы —
Запомним бойцов имена.
Что краше быть может свободы?
Лишь славной Победы весна.

А мы, как и вы, непоседы,
Готовы за Родину в бой.
Потомки Великой Победы —
Гордимся, Россия, тобой.

А в поле стоят обелиски.
С дороги далёко видать.
И ласточки кружатся низко —
В природе царит благодать,

Иванов Иван Васильевич. Родился в 1948 году в деревне Бородино Палкинского района Псковской области. Печатался в заводской многотиражке, в местных газетах, в коллективных сборниках литераторов Псковщины. Член Союза писателей России. Автор десяти поэтических книг, среди которых «Татьянин день», «Третий Спас», «Июль благословенный», «Тот дивный мир», «Чувства неостывшие».

И эти просторы без края,
И эта в полях тишина.
Всё вами даровано — знаю —
В России на все времена.

ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ

«Этот день мы приближали, как могли», —
Поётся в песне о Победе нашей.
Давно те годы канули вдали,
Но в этот праздник мы поём и пляшем.

И песни фронтовые так поём,
Что слёзы льются в радостном порыве,
Поскольку за Отечество своё
Стоять нам перед Богом не впервые.

И рады мы, что праздник наш живёт
И будет жить, ведь он по духу — русский.
Пускай проходит жизнь за годом год
И добавляет новые нагрузки.

А он взовьётся фейерверком ввысь
И будет радовать потомков наших.
Победа — значит, торжествует жизнь!
Победа — значит, и поём, и пляшем!

БОЛЬ

Никто не знает, сколько их лежит,
Солдат, погибших на равнине русской.
Скажите мне — достойно можно ль жить
С такой вот неподъёмною нагрузкой?

Земля сама, деревья и кусты,
Цветы, трава, как дорогие братья,
Вдали от злобы, лести, суеты
Их приняли в раскрытые объятья.

Давно над ними травяной ковёр,
Их костяки повили корни крепко.
Где было поле — там дремучий бор,
Где зрела рожь — там выросла сурепка.

Захожий странник, шляпу скинь свою
И поклонись простой траве поляны.
Быть может, тут погиб солдат в бою.
Не оттого ль цветёт гвоздика рдяно,

Не оттого ль кукушки звонкий плач,
Кому она года теперь считает…
Построят скоро здесь десятки дач —
Поскольку дачный бизнес процветает.

Года сотрут всё в памяти навек.
Но прежде, чем бумага в пыль сотрётся,
Вогнав на штык лопату, человек
На костяки солдатские наткнётся.

Душа его застонет, заболит,
И он замечется, и задрожат колени.
И он почувствует не где-то там, вдали,
А на участке встречу поколений.

И он сорвётся с места, побежит,
Чтоб очутиться в комиссариате,
Чтоб с дрожью молвить: «Там солдат лежит,
Вот память для потомков о солдате».

И человек достанет медальон.
(Не всю войну давали медальоны.)
В нём главные слова: Петров Семён,
Такой-то области, села, района.

Да. Повезло из многих одному:
Конкретно пулемётчику Петрову.
Какая честь оказана ему —
Своих односельчан увидеть снова!

И красный гроб по улице плывёт,
И плачет горько старая вдовица.
Средь сонма обывательских забот
Такое может только раз случиться.

Спокойно спи на кладбище теперь,
Солдат, — твой прах не потревожат боле…
А человек завоет, словно зверь,
В тисках ничем не излечимой боли.

На даче землю всю перевернёт
И откапает ржавые осколки.
Но всё равно он искренне поймёт,
На чьих костях растут дубы и ёлки.

Никто не знает, сколько их лежит,
Без вести павших на равнине русской.
Скажите люди — можно ль честно жить
С такой психологической нагрузкой?

* * *

Я выйду сегодня на улицу —
Услышу весеннюю звень.
Пусть солнышко ласково жмурится
В такой замечательный день.

Пусть дарит мне солнце соцветия
Цветущих роскошных полян.
Мечтаю с восторгом о лете я,
Свечением их осиян.

Пусть кто-то мне скажет, что попусту
Красивые трачу слова,
А это от счастия попросту
Кружится моя голова…

Готов рассказать другу старому,
Как праздничный вечер хорош.
А люди проходят всё парами,
Таких, чтоб один, не найдёшь.

Целуются, грусти не ведая,
О самом простом говорят.
И всех поздравляют с Победою,
И аисты в небе парят,

И небо салютом увенчано,
И падает свет на медаль…
Смеётся счастливая женщина,
С ребёнком идущая вдаль.

ЧЁРНЫЙ ВИР

Деревня Чёрный Вир располагалась в Карамышевском районе Псковского округа Ленинградской области (ныне Карамышевская сельская волость Псковского района Псковской области). Деревня уничтожена карателями в 1943 году, теперь там урочище. В книге Павла Лукницкого «Ленинград действует...» читаем: «В деревне Чёрный Вир расстреляли часть жителей и деревню сожгли». Впрочем, я слышал от своей бабушки несколько иную историю.

Деревни Чёрный Вир на карте нет,
Осталось лишь урочище пустое,
Колодца остов с темною водою,
Фундаментов печей неясный след.

Здесь в сорок третьем зверствовал СС —
Не немцы, а эстонские солдаты,
Их бабушка моя звала — «кураты»…

Она, сбежав с детьми в дремучий лес,
Сама спаслась и деток сохранила.
Но сколь потом жила — не позабыла
Расстрельный год, и пережитый ад,
И страшное ругательство — «курат».

Бениаминов Андрей Геннадьевич. Родился в г. Пскове в 1968 г. Офицер государственной противопожарной службы МЧС России. Поэт, публицист, член Союза писателей России, член Русского литературного клуба. Автор сборника стихов «Может, сбудется?». Неоднократно публиковался в поэтических сборниках Пскова, Москвы, С.-Петербурга. Редактор сайта псковской писательской организации «Псковский литературный портал» (http://pskovpisatel.ru).

Те, кто остался, выжить не смогли.
Горел овин, обложенный соломой,
В нём, под напев пластинки граммофонной,
Детей и женщин заживо сожгли.

А после — расстреляли мужиков,
Почти ополоумевших от горя,
Не чувствующих холода и боли
И поседевших в несколько часов.

Деревни Чёрный Вир на карте нет,
Осталось лишь урочище пустое,
Колодца остов с темною водою,
Фундаментов печей неясный след.

Деревни Чёрный Вир на карте нет…

* * *

Худой мир лучше доброй ссоры...
(пословица)

Мир худой. Он всё хуже и хуже,
Честь и совесть давно не в цене,
Вновь над городом вóроны кружат,
И опять говорят о войне.

Кровь и слёзы военной годины
Мне мерещатся где-то вдали.
Громыхают по трассе машины?
Или танки в атаку пошли?

Да, конечно, сейчас не до жира:
Пустословье, бедлам и разор.
Но по-прежнему хочется мира
И не хочется мне «добрых ссор»...

* * *

Памяти Сергея Самойлова,
ст. лейтенанта спецназа ГРУ

Погиб Серёжка в горах, в бою.
Я над могилой его стою,
Звенит весна, и растут цветы,
Но оборвались его мечты.

В газетах пишут: неравный бой,
В газетах пишут: он был герой…
Звезда Героя не воскресит,
Он под плитою могильной спит.

Меня он младше на восемь лет,
Теперь Сергея на свете нет.
Прощай, Серёга, прими мой стих.
Кому-то надо жить за двоих…

ВСТРЕЧА ПСКОВСКОГО СПЕЦНАЗА ГРУ

Цветы на могильный холмик,
Венки и пустые речи...
А те, кто о них помнит,
Лишь молча зажгли свечи.

И долго ещё ветер
Трепал и трепал пламя.
И рады друзья встрече:
Мы с вами, а вы с нами...

* * *

А тишина осталась тишиной,
Хотя её стреляли и взрывали,
В неё орали, брызгая слюной,
Её не раз сиреной разрывали,
Неоднократно мучили войной.

А тишина осталась тишиной...
И в той тиши лишь шёпот откровений,
И звуки уходящих вдаль сомнений,
И воздух, очарованный весной,
И ты в обнимку с ветром и со мной.

Ведь тишина осталась тишиной,
А значит, есть надежда на восход,
На то, что снова сердце запоёт,
На радость встреч, объятья под луной.

На тишину, что будет тишиной...

Олег Калкин

ЭВАКУАЦИЯ
(из повести «Белый свет»)

Запомнилась тревожная осень сорок первого. Частые сводки Совинформбюро, тревожные гудки на станции, уходящие на фронт составы поездов, на платформах которых были различимы под брезентом танки, пушки, автомобили. А в городском парке — бывшем монастырском саду — все так же играла музыка, молодежь собиралась на танцы, правда, с каждым днем все меньше появлялось на них знакомых ребят да все чаще случались перебои с электрическим светом. Мне самой, правда, тогда было не до танцев, работали в полторы смены без выходных, так что я едва успевала забегать за Витей в садик и что-нибудь наскоро сготовить на ужин. В середине сентября над Загорьевском появились первые немецкие самолеты.

Залетали они к нам, минуя Москву, ничего страшного не делали, только покружат-покружат высоко над городом — и скроются. Говорили, что это были самолеты-разведчики. Иногда сбрасывали на город листовки, но никто, кроме милиционеров и дружинников, их не подбирал — боялись. По слухам, в тех листовках было написано про скорую сдачу Москвы, про то, чтобы население саботировало эвакуацию на восток и прятало имущество до прихода немцев.

Первый раз я увидела немецкий самолет еще в августе, задолго до нашего отъезда за Урал. Как-то воскресным утром, оставив дома спящего Витю, — Алексей уже тогда сутками пропадал на заводе, — пошла на вокзальный рынок купить что-нибудь молочного. Едва успела дойти до перекрестка нашей Рыбинки и Вокзальной, как вдруг вижу: со стороны монастыря летит в нашу сторону самолет, да так низко, что кажется, вот-вот заденет крыши домов или деревья. А когда он подлетел ближе, я

Калкин Олег Андреевич (1943—2007). Родился в Томске. Окончил исторический факультет Псковского пединститута. С 1974 по 1994 год жил и работал в Эстонии. В 1994 году переехал в Псков; работал редактором на областном радио. Печатался в коллективных сборниках, периодических изданиях. Член Союза писателей России. Автор книг «Первый день осени». «О чем поет ветер», «На мятежных рубежах России».

отчетливо разглядела на его крыльях черные, обведенные белым кресты. Тут я вспомнила про Витьку, и ужас охватил меня: а вдруг этот стервятник сбросит бомбу на наш дом. Опрометью кинулась обратно, не помня себя, прибежала домой, схватила заспанного сына на руки и выскочила с ним в сад. Только там, под старой березой, что росла в конце наших огородов, наконец-то успокоилась, пришла в себя, когда уже немецкого самолета не было и в помине.

Весь день потом об этом самолете только и было разговоров. Удивляло, что он летел так низко, у всех на виду, и никто его не сбил, хотя все знали, что за городом, в роще, стояли наши зенитки. Наверное, так было нужно. Но с того дня я впервые осознала, как это страшно — война. Потом к немецким самолетам попривыкли. И уже не по одному, не по два — целыми эскадрильями пролетали они высоко над городом в направлении Ярославля, Горького, Рыбинска. По местному радио и заводскими гудками постоянно объявляли воздушную тревогу, мы вначале прятались в подпол, но поскольку Загорьевск не бомбили, — некоторые объясняли это тем, что вроде бы в нашем монастыре до революции была похоронена какая-то знатная немка — чуть ли не бабка самого Геринга, — вскоре к тревогам привыкли и прятаться перестали.

Но чувство страха от первого виденного немецкого самолета все же осталось. Несколько раз мне снился один и тот же сон. Будто сидим мы с Витей в нашем дворе на лавочке и видим, как в стороне низко над садами кружит и кружит тот самый немецкий самолет с черными крестами, и чувствует мое сердце, что это он нас ищет. Крепко прижимаю к себе ребенка, а сама глаз боюсь поднять — вдруг заметит. И в то же время мучительно соображаю, куда бы спрятаться. Но вот вижу: самолет замедляет свой полет, потом как бы замирает на месте и, наконец, начинает медленно-медленно поворачивать свой нос в нашу сторону. Нашел-таки! Сердце так и заходится — поздно бежать! И в отчаянии закрываю глаза, чтобы только не видеть нашу погибель.

Тут и просыпаюсь. И долго не могу прийти в себя, успокоиться, нащупываю в темноте Витюшку, который посапывает рядом, гляжу на темные окна, а перед глазами так и стоит черный нос немецкого самолета, нацеленный прямо в меня. Лишь мало-помалу успокаиваюсь, прихожу в себя. Не сдадут наши Москву, не на тех фрицы напали. С тем, успокоенная, и засыпаю.

А с начала октября стали наш оптико-механический завод готовить к эвакуации за Урал. Отправляли цеховое оборудование эшелонами, к ним прицепляли теплушки с семьями эвакуированных работников. Странно

было видеть голый заводской двор, опустевшие здания цехов и повсюду стоявших охранников с карабинами. Наш шлифовальный цех уезжал едва ли не последним, потому как в первую очередь отправляли цеха и отделы с крупными машинами и агрегатами, которых в нашем цеху было не много. Конечно, о времени отхода эшелонов толком никто в цеху не знал. Только предупредили, чтоб мы были готовы собраться в течение часа.

В те дни я почти не видела Алексея: он был занят на погрузке оборудования в эшелоны. За него я спокойна: там он среди начальства, которое знает, что делать, пропасть нам не даст. Но почему-то не очень верилось, что мы уедем. Не покидала слабая надежда: вот отобьют немцев от Москвы, дадут команду «отбой» и все оборудование вернут обратно в цеха.

Как-то в полдень заскакивает домой Алексей, весь пыльный, взъерошенный, быстро умылся, пообедал и, посадив меня рядом, сказал: «Сегодня ночью отправимся. Будь к этому готова. К одиннадцати я постараюсь приехать с машиной. Только прошу — не очень распространяйся об этом с соседями».

И убежал снова на станцию. А я начала собираться. Витек уже в садик не ходил, вся наша одежда и вещи уложены в три чемодана и одну большую корзину. Сидеть ждать в квартире невмоготу. Тогда я решила в последний раз перед отъездом сходить на Рыбинку, взглянуть на родительский дом. Быстро одела Витю и отправилась.

Словно предчувствовало сердце, что не скоро мы сюда вернемся, хотя и говорили, что эвакуируемся самое большое на год-полтора. И так грустно было — сил нет. Вспомнила, как умирал отец, лежа в большой комнате у печи, и до последней минуты все давал нам, сестрам, наставления: «Не ссорьтесь. Не жадничайте. Живите в согласии и помогайте друг другу». А меня, самую младшую, подозвал поближе, руку мне на голову положил, а я даже не почувствовала ее тяжести — до того она была худой и легкой. Лет через семь в этом же доме, только в небольшой, бывшей родительской, комнате с окнами на сад умирала и матушка, угасала тихо, незаметно, ни о чем не спрашивая, ничего не желая, только грустно смотрела на нас, дочерей, — прощалась с нами.

Иду по Рыбинке, вспоминаю все это, ничего не замечаю вокруг. Только когда дошли до поворота на станцию, Витек, который у меня на руках, спрашивает: «А почему ты, мама, плачешь?» «Я не плачу, сынок, — отвечаю. — Откуда ты взял?» «Нет, плачешь, — возразил Витек. — У тебя слезы — кап-кап». Тут только я обратила внимание, что все лицо у меня мокрое, даже кофточка на груди намокла.

Нет, все-таки хорошо, что я тогда с Рыбинкой попрощалась. Потом, в Сибири, я часто вспоминала эту последнюю нашу прогулку по родной улице. Да и потом, вернувшись из эвакуации, тоже вспоминала, потому что та довоенная жизнь больше уже никогда к нам не возвращалась. Дальше шли годы — один горше другого. Не зря простилась.

К одиннадцати, как и обещал Алексей, прибыла за нами машина, правда, без него самого, мы с сестрой Соней быстро побросали вещи в кузов, я обняла сестру, мы поцеловались с ней на прощание, с Витьком на руках я села в кабину, и мы поехали на станцию.

Состав уже был готов к отправлению, все были в сборе, наш вагон оказался в середине эшелона. Прибежал Алексей, извинился, что не мог помочь с погрузкой вещей, — настолько забегался. Спросил, все ли я взяла, что надо, и снова убежал к головному вагону. Но мы еще долго стояли, чего-то ждали, потом вернулся Алексей, вконец измотанный, — двое суток кряду не спал, примостился головой к корзине и тут же уснул. И только уже под утро, когда город еще спал, наш поезд наконец-то двинулся в дальнюю дорогу.

А часам к десяти мы уже были в Ярославле. Там на огромной узловой станции скопилось несколько десятков эшелонов — и пассажирских, и товарных. Едва только наш состав начал притормаживать, как по вокзальному радио объявили воздушную тревогу, тут же вразнобой загудели паровозы. Вместо того чтобы совсем остановиться, наш состав неожиданно резко, со скрежетом дернулся, так что многие попадали с полок, и, быстро набирая скорость, понесся прочь от станции, дальше на восток.

Уже оказавшись за городом, мы видели из окон вагонов, как над станцией летало множество немецких самолетов и огромные столбы дыма стали подниматься над тем местом, где было скопление поездов. Несколько бомбардировщиков, отделившись от вражеской стаи, направились в нашу сторону, и вскоре рядом с нами поднялись фонтаны разрывов. Наш поезд на страшной скорости несся все дальше и дальше, и казалось, что состав вот-вот соскочит с рельсов и всей громадой рухнет под откос.

Остановились мы далеко к востоку от Ярославля, в лесу, и стояли долго, почти сутки. Говорили, что в паровозах перегрелись котлы и машинисты меняли сгоревшие буксы. Потом, по дороге в Сибирь, мы нередко слышали от людей о той страшной бомбежке на Ярославской узловой. По всему, наш эвакуационный состав был едва ли не единственным, которому удалось спастись тогда.

Ну, а о том, что ждало нас в Сибири и как мы там жили, — это уже другой, совсем другой рассказ.

Наталья Лаврецова

ДВУМ МАРШАЛАМ

Памяти первого парада Победы

Еще стоит над площадью московской
Невыветренный временем накал…
Командовал парадом Рокоссовский,
А маршал Жуков рапорт принимал.
Один на вороном, другой на белом,
На белом, а второй — на вороном…
И вся страна салютом к ним летела
От стен Кремля — до всех ее сторон!

Все позади — и только марш Победы,
Он от Москвы летит во все концы:
По Красной шли живые наши деды,
А с ними — наши юные отцы.
Прошедшие с Москвы и до Берлина,
Они в себе Победу принесли…
И был Парад тот длинный, длинный, длинный:
Война прошла — солдаты шли и шли.

Слились в едино лычки и полоски.
Был пламень губ, знамен и крови — ал.
Командовал парадом Рокоссовский,
А маршал Жуков рапорт принимал…
И до сих пор еще в своих мундирах,
Забыв принять простой гражданский вид,

Лаврецова Наталья Анатольевна. Родилась в Карелии, в Петрозаводске. Автор десяти книг. Среди них — поэтические сборники, книги для детей, написанные в жанре «познавательного детектива», рассказы, повести для взрослых, пьесы. Печаталась в журналах «Юность», «Слово», «Согласие», «Наш современник» (Москва), «Север», «Карелия» (Петрозаводск), «Двина» (Архангельск»), «Доля» (Симферополь) и других.

Все принимают рапорт командиры
От тех, кто был убит и не убит.

Отцам Победы — век стоять на вахте,
Чтоб верил тот убитый рядовой,
Отдавший жизнь возле далекой Шахты,
Что всю страну он заслонил собой.
И пусть меняет армия мундиры,
Пусть будет мощен техники парад, —
Все принимают рапорт командиры,
На страже мира маршалы стоят!

Один на вороном, другой на белом,
На белом, а второй на вороном,
В одну живую плоть сливаясь телом —
С лихим конем, страною и Кремлем.
Чтобы слова о Доблести и Чести
Не оказались пущены с лотка —
Им век стоять на самом красном месте,
Где шли с Победой русские войска.

Завидуй каждый той стезе геройской,
Что в том святом строю не он шагал…
Командовал парадом Рокоссовский.
Парад Победы Жуков принимал.

* * *

Неужели мужчин так прельщает война?
Может, им любовь женщин уже не нужна?
Может, падая навзничь в чужой стороне,
Слаще пули хмельной поцелуй на войне?

А быть может, не могут они устоять,
Когда дети уходят всерьез воевать?
Убивать, умирать на чужой стороне,
Что страшнее вдвойне — на чужой стороне!

И идут они вслед, им, наверно, видней,
Для чего же растили они сыновей!
Там — их боль и надежда и плоть их и кровь…
Может, в этом и есть их большая любовь?

* * *

Памяти псковского телеоператора
Валентина Януса, погибшего в чеченской войне

Мне знакомо лицо его, в каске, с глазами гражданскими,
Что-то детское в них, что-то неуловимо цыганское.
Их дорога гнала плетью воздуха тысячелетнего
И сгорела дотла, раскрутившись до кадра последнего.

Как, скажи ты, сумел в это пекло — из мирного города,
От церквей, колоколен, всего, что любимо и дорого?
В мир, где вправду стреляют и даже разбора не делают:
Кто ты: Бог ли ты Янус, а может, рискнул своим телом ты,
Чтоб другие тела сохранить для любимейшей Родины,
Чтоб кому-то цвели еще пыльные гроздья смородины.

Да, конечно, мы все застрахованы, мы — застрахованы!
Словно ангелом ясным в младенчестве мы зацелованы,
Но стреляют и в нас, как в мишень, и мы падаем замертво.
Да, такие живые насквозь — и, пожалуйста, замертво!

Сколько красного будет в полях — мы поклонники красного.
Но земля — уже просто земля, а не Крым и не Запсковье.
И уже все равно там, какие туманы над Соротью, —
Ведь осколком одним те туманы все начисто сколоты.

Это ж надо — вот так, на лету, свое время отсвистывать…
«Он убил меня!» — так ты сказал. Он смутил тебя выстрелом!
Он съязвил твою плоть, но не знал он двуликого Януса,
Бога входов и выходов, Бога веселого градуса.

Бога солнца, дающего каждому свет исцеляющий, —
Он не смог одолеть. Оттого ты глядишь так сияюще.
Оттого — и любовь и надежда в глазах, а не черное марево…
А мы падаем рядом живые. Мы падаем замертво.

* * *

На Руси когда-то без причины
С чьей-то легкой повелось руки —
Самых дельных, терпеливых, сильных,
Называть простецки — мужики!

Он, мужик, он может дом построить,
Если надо — первым примет бой.
Он, мужик, не только в поле воин.
Если уж с тобой — то он с тобой!

Никогда с ним не бывает скучно,
К политесам разным не привык.
Говорим порою равнодушно:
«Что же взять с него — ведь он мужик!»

То порою спорят без причины,
Пьют вино, но, позабыв про страх,
Мужики по имени мужчины
Очень тихо падают в полях.

Тост поднимем — за таких красивых,
За простых, за наших мужиков,
На которых держится Россия.
На которых держится Любовь!

ГОРЯЧИЙ СНЕГ

Мне о войне рассказывала мать
(И ей пришлось хлебнуть в те годы лиха!),
Чтоб память сердца мне свою отдать…
Она друзей перечисляла тихо,

Чтоб помнили о тех, кто воевал
И в сорок пятом выковал Победу,
Кто вспять врага с родной земли погнал,
Глотая гарь по огненному следу;

Кто шёл в смертельный бой во весь свой рост,
Зажав в руке последнюю гранату,
Кто на плечах такую тяжесть нёс,
Что лишь по силам нашему солдату;

Чтоб никогда забыть мы не смогли,
Как все народы встали, словно братья,
Как умирали, заключив в объятья
Горячий снег одной на всех земли!

Соловьёва Тамара Томашевна. Поэт. Родилась в Белоруссии. Публиковалась в сборниках псковских писателей «Весенние ростки», «Опаленные войной», в изданиях «Псковский ежегодник», «На рубежах Отчизны. Псковская крепость», «Псковская земля» и др. В 2012 году вышла книга лирических стихов «Люби меня такой, какая есть». Член Союза писателей РФ. Живёт в Пскове.

НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ

А на войне всё так, как на войне:
Ей — восемнадцать, а ему — под тридцать,
Да и не время, чтоб вот так влюбиться
И думать бы о ней, как о жене.

Тем более что он её не знал,
И ранен был — почти что безнадёжно,
И бредил, и в бреду всё воевал,
И ношей был — тяжёлой невозможно.

Приказ был строг и краток: «Всем молчать!»
В ночь выходил отряд из окруженья,
И каждый был обязан понимать:
Спасенье их — лишь в скрытности движенья.

Но, раненый, в горячке, по привычке
В бреду кричал: «За Родину, вперед!..»
И плакала девчонка-медсестричка,
Ладонью парню закрывая рот,

И, умоляя, тихо то и дело
Просила: «Милый, дяденька, молчи!»
Три раза командир грозил расстрелом,
К его носилкам подходя в ночи...

Он выжил — не согнулся, не зачах,
Не дал прерваться жизни нити тонкой,
И снова — в строй! А где же та девчонка,
Что вынесла из ада на плечах?

Судьба свела их через двадцать лет —
Так разметала огненная вьюга.
И он нашел в ней верную подругу,
Любви и счастья негасимый свет.

Все это я — от первого лица —
Услышала однажды от отца...

ВЕТЕРАНАМ

Вас осталось немного —
Пролетают года...
Лёгкой ваша дорога
Не была никогда.
Время рано коснулось
Белой краской волос:
Вам тревожную юность
Пережить довелось,

Испытать лихолетье
И страну возродить,
Воевать — на столетья
Всем охоту отбить!
Запросил враг пощады
В сорок пятом году…
Так наденьте награды —
Пусть блестят на виду!

Шаг чеканьте со стуком,
И пусть сердце поёт:
В ваших детях и внуках
Ваша юность идёт!

Я ВЧЕРА БЫЛ...

Я вчера был живой. А сегодня под гаснущим небом,
Окликаемый стаями вдаль улетающих птиц,
Я уснул навсегда, и как будто не жил я и не был
Самым нужным и близким кому-то из тысячи лиц!

Чей-то внук я и сын, а кому-то любимым был братом:
Верил в доброе, в лучшее верил, и жизнь я любил.
Почему я убит, если даже я не был солдатом, —
Шел из школы домой, так за что меня кто-то убил?

Я вчера был живой, а сегодня как будто и не был:
Я лежу распростертый в холодной октябрьской пыли.
Уплывающий клин журавлиный в туманную небыль
Улетает свободный от распрей родимой земли.

Я сегодня убит. Смерть за кем-то другим уж по следу.
Всё плохое случилось, и рана уже не болит.
Только мамины руки заломлены в черное небо,
Что дождем, как слезами, осеннюю землю кропит…

ПЫЛАЮЩИЙ ДОНБАСС

В пылающий Донбасс еще подкинут дров
Все те, кто против нас, кому водица — кровь.
Как вороны, летят в Луганск со всех сторон.
И что им жизнь ребят, что вышли на заслон!

Пылает Краматорск, и Горловка в огне.
А если бы Нью-Йорк сгорал в большой войне?!
И кто-то ясным днём Манхеттен сжег, Бродвей?
Тогда бы Белый дом себя бы вёл скромней?..

Не знавшие войны на собственной земле
Исподтишка сильны грозить тебе и мне.
И Запада рука уж целит огнемет,
Где с русскими века Украина живет.

И всё же не пройдет фашистская орда,
Ведь снова наш народ — един, как никогда!
В Дебальцево котлом им обернулся «блиц»,
Не надо быть врагом славянских строгих лиц!

Нельзя за разом раз оружием бряцать, —
Пусть мы молчим подчас, но можем не молчать.
И знаковый момент, боюсь, не просто так:
Покинул постамент советский старый танк!

Александр Казаков

ЗЕМЛЯНИКА РАННЯЯ — ЗЕМЛЯНИКА ПОЗДНЯЯ…

Рассказ

К лесу, хрипя пересохшим горлом, Иван Силыч бежал что было сил. Да и как не бежать, ежели жить хочешь: как зазудели где-то на западе «мессеры», так и кинулся он бежать. И надо же было ему как раз в эту минуту, как назло, посреди поля оказаться! Поленился, понимаешь, поле по краешку обойти; не захотелось ему, видишь ли, по такой-то жаре лишнюю версту или полторы (а хоть бы и три, и пять!) до ближнего леса топать, — вот чуть и не попал фашисту на мушку! Они ведь, гады, как наших «ястребков» в небе поубавилось, манеру такую взяли — за каждым человеком гоняться: Ивану Силычу за прошедший с начала войны месяц уже не раз довелось видеть, как «мессеры» охотились за нашими красноармейцами. И удачно, бывало, охотились…

Вот потому и кинулся он бежать, как только услыхал знакомое ему осиное зудение, — век бы его не слышать! Бежал и оглядывался, пытаясь на бегу разглядеть в белёсом июльском небе чёрные крестики самолётов; оглядываясь же, часто спотыкался и раза три или четыре, зацепившись за что-то, со всего размаха упал на горячую, но ещё не выжженную солнцем траву. За что именно зацепился, Иван Силыч не разглядывал: некогда было на землю смотреть — сверху сейчас опасность грозила, с неба. А что мина под ноги ему попасться могла, он, пока бежал, как-то не думал; да и кто их, мины эти, тут ставил-то? Немцев здесь ещё и в помине не было, а наши… До того ли им было — при отступлении? Да и были ли они у них, мины эти, если даже кто из наших по этому полю и отступал? Что-то ни одной Ивану Силычу не попалось — за оба дня, как он один в поле воин остался. От целой роты, почитай, один… Эх, ёжкин кот!

Казаков Александр Петрович. Родился в Смоленске в 1954 г. В 1978 г. переехал в Псков. Композитор, поэт, прозаик, переводчик, драматург. Член Союза писателей России. Публиковался в журналах «Всерусский Собор», «Сибирские огни», «Север», «Родная Ладога», «Балтика», «Московский Парнас», в псковских альманахах «Скобари» и в различных коллективных сборниках. Автор многих книг прозы.

В общем, до опушки леса он добежал. Добежал — и рухнул, будто его пулемётной очередью срезало, как недавно их политрука… И тут же закатился под разлапистые ветви красавицы-ели, что прямо у самой кромки поля росла.

И затаился…

А «мессеры», сволочи проклятые, так и не появились: позудели, позудели где-то да, видно, ни с чем и убрались восвояси, поскольку стрёкота их пулемётов Иван Силыч так и не услышал. Знать, неудачной у них на этот раз охота вышла. Ну и слава Богу!

Однако долго отлёживаться в спасительной тени еловых веток Ивану Силычу не пришлось: только он было расслабился, как вдруг загрохотало где-то, забухало часто — и вроде бы не только на западе, за полем, через которое он бежал, а и на севере, и на юге. Только на востоке — там, где, по расчётам Ивана Силыча, должен был находиться Селигер, — было тихо.

«Так и к немцам попасть недолго, — подумал он, выкатываясь из-под ели. — Окружат — и каюк! К своим надо выходить, к своим…»

К своим… Только где они, свои-то? За два дня, что Иван Силыч в одиночестве по лесам скитался, он всего двоих своих и видел, — правда, издалека видел, метров за полста; да и перед самым рассветом дело было, потому он их в мутных сумерках толком и разглядеть не успел. А ещё и потому не успел, что они, свои эти, такую пальбу по нему открыли, когда он их негромко окликнул, что только держись! С перепугу, что ли? Ну, так это или нет, Иван Силыч выяснять не стал; отпрыгнул в ельник и залёг за большой мшистый пень, выставив из-за него ствол винтовки. Но отстреливаться, само собой, не стал: может, и впрямь ребята с перепугу палят? Навидались всякого, натерпелись лиха, вот и шугаются от всякого куста. Молодые, видать, необстрелянные ещё; остались без командира, как без мамкиной сиськи, вот и растерялись. Ну, да Бог с ними, ежели так, а не другое что, похуже; вот только не сгинули бы по глупости…

«Видать, тоже своих ищут, — думал Иван Силыч, вспоминая утреннюю встречу. — Заплутали, видать, ребятки — от своих отбились и заплутали. Эх, кабы и мне сообразить, где сам-то я теперича?»

И ведь что обидно: ведь родные ж кругом, можно сказать, места! И до деревни Ивана Силыча, до Сокольского, отсюда не больно-то уж и далече. Эх, жаль: не довелось ему до войны на Селигер-озере побывать, вот ведь какие тараканы! Сорок лет почти рядом, можно сказать, прожил, а Селигера так и не видал. Знал, что есть такое озеро, и велико оно — уж поболе их-то Велья. А от Сокольского до Селигера — и всего-то вёрст

чуть поболе сорока, а то и менее, ежели не по большаку добираться, а напрямки, по лесным дорожкам да тропам. Бывали там мужики из Сокольского, на Селигере: кто на рыбалку за-ради интереса ездил, кто — к родственникам или по другим каким делам; а вот он, Иван Силыч, так ни разу за всю жизнь и не собрался, хотя, помнится, и хотел. Да что теперь говорить…

Впрочем, особенно и незачем ему было на Селигер ездить: рыбы и у них в Велье — хоть ковшом с берега черпай. А просто так туда-сюда мотаться, хотя б и на тот же Селигер, у него и времени-то особо не было: на рыборазводном заводе, где Иван Силыч работал до войны, трудиться приходилось от зари и до зари — то сети вязать, то систему водоснабжения, которая ещё до революции была смонтирована, чинить, то протоки между прудами прочищать; а их, прудов, не один десяток в системе теми протоками связан был. Не дай Бог, доберётся до завода немчура — ведь всё порушат, сволочи! А ведь сколько трудов у людей в это дело вложено, сколько души! Эх, ёжкин кот…

Иван Силыч шёл по лесу медленно, внимательно глядя себе под ноги: может, если не в поле, то здесь наши каких-никаких «сюрпризов» для немцев понатыкали? А то, не дай Бог, наступишь на такой подарочек — и поминай, как звали! Поминай, как звали бойца Красной Армии Ивана Лосева; только мокрое место и останется… Но ни мин, ни воронок от бомб или снарядов на его пути не попадалось; будто обошла война этот лес стороной, помиловала его по чьей-то прихоти или недосмотру.

Нет, мин не было, а вот земляники — некрупной, но давно уже переспелой, набухшей сочной красно-белой мякотью — было немерено; тёмно-бордовыми кровяными каплями она то тут, то там вспыхивала в невысокой траве — и слева, и справа, и прямо под ногами Ивана Силыча. Он останавливался, наклонялся и осторожно, стараясь ненароком не раздавить давно немытыми, пропахшими порохом и махоркой заскорузлыми пальцами нежные ягоды, срывал их с тонких стебельков, прогнувшихся под тяжестью маленьких, но сочных плодов, и сразу же отправлял в рот — то по одной, то, поднабрав побольше, целой горстью. Иногда от его неловких движений ягоды сами отрывались от стебельков и падали в траву, и Ивану Силычу приходилось аккуратно раздвигать упругие травинки и отыскивать ягоды на земле. Делать это одной рукой было неловко: только найдёшь упавшую ягоду, только соберёшься ухватить её пальцами, а травинки раз! — и сомкнулись над ней; ягода-то махонькая, закатится в траву или под лист подорожника — и ищи её

свищи! Двумя-то руками собирать, само собой, было бы куда как сподручнее, да только вторая рука у Ивана Силыча, левая, занята была: винтовку за цевьё он ею держал — цепко держал, ни на минуту пальцев не разжимая: чай, война кругом, а не мирное время. Вон, слышь, опять где-то загромыхало…

И вдруг вспомнилось ему, как любили они с женой Катериной ходить в лес за самой первой, самой ранней земляникой: с первого же года, как свадьбу сыграли, так и стали ходить по эту дивную ягоду каждый год, как только земляника поспевать начинала. Пусть в первые дни и понемногу набирали, по чуть-чуть, но зато какая радость в глазах у его Катюши светилась, когда вечером, вернувшись из лесу домой, заваривала она душистый травяной чай, а потом бросала в него, ещё горячий, с десяток розоватых земляничин.

А потом сидели они, Иван Силыч и Катерина, напротив друг друга за столом, пили этот духмяный чай и друг другу улыбались; бывало, что и слов никаких при этом не говорили, а просто в глаза один другому смотрели, а всё одно — будто какой-то безмолвный разговор промеж ними в это время шёл, и всё им и без слов в такие минуты понятно было. И на душе у каждого из них и ясно было, и светло, и радостно…

Лес постепенно редел. Иван Силыч, увлёкшись земляникой — третьи сутки, почитай, во рту маковой росинки не было! — заметил это не сразу; только когда полуденное солнце, прожигая своими беспощадными лучами насквозь пропитанную потом гимнастёрку, стало припекать его согнутую в поисках ягод спину, он поднял глаза от земли и увидел, что ели и сосны остались позади, на невысоком пригорке, а сам он стоит среди редких зарослей низкорослого кустарника, лишь кое-где прореженного низкорослыми худосочными берёзками. А там, за кустарником, виднеется низкий, болотистый берег, а ещё дальше — бескрайняя, сверкающая солнечными бликами водная гладь озера.

— Ну вот и дошёл ты, Ваня, до Селигер-озера… — щуря глаза, прошептал Иван Силыч. — Вот и сподобился увидать — слава те, Господи…

Однако радости это открытие ему не прибавило, ибо понял Иван Силыч, что дальше для него пути-дороги нет...

Надо было решать, как быть, что делать. Стоять здесь, неподалёку от берега, пялясь на режущую глаза рябь озеро, Ивану Силычу резона не было никакого. Да и опасно это: тут, в редком кустарнике, он как на ладони; вынырни из-за леса «мессер» — враз его заметит. И тогда всё, амба! Много ли с винтовкой против «мессера»-то навоюешь? То-то, брат…

«Ну, против «мессера»-то, может, особливо и не навоюешь, а так…» — подумал Иван Силыч. И жёстко усмехнулся.

— А так-то мы, Бог даст, ещё повоюем, ежели не против «мессеров»-то… — вслух сказал он; недобро сощурив карие, в окружении мелких морщинок глаза; оглянулся на запад, где снова что-то громыхнуло, и добавил: — Там и без них всякой сволочи… на наш век хватит…

Сказал так — и вдруг будто сердце захолонуло: чего это он так сказал-то — «на наш век»? На чей век-то? На его, Ивана Силыча, век, или и на тот, что отпущен и жене его, Катерине, и дочке Наталке?!

Нет, не надо, чтобы войны этой и на их век хватило! Не надо этого — Господи, спаси их и сохрани!

Иван Силыч рывком сдёрнул с головы пилотку и трижды истово перекрестился; вытер пилоткой вспотевший лоб и вдруг как-то разом успокоился.

— Не надо, чтоб и на их век… — тихо сказал он. — На их век — не надо! А на мой… то дело другое: мой-то век…

Он запнулся в мыслях и долго стоял, опустив голову и разглядывая мокрую от пота пилотку; потом нахлобучил её на голову и поднял глаза вверх. Постоял с минуту, глядя на белёсое от зноя, без единого облачка небо, и прошептал:

— Мой-то век — он и есть мой…

Дойдя до берега (и вовсе не болотистым он был, как издалека показалось Ивану Силычу, а совершенно сухим), он вдоволь напился тепловатой воды и ополоснул ею разгорячённое, запылённое лицо. Выпрямившись, долго смотрел на Селигер; пристально смотрел, словно стараясь хотя бы взглядом превозмочь огромное озеро, вставшее перед Иваном Силычем непреодолимой преградой на пути к его родному дому. Потом вздохнул и отправился в обратный путь; шёл и часто оглядывался назад — будто прощался…

Без труда отыскав на опушке ель, под которой он недавно укрывался, Иван Силыч снова улёгся под большую разлапистую ветку, лицом в сторону поля: если откуда и было ему ожидать появление немцев, то только оттуда, а уж никак не со стороны озера.

«А может, кто из наших сперва появится… — думал он, покусывая сорванную травинку и продолжая и с опаской, и с надеждой поглядывать через поле на дальний лес. — Может, и выйдет кто сюда, к опушке-то; да не те зайцы, что давеча по мне почём зря палили, а кто бы посурьёзней — хоть бы командир какой али сержант…»

Усмехнулся горько: «Зайцы… А сам-то — чем не заяц? Драпаю вон без оглядки — третий день уж драпаю, остановиться не могу! Дом, что ли, родной учуял? Вояка хренов…»

Солнце клонилось к закату; оно постепенно опускалось всё ниже и ниже и вскоре оказалось как раз над тем лесом, в сторону которого, всё больше щурясь от бивших прямо в глаза солнечных лучей, и смотрел Иван Силыч. В конце концов смотреть на багровый диск ему стало совсем невмоготу, и Иван Силыч, чтобы дать слезящимся глазам передышку, перевернулся на спину.

Канонада на западе постепенно затихала, и, будто бы вслед за ней, стала понемногу отступать и дневная духота; воздух стал чуть прохладней, а подувший со стороны Селигера лёгкий летний ветерок принёс с собой и немного свежести, так не хватавшей Ивану Силычу в последние дни.

Раскинув руки, он лежал на спине и сквозь еловые лапы смотрел в небо, которое с каждой минутой всё быстрее теряло свою дневную голубизну. Потом оно как-то незаметно, без видимого перехода, приобрело какой-то удивительный лазурный оттенок, как будто вдруг истончилось и стало таким прозрачным и невесомым, как оболочка мыльного пузыря; казалось, что вот дунь сейчас ветерок или упади откуда-то сверху, из пока невидимой за этой оболочкой глубины Вселенной, маленькая звёздочка — и оболочка эта лопнет с тихим звоном и оттуда, из чёрной вселенской бездны, обрушатся на землю бесчисленные звёзды и засыплют её всю, каждую её пядь, своими золотистыми оболочками…

Иван Силыч смотрел на эту удивительную картину широко распахнутыми глазами, затаив дыхание, но она продержалась перед ним всего лишь несколько коротких мгновений; затем небо стало быстро темнеть, и вскоре через раскидистые пушистые ветви неба Ивану Силычу стало не разглядеть совсем.

Он и не заметил, как сначала задремал (хотя и в этой полудрёме ещё какое-то время пытался прислушиваться, даже как-то по-звериному принюхиваться ко всему, что его окружало), а потом и вовсе заснул — впервые за трое суток. То ли близость родного дома на Ивана Силыча так подействовала, то ли — безмерная усталость, копившаяся в нём все эти четыре недели беспрерывных боёв, бомбёжек, неразберихи при отступлении; то ли и то и другое вместе.

И приснилось Ивану Силычу, будто ходит он по лесу и собирает землянику — в точности так, как он ходил сегодня, срывая ягоды одной ру-

кой, а другой — сжимая цевьё винтовки. Только лес почему-то в этом его сне был не июльским, наполненным прелыми, густыми ароматами застоявшихся трав и сухим хрустом пожелтевшего от летней жары мха, а другим — весенним, со свежей травяной порослью, с какими-то влажными запахами, исходящими от недавно одевшихся молодыми листочками берёз. И земляника была не переспелой и сочной, а только-только поспевающей, с ещё кое-где белыми бочками, и ягоды отрывались от твёрдых, упругих стебельков с трудом, а не так легко, от одного только прикосновения, как это было сегодня наяву. Иван Силыч почему-то совершенно ясно понимал: то, что ему грезится, — лишь сон, и сейчас не весна, а лето, и где-то рядом идёт война, а то, что в эти сладостные минуты проходит перед его мысленным взором, — не более чем чудное видение, явившееся ему из его недавнего — а может, и давнего — прошлого; вот только определиться с тем, откуда, из какого именно времени пришло к нему это видение, он никак не мог.

«Ну, хоть бы зацепку какую найти… — думал во сне Иван Силыч. — Хоть бы знак какой или ещё что; ведь было ж это, было! И наяву было; как сейчас помню, что наяву, а и не во сне вовсе…»

И вдруг он увидел, как где-то за берёзами, над густыми зарослями малинника, мелькнул белый платок; мелькнул — и тут же было пропал, но снова появился уже где-то ближе. Потом ветки самого высоко и раскидистого куста закачались, зашуршали друг о друга своими колючками, зашелестели своими маленькими листочками и раздвинулись, и прямо из куста вышла к Ивану Силычу его жена Катерина — улыбающаяся, радостная, с большой корзиной в руке.

«Чего ж ты сквозь кусты-то, напрямки? — спросил её Иван Силыч. — Не обойти было, что ль? Ободралась, небось, вся… Да и сарафан, небось, порвала?»

«Не обойти мне было, Ваня, — виновато потупив глаза, но продолжая улыбаться, тихо сказала Катерина. — Болото там, вкруг малинника-то; как пройдёшь? Утопнуть можно…»

«Да где там болото-то? — удивился Иван Силыч. — Я давеча цельный день там ходил; нет там никакого болота! Озеро там, Селигер, это видел; а болота — нет, не видал…»

«Да ты глянь, сколь я земляники-то набрала! — махнула корзиной Катерина. — Вот уж земляника-то какая выспела! Даром что весна…»

«А твоя-то корзина — где? — вдруг нахмурилась она, строго глядя на Ивана Силыча. — Никак потерял?»

«Да где ж потерял-то, Катюш? — удивился Иван Силыч. — Ничего не потерял; эвон она, аль не видишь?»

И Иван Силыч выставил перед собой руку, в которой, как он чувствовал, было что-то тяжёлое — как ему казалось, корзина с земляникой.

«И когда успел столько набрать? — продолжая глядеть на улыбающуюся жену и ещё не видя того, что он держал в руке, подумал Иван Силыч. — Вроде столь-то и не собирал; не помню, чтобы так-то…»

И вдруг увидел, что Катерина уже не улыбается, а с ужасом смотрит на то, что он, Иван Силыч, протягивая к ней, держит в своей руке.

«Чего ж ты испужалась-то, Катюш?» — хотел было спросить Иван Силыч, но не спросил, потому что вдруг понял, что протягивает жене не корзину, а винтовку…

С усилием оторвав взгляд от Катерины, Иван Силыч тоже посмотрел на винтовку, а когда вновь поднял глаза, жены перед ним уже не было. И только где-то за малиновым кустом, из которого она недавно вышла к нему, мелькнул её белый платок.

— Катя! — закричал он в отчаянье. — Катюша! Постой! Куда ж ты, а? Катю-юша-а-а!..

И вдруг понял, что зовёт Катерину уже не во сне, а наяву…

Как долго длилось это его забытьё — или виденье, или, действительно, сон, — определить Иван Силыч не мог; вроде бы и коротким — слишком уж коротким! — было это всё, а вон уж почти совсем рассвело; глядишь, скоро и солнышко из-за Селигера поднимется.

— Вот так сон… — пробормотал он. — Надо ж, а?

И только было собрался Иван Силыч вздремнуть ещё чуток, как услышал где-то невдалеке, за полем, негромкий стрёкот; он и сообразить ещё не успел, что это за звуки такие, откуда именно они слышны, как вдруг увидел, как из леса — не там, где он вчера шёл, а значительно левее — прямо на опушку выскочили два мотоцикла с колясками. Выскочили, остановились, ощерившись в сторону лесочка, в котором затаился Иван Силыч, стволами закреплённых на колясках пулемётов, постояли так с минуту; потом один из мотоциклов медленно, осторожно двинулся по полю, а второй остался стоять на самой его границе.

«Прикрывать остался, гад… — понял замысел немцев Иван Силыч. — Хитрые, сволочи! Нет чтоб оба-то сразу поехали, рядышком. Аль гуськом, друг за дружкой… И как мне их теперь?..»

О том, чтобы как-то уклониться от предстоящей схватки, Иван Силыч даже и не подумал: не о чем здесь было думать — чай, не рогатина у него

в руках и не вилы, а винтовка! И не потому не подумал, что отступать ему было, в общем-то, и некуда, а… а хватит уже отступать-то; наотступался уже, за месяц-то… Да и немцев всего четверо, а не рота или, скажем, даже взвод. А то, что они на мотоциклах, так это для Ивана Силыча ещё и лучше: вот если бы они пешими были да ползком бы к нему подбирались да с разных сторон, то да — пришлось бы ему покрутиться! Побегал бы тогда Иван Силыч от ёлки к ёлке да от кочки к кочке, чтоб не дать им по себе пристреляться! Да не очень-то, надо думать, и убежал бы — от четырёх-то автоматов… А так-то они перед ним как на ладони, особенно те, что по полю на своей тарантайке катят: целься да бей! Тем более что он их видит, а они его — хрен; а как его увидишь, когда и ёлка его прикрывает, как мать родная, и туман-батюшка, что ещё до света с Селигера на его лесок как наплыл, так до сей поры и не растаял?

Вот только сперва подумать надо, с кого начать: с этих, что по полю едут, или с тех, что у опушки остались? Ежели с этих, с ближних, то те, другие, всполошатся и, глядишь, успеют развернуться да под ёлки шмыгнуть; и как их тогда достанешь, из-под ёлок-то? Да никак! И будут его, Ивана Силыча, из пулемёта поливать, пока не прихлопнут. Или пока подмога к ним ни подойдёт; тогда — всё, кранты тебе, Ваня…

Нет, пожалуй, надо с тех, с дальних, начать: эти-то, ближние, и так никуда от него не денутся, — если, конечно, сразу же не засекут, откуда он по ним из своей трёхлинейки палит. Эх, трёхлинеечка-подруга, не подведи, родимая, как до сей поры ещё ни разу не подводила! И чистил я тебя, и холил, да и пристреляна ты, голубушка, будь здоров: не один уже фриц мордой в землю уткнулся, едва на твоей мушке оказавшись, ох не один! Так что не подведи родная, не выдай!

«Начну-ка я с дальних, — обдумав диспозицию, решил Иван Силыч. — С дальних начну. А там — как Бог даст…»

Он осторожно, не делая резких движений, чтобы ни ветка, ни единая травинка возле него не шелохнулась, передёрнул затвор винтовки, приложился щекой к прохладному, чуть влажному от росы прикладу и стал выцеливать пулемётчика, ссутулившегося в коляске мотоцикла. Целил под каску, но до опушки было слишком далеко, и уверенности в том, сможет ли он попасть фрицу в голову с первого же выстрела, у Ивана Силыча не было. Зазря же расходовать патроны он не мог, не имел права, — их, патронов, у Ивана Силыча всего-то десять штук оставалось: пять — в винтовке и ещё пять — в подсумке; вот и весь его боезапас на этот бой. А может, и не только на этот…

Ближний мотоцикл был уже совсем близко, метрах в семидесяти, и Иван Силыч понял, что времени на раздумья у него больше нет. Ждать, когда выцеливаемый им пулемётчик по доброй воле высунется из коляски, было уже некогда, и Иван Силыч, отведя ствол винтовки чуть левее и выше, плавно, как учил комвзвода Селиванов, нажал на курок. И тут же увидел, как мотоциклист дёрнул головой и опрокинулся назад, широко раскинув руки.

Передёрнул затвор, Иван Силыч выстрелил в пулемётчика, но промазал; он снова передёрнул затвор и выстрелил ещё раз, но промазал опять.

Длинная пулемётная очередь ударила с ближнего мотоцикла, но пули прошли где-то высоко над головой.

«Не видит меня, гад! — обрадовался Иван Силыч. — Не засёк! А я — вижу. Н-н-на, сука!»

Этого, второго пулемётчика, он снял сразу и тут же, передёрнув затвор и почти не целясь, выстрелил куда-то между широко расставленных рук мотоциклиста. И попал.

И в то же мгновение по Ивану Силычу прицельно ударил пулемёт с опушки — ударил так точно, что толстый ствол ели, за которой Иван Силыч укрывался, задрожал и загудел от нескольких, одна за другой, подряд попавших в него крупнокалиберных пуль.

«О как! — втягивая голову в плечи, удивился Иван Силыч. — Хорошо стреляет, сволочь; видать, стреляный воробей…»

Вслед за первой почти без перерыва ударила ещё одна очередь; пули вздыбили землю вперемешку с осыпавшейся жёлтой хвоей в каких-нибудь полутора-двух метрах перед основанием ствола, и всё тело Ивана Силыча в один миг будто съёжилось и заледенело, а в груди возникла какая-то гулкая пустота.

— Вот и всё, Ваня… — отплёвываясь от попавших в рот сухих комков земли, пробормотал Иван Силыч. — Щ-щ-щас ещё раз врежет — и всё…

Но прошла секунда, другая, третья, а пулемёт почему-то молчал. Иван Силыч осторожно выглянул из-за искрошенного пулями ствола и тут же понял, что сделал это как нельзя вовремя: то ли пулемёт у немца заклинило, то ли ещё что произошло, но только фашист отчего-то засуетился, задёргался в своей коляске, а потом вдруг резво, как чёрт из табакерки, выпрыгнул из неё и бросился к лесу.

Бежать немцу до ближних деревьев было метров десять, если не меньше, и доберись он до них, то ещё неизвестно, чем бы всё это для

Ивана Силыча закончилось — с его-то боезапасом с гулькин нос. Но Иван Силыч выстрелить всё-таки успел — последним из остававшихся в винтовке патронов. Как большая птица, пытающаяся оторваться от земли, немец взмахнул руками, но не взлетел, а ничком ткнулся в землю, не добежав до спасительных деревьев нескольких шагов.

Тем бой и закончился…

Ивану Силычу вдруг страшно захотелось пить; он поднялся с земли, отряхнул гимнастёрку и галифе от налипших еловых иголок, закинул на плечо винтовку и пошёл к озеру.

«Вот изопью сейчас водицы, да и…» — подумал, было, он.

И остановился, будто споткнулся.

«И — что? — спросил он себя. — Дальше-то — что? Снова — под ёлку, лежать да немцев ждать?!»

И будто в ответ на его вопрос где-то на западе глухо загрохотали взрывы.

Иван Силыч оглянулся, потоптался на месте в нерешительности, а потом в сердцах плюнул себе под ноги и выругался.

«Нет, брат Ваня, всё! — подумал он. — Хватит уж бегать-то да по кустам прятаться! Назад, к дому, всё одно дороги нет… А хоть бы и была — так что? В подпол залезть и там немцев дожидаться? Не-е-ет, брат, шалишь, не выйдет! Одна у тебя, Ваня, отседова дорога — туда, к фронту: вон наши-то, слышно, держатся ещё, не бегут. Как ты… А ты в лесу сидишь, покуда они там… И за тебя в том числе! Чего высиживаешь-то? Нет, брат; давай, вылазь с-под ёлки-то, да и топай обратно. Топай, топай! Покуда сволочи эти снова сюда не добрались… землянику нашу жрать. Вот хрен им, гадам, а не земляника!..»

К озеру Иван Силыч всё-таки сходил — и воды испить, и так — посмотреть на него ещё раз; шёл и думал: «Вот гляну ещё разок на Селигер-озеро — доведётся ль ещё-то когда? — да и назад: пора уж… Хватит уж, по кустам-то… А там — как Бог даст; может, и в живых останусь: не все ведь на войне-то гибнут; бывает, и возвращаются. Как батяня мой: и японскую всю прошёл, и империалистическую, а живым вернулся. Хоть и израненный весь… А на мне вон за цельный месяц — ни царапины! Может, Бог даст, и повезёт… А там, глядишь, и домой возвернусь, к Катюше с Наталкой, как фрицев-то прогоним; должны ж мы их прогнать-то аль нет? Да прогоним, коли все вместе-то! Этих-то я и один… ухлопал; а ведь два пулемёта супротив меня было — два! Справился же? То-то! А так вот, по кустам да под ёлками…»

И когда, вдоволь напившись тёплой озёрной воды, возвращался через лес к опушке, по пути постреливая глазами по сторонам — не мелькнёт ли где в траве поздняя земляничка? — продолжал думать о том, что так, видно, на роду ему было написано — землю эту свою земляничную от всякой нечисти защищать. И защитить! Любой ценой… Так, как его, Ивана Силыча, рота, с которой он месяц назад войну начал, защитить пыталась: все, почитай, полегли, а танки немецкие хоть на три часа, да остановили… Может, только один он, Иван Силыч, и выбрался оттуда, из пекла этого… Эх, ребята, ребята!..

Дойдя до израненной ели, недавно служившей ему укрытием, он остановился и погладил её шершавый ствол, уже плакавший на выщербленных пулями местах золотистыми смоляными слезами; промолвил тихо:

— Спасибо тебе, матушка… Не скучай, родная! Бог даст, свидимся! Ну, прощевай покуда…

Прежде чем подползти к стоящему на поле мотоциклу, Иван Силыч минуту-другую с опаской смотрел на противоположную сторону поля — туда, где виднелся второй мотоцикл: не появился ли там ещё кто-нибудь? А то высунешься, не оглядевшись, да и схлопочешь пулю в брюхо. Или в лоб. И поминай, как звали…

Но никакого движения на той стороне поля не наблюдалось, хотя Иван Силыч и понимал, что немцы могут появиться там в любой момент: ведь не просто так эти, что на мотоциклах были, сюда забрались; ясное дело, что это, скорее всего, разведка была. А раз разведка, то, значит, и за ними кто-нибудь притопает.

Он ползком добрался до мотоцикла; стараясь не высовываться из-за него, сдёрнул с шеи убитого мотоциклиста автомат, забрал запасные обоймы и ползком же вернулся обратно. Посидел немного под елью, передохнул, потом поднялся на ноги и двинулся в путь, но не через поле, а огибая его по краю. Усмехнулся сухими, потрескавшимися губами: «Почто по дурости-то голову складывать? Нам по дурости никак нельзя; мы уж лучше не по дурости, а как положено; чтобы, стало быть, польза была…»

И ещё, шагая по краю поля с винтовкой за спиной и «шмайссером» в руке, думал он о том, что умирать, само собой, никому не охота — и ему, красноармейцу Лосеву Ивану Силычу, в том числе. Но и по лесам прятаться, когда у тебя оружие есть, да не только своё, но и трофейное, в честном и неравном бою добытое, тоже негоже: а ну как все по лесам

разбегутся, кто с оружием-то, — кто тогда фрицев воевать будет? Некому будет! А раз некому будет, то и попрут они по России-матушке, покуда ни поразорят её всю, от края и до края. И куда потом возвращаться, если всё под немцем будет? Некуда будет возвращаться! Да и неоткуда…

Вот и выходит, что, как говорится, куда ни кинь — везде клин: кто, как не такие, как он, Иван Силыч, да другие воины, кому оружие страной дадено, защищать-то её должны? Бабы с ребятишками? Иль старики старые? Ну, те много навоюют; поработит их немчура, как когда-то татаро-монголы поработили, и будут они им дань платить, как в стародавние времена; заставят на себя от зари до зари работать, да под автоматами, — и куда они от этих нехристей поганых денутся? И Катюшу его, и Наталку малую, и всех, кто под них попадёт…

И вдруг представил себе Иван Силыч, как его Катюша из своего лукошка землянику немцу пересыпает — прямо в его железную каску; горючими слезами заливается, а сыплет…

От такой картины он аж зубами заскрипел. И ускорил шаг.

И чем ближе становилась слышна канонада, навстречу которой шёл Иван Силыч, тем всё быстрее и быстрее он шёл, тем всё чаще и громче бухало в его груди сердце, и тем всё сильнее жгло его желание как можно скорее увидеть — нет, не ненавистные фигуры в серо-зелёных мундирах, а своих — в пропотевших гимнастёрках, в сбитых на затылок, выгоревших под безжалостным солнцем войны пилотках; увидеть их со спины, лежащих в окопах и стреляющих во врага из таких же, как у него, красноармейца Лосева, винтовок, — и добежать до этих окопов, и залечь рядом с ними в одну цепь, и стрелять, стрелять, стрелять, покуда не кончатся патроны, а когда они кончатся, то подняться во весь рост и броситься в штыки и колоть, бить, рвать зубами эту сволочь, которая пришла на его землю, — колоть, бить и рвать до тех пор, пока хватит на это сил, ненависти и жизни.

Стрельба и взрывы доносились уже из-за ближайшего перелеска, и в наливавшемся духотой воздухе то над головой Ивана Силыча, то по сторонам от него всё чаще и чаще посвистывали пули и осколки: они со звоном впивались в стволы сосен и елей или безжалостно срубали их ветви, заставляя Ивана Силыча помимо воли вжимать голову в плечи. Но он не останавливался, а, напротив, бежал всё быстрее, — до тех пор, пока не выскочил на край перелеска и не увидел взмокшие от пота гимнастёрки залёгших по кромке поля красноармейцев.

— Ку-уда, дура?! — заорал на него из-за сосны, мимо которой с разбега проскочил Иван Силыч, какой-то усатый старшина в сбитой на затылок пыльной фуражке. — Ложись, мать твою, — убьют!

Иван Силыч прыгнул в вырытый кем-то наспех и почему-то пустой окоп, бережно положил по правую руку от себя винтовку, выставил на невысокий бруствер «шмайссер» и со знанием дела передёрнул затвор; прежде чем начать стрелять, стащил с головы пилотку, вытер ею пот со лба и снова нахлобучил пилотку на голову.

И только после этого, уже прицелившись в одну из бежавших по полю вслед за танками серо-зелёных фигурок, пробормотал, словно отвечая старшине:

— Ну, это мы ещё поглядим, кто кого…

* * *

Тогда он не спрятал от смерти лица, —
В ответ же — стенанья и ропот.
Как петли, у всех заскрипели сердца, —
Он вышел за двери окопа.

Потом еще двое, еще и еще —
И встали ряды за рядами.
И ярость катала на скулах их щек
Свои желваки: мы их давим!..

И много прошло с той поры самой лет…
Оркестр сияющей меди
В день самых великих на свете побед
Нам песнь заиграл о победе.

Роптали девицы в ажурных чулках,
Пижончик при пиве и с дамой.
И сам я, признаться, вставать был не ах,
Когда вдруг поднялся тот самый.

Он встал не спеша, покачнувшись едва,
Старик-ветеран с сединою.
Моя закружилась тогда голова,
Когда встал и я… и со мною.

И слезы мои покатились со щек
От радости за соучастье:
Вставали за ним, и еще, и еще…
И в этом, вы знаете, счастье!

Москалинский Анатолий Александрович. Родился в 1976 г. в г. Пскове. Член Союза писателей России с 2009 г. Автор книг «Чудотворцы», «Междометья счастья», «Девочка и Христос». Живет и работает в Пскове.

* * *

Съемкам в фильме «Свои» (реж. Дмитрий Месхиев)
и девочке Анфисе посвящается…

Девочка Анфиса из кино,
Из массовки про войну картины.
Мы с тобою были все равно
Лучше всех — что нам другие «кины»?!

За руку тогда быстрей к реке
Я бежал с тобой, такой смышленой,
От фашистских танков вдалеке
Цвета медной окиси зеленой.

Я играл, как будто я боюсь,
Ты смеялась — солнышко в платочке.
Нет, не в дочки-матери, а пусть
Лучше так — играли в папы-дочки.

Грохотало все, и гарь и дым,
По команде «Начали!» с тобою
Я бежал папашей молодым.
Только въявь я дал бы всем им бою!

Дал бы я, ты веришь, и, шутя,
Те, кто звал тебя звездой экрана,
Дали б бой, о милое дитя,
За тебя Д′Арк — Анфиса-Жанна.

* * *

Партизану Леониду, похороненному
у деревни Гостены

Где ты брал сегодня землянику,
Ею вымазав у рта свое лицо,
Спит один из сотни раз великих,
Пережитых юностью бойцов.

Пахло в день тот горьким и соленым,
Был таков на запах целый год.
Привезли к нам ленинградца Леню
Безнадежно раненным в живот.

Он страдал на голос громко, тяжко,
На лице и пот, и лета зной…
Хоронили в голубой рубашке,
С золоченой пуговкой одной.

Уж березки подняли друг дружку,
Те, что были до колен едва.
Лишь плакучи, и любой макушка
Чуть склонилась, точно голова.

Листопад тут праздничный и легкий,
Скромная, как девушка, весна;
И совсем-совсем неподалеку
Прижилась старушка-тишина.

Только скрипнет ствол дремучей ели,
Брякнет шишкою о шишку наверху.
Да, еще поют здесь свиристели,
И сороки мелют чепуху.

Земляника спеет красной грудкой,
И такое диво — погляди:
Голубые всюду незабудки
С пуговкою желтой посреди.

Александр Гусев

ЖДИТЕ НАС

Светлой памяти брата Николая

Где-то есть на планете
Дом среди тишины.
Ждите нас на рассвете,
Мы вернуться должны.

Сколько всех нас, убитых!
Мы погибли в боях
На больших, знаменитых,
И на малых фронтах.

Жажду праведной мести
Оставляли живым,
Пропадали без вести —
И в могилах лежим.

Не сдаваясь на милость
Ни врагу, ни судьбе,
Знали: что б ни случилось,
Вы нас ждёте к себе.

Ждите нас на рассвете.
Мы неслышно придем,
Ваши вечные дети,
Вместе с утренним сном.

Гусев Александр Иванович (1939—2002). Родился в деревне Шемякино на Псковщине. В 1958 году окончил Ленинградский радиотехникум, в 1971-м — Литературный институт имени Горького. Автор поэтических сборников «Пожелай мне удачи», «При свете памяти», «Измерения», «Если приду», «Колесо бытия» и др. Член Союза писателей России.

Спят и травы, и птицы…
Припадите к груди.
Нелегко нам смириться
С тем, что жизнь — позади.

Нет, не та — неземная —
В дни печальных торжеств,
А вот эта, простая,
Что мы видим окрест.

За неё мы в ответе
С той, последней войны.
Ждите нас на рассвете,
Мы вернуться должны.
Ждите нас…
Ждите нас…

Август 1964, Псков

* * *

…И ты не простишь никому ничего?
…Я помню, как в детстве, в сумятице мая,
Не зная ни имени, ни своего
Родимого дома, неверно ступая,
Прошла мимо нас, оглушённых навзрыд,
Каким-то беззвучным подобием крика,
Та старая женщина…

Память хранит
Безумную боль истончённого лика.
Война. Пепелище… И каждый в пути
Пред женщиной той опускал виновато
Глаза… И шептал кто-то тихо:
— Прости… —
И мама молчала печально и свято.

И только лишь раз, у широкой реки,
Та странница в медленной мгле переправы
К бойцам обратилась, назвав их: сынки!
Просила им скорой победы — и славы.
Просила у ветра, у замерших трав,
У белых туманов, у жёлтых купав.

И далее шла, будто взяв на себя —
Одна — всю вину всей войны, и держала
Всю землю, весь мир, и любя, и скорбя.
…А месть никого ещё не возвышала.

Виктор Русаков

И ОККУПАНТОВ МОЖНО ОБМАНУТЬ…

Во время войны в соседнем Кирове жил краснощекий мужик с бычьей шеей Иван Васильев, в быту просто Ванька Асьмак. Ему было лет сорок, а может, чуть меньше. В июне сорок первого Асьмак сумел избежать мобилизации, хоть природа и наделила его крепким здоровьем. А через три недели пришли оккупанты…

В прошлом ярый враг кулачества, которое наши вожди предписывали уничтожить как класс, один из фанатиков коллективизации в деревне, Иван Васильевич обладал незаурядными ораторскими способностями. Языком он работал намного успешнее, чем головой или руками. Тут ему, как говорится, не было равных во всей округе.

Кроме того, Асьмак был весьма плодовит, и когда началась война, в его доме обитала целая орава разновозрастных ребятишек. Всех нужно было одеть, обуть, накормить. Дело это непростое даже для настоящего труженика-семьянина, каким Ванька Асьмак никогда не был.

Зато с присущим ему умением всегда держать нос по ветру Иван Васильевич быстро сообразил, что служить верой и правдой немецкому «новому порядку» и удобно, и выгодно. Так он стал старостой своей маленькой деревни. А чуть позже хозяйничал в Котове и в Авдееве, хоть там и были собственные старосты. Видно, пригодился ему довоенный опыт кадрового колхозного активиста (как-никак он несколько лет значился рьяным бригадиром, потом и председателем колхоза «Первое Мая»), и в годы фашистской оккупации Асьмак высоко вознёсся над рядовыми немецкими холуями.

Казалось бы, невелика должность старосты, но она давала надежный кусок хлеба не только семье Асьмака, но и его любовнице Дуське Лёшиной. Судите сами. Прикажут немецкие власти, скажем, экстренно собрать для нужд рейха тридцать полушубков, полсотни пар валенок, ещё боль-

Русаков Виктор Михайлович (1927—2011). Родился на Псковщине. Работал научным сотрудником музея А.С. Пушкина «Михайловское». Автор девяти книг, в числе которых «Потомки А.С. Пушкина», «Рассказы о потомках А.С. Пушкина», «Моя тропа к Пушкину», «О лжепотомках А.С. Пушкина» и др. Член Союза писателей России.

ше шерстяных носков, свитеров, шарфов (не замерзать же гитлеровцам в холодных русских просторах), и исполнительный староста делает подворный обход во вверенных ему деревнях. Вот он приходит, к примеру, в наш дом.

— Ты, Филипповна, — дает наказ маме, — приготовь до среды две пары валенок, да полушубок для наших освободителей от советской тирании. И чтоб хорошие были, крепкие. А то бургомистр Федор Васильевич[1] рассердится и, чего доброго, отправит твоего Витьку на работы в Германию. Ха-ха-ха… Тогда не обрадуешься, дорогая моя Филипповна. Ха-ха-ха…

— Ой, Васильич, Господь с тобой, — отвечает мать, — какие страсти ты говоришь. Как можно мальчишку несмышленого к германцам посылать! Пропадет же он там. Но и шуба стоящая у нас всего одна, сыночка моего Пети, спаси его Матерь Божия. Вернется с войны, скажет: «Не уберегли одежину мою». А валенки у нас с хозяином[2] моим, Никифоровичем, старые-престарые, видишь, на ногах. У Вити с Надей, кроме лаптей, никакой обувки вообще нет. Ты уж выручи нас, Васильич, в долгу не останемся. Ведь мы с тобой земляки-соседи.

— Ну ладно, Лизавета Филипповна, уговорила. Так и быть, помогу твоей семье. Но учти, не задаром это. Не любит наш строгий бургомистр, когда его план-разверстку не выполняю. Привези-ка мне для него какого-нибудь угощения посолидней, сама знаешь, чего надо: сала, муки, самогона. Любит Федька деяновский крепко выпить и плотно закусить. И я, грешным делом, люблю. Ха-ха-ха…

В тот же вечер мать укладывает на старые санки «гостинец» Асьмаку: полмешка муки, килограммов восемь самого лучшего свиного мяса (благо недавно, к Рождеству Христову, зарезали подсвинка), даже последний кусок коровьего масла суёт туда же. И ранним утром, с первыми петухами, тащит свою поклажу в Кирово, то и дело увязая в сугробах, которые намело ночью.

В этот час сам староста еще сладко спит, утомлённый вчерашними ласками некрасивой, но пламенной Дуськи-любовницы. Мамино подношение принимает его жена Манька Асьмачиха — женщина невзрачная, забитая, что не мешало ей, однако, быть алчной. Такие одиночные, под прикрытием темноты рейсы к дому немецкого старосты не были редкостью. Случалось, где-нибудь на полпути между Авдеевом и Кировом

[1] По прозвищу Шарашка из деревни Деяны.

[2] Мужем (*местное*).

встречаются живущие рядом соседи и, отводя глаза в сторону, начинают нескладно сочинять, почему тот и другой оказались здесь в столь неурочное время. И стыдно обоим, и правду сказать боятся. Такое произошло и с матерью: в кировском логу она вдруг увидела дядю Павла Мурахина, успевшего отвезти свою дань старосте на полчаса раньше мамы…

Прошло месяца два. Родители успокоились, думали, теперь их больше никто не потревожит: ведь заручились поддержкой самого Ивана Васильевича. Но однажды Асьмак опять появляется в деревне. Как всегда, в крепком подпитии. Ходит из избы в избу, одним что-то обещая, других, менее податливых, стращая крутым на расправу Федькой Шарашкой, а то и головорезами из Опочецкой военной комендатуры.

Не миновал Асьмак и нашу неказистую избу. Едва переступив порог, сунул отцу какую-то бумажку, буркнул: «Распишись в получении». На этот раз староста ничего не вымогал. Был уверен: сами догадаемся, что и как надо делать. Эта бумажка оказалась повесткой, в которой бургомистр предписывал мне такого-то числа явиться в Опочку на медицинскую комиссию по вербовке рабочей силы в Германию.

Несколько дней в доме стояла такая гнетущая тишина, как будто кого-нибудь похоронили. Мать с покрасневшими от слёз глазами то и дело всхлипывала, шепча молитву. Отец ходил пасмурный, с потемневшим лицом. Надя старалась во всём быть внимательной ко мне. Сам я чувствовал себя обречённым на вечную разлуку с родными, всё во мне словно окаменело. Не хотелось ни есть, ни спать. По ночам я тайно обливался слезами. А мозг сверлила одна и та же мысль-вопрос: как спастись от угона в Германию?

Надежду подал дядя Андрей, человек хитрый, практичный, никогда не терявший головы. Мама застала его у бабы Матрены и крестной, которых ходила проведать. Узнав, отчего мама такая грустная, заплаканная, дядюшка уверенно сказал:

— Этому горю, сестра, помочь нетрудно. Слушай меня внимательно и соображай. Немцы — люди брезгливые, всякой заразы страшатся пуще смерти. Вот и надо их обхитрить. Многие так делают. Пусть Витька за день до комиссии расчешет себе руки, ноги и пузо, да так, чтоб кровь везде выступила. Немцы подумают, что у мальца чесотка, и прогонят его в три шеи…

Дядя Андрей, плутовато ухмыльнувшись, добавил на прощание:

— Средство верное, испытанное. Сам пользовался не раз. Даже старых русских докторов обманул, когда в Первую мировую войну в армию

хотели взять. Давненько это было, а до сих пор вспоминаю, как всех облапошил, чем и сохранил себе жизнь. И мой Ваня только благодаря этой хитрости дома сидит — и в Красную Армию не пошёл служить, и на немцев не работает.

Хоть дядюшку Андрея Филипповича в нашей семье и недолюбливали (очень уж большим умником считал себя), но к его совету прислушались. Конечно, страшно было: а вдруг обман раскроется? Ведь тогда и головой поплатиться можно. Но еще страшнее казалась неведомая жизнь в чужой стране, без родных и близких, жизнь каторжного работника… И я рискнул… С вечера так разукрасил свои голени, бедра, низ живота и кисти рук соленой «чесоткой», что самому было смотреть неприятно.

Комиссия заседала в здании бывшей железнодорожной станции. Во время войны поезда по нашей железной дороге не ходили, и немцы приспособили бывший зал ожидания под какие-то кабинеты. В тот памятный для меня день в помещении станции и во дворе толпилось множество молодых людей с повестками в руках. Ждать пришлось несколько часов. Вызывали по списку — кажется, по волостям. Наконец, уже во второй половине дня, слышу:

— Русаков Виктор, деревня Авдеево…

Произнесла это показавшаяся на мгновение в проеме двери средних лет женщина в очках и в форменной одежде (вероятно, немецкая медичка).

Едва я переступил порог комнаты, где заседала комиссия, пожилой тучный немец в кителе с серебристыми погончиками устало произнес по-русски:

— Раздевайся, совсем раздевайся…

Стесняясь сидевших за столом, среди них были две или три женщины, я медленно снял старенький пиджачишко, заношенную домотканую рубаху в мелкую клетку, приспустил штаны и холщовые кальсоны. От страха, что сейчас мой тайный замысел разоблачат, внутри у меня всё похолодело.

И вдруг тот же пожилой немец (видно, главный в комиссии), бегло глянув из-под золотых очков на моё худосочное тело в красных волдырях-расчёсах, брезгливо сморщился и что-то негромко сказал своим коллегам, те дружно закивали головами. К счастью, ни один из них даже не встал с места, чтобы поближе рассмотреть мою «болезнь». Обращаясь уже ко мне, главный немец ткнул пухлым пальцем с сторону двери:

— Fort von hier![1]

[1] Прочь отсюда! (*нем.*)

Кое-как облачившись, я выскочил в приемную, держа в руках повестку, на которой шеф комиссии неразборчиво нацарапал несколько слов. Старик-регистратор (и по одежде, и по манерам видно было, что это русский мужик), мельком глянув в бумажку, сделал отметку в своем гроссбухе и, не отрываясь от книги учета, тихонько сказал мне:

— Шлепай домой и считай, что тебе повезло…

«Уж не догадался ли, — с тревогой подумал я, — что я немцев обвёл вокруг пальца?!»

Но долго раздумывать на эту тему некогда было, через минуту я уже мчался по весенним лужам в родное Авдеево, которое теперь любил ещё больше, и душа моя ликовала.

* * *

Однако мои тревоги на этом не кончились. Через несколько месяцев немцы, не удовлетворённые жидким повесточным «уловом» даровой рабочей силы для своего фатерланда, стали забрасывать «невод» в деревню. В одну из таких облав и я попался, как кур в ощип…

Стоял солнечный, тихий октябрь сорок третьего года. Днем отец, Надя и я копали на собственном огороде картошку, ссыпая её для просушки на плотно утрамбованной площадке у крыльца… Мамы дома не было: кажется, ушла к бабушке в Хопалово. Под вечер, когда оставалось убрать просохший картофель под крышу, отец попросил меня:

— Пока мы с Надей таскаем картошку в подвал, ты, сынок, наноси воды. Сегодня её много надо: и для себя, и для скотины. Да и баню истопим. Скоро мама вернется домой, она и займется банными делами.

Накинув на плечи старенькую, в заплатках, шубейку (к вечеру становилось прохладно), натянув на голову кургузую кепчонку, я схватил деревянные ведра и коромысло и помчался к деревенскому — под горой — колодцу, мягко отбивая дробь босыми пятками по тропинке, густо заросшей травой.

Сколько раз успел принести воды — не помню, но, проходя с очередной ношей мимо низких зарослей вишенника у высокой избы Петьки Сонного, вдруг увидел в ста метрах от себя цепь немецких солдат, берущих деревню в кольцо со стороны большака.

Негромко крикнув: «Надя, возьми ведра», я поставил их на землю, тут же бросил и коромысло, а сам, защищённый от немецких глаз густыми вишенками, помчался в противоположную сторону деревни, надеясь

скрыться от немцев в подступающей к околице ледине под названием Подсосна. Боковым зрением успел заметить, как Надя, простоволосая и босая, в старой маминой кофте с засученными рукавами, пригибаясь, подбежала к вёдрам…

Вихрем пролетел я мимо Федотовой и Ильюхиной изб, оставалось проскочить ещё чуть-чуть: справа были усадьбы дяди Павла Мурахина и Нюрки Егорихи, а по другую сторону дороги стояла отжившая свой век крошечная избёнка Федьки-кузнеца, находившегося на фронте. Но, как говорили в старину, человек предполагает, а Бог располагает. Наддав пару, я примчался прямо в руки немцев: деревня была окружена со всех сторон. Еще издали высокий и тонкий, как жердь, гитлеровец крикнул, хватаясь за кобуру:

— Halt, halt![1]

Подойдя ближе, фашист-жердина, оценивающе осмотрев меня с ног до головы, злорадно (так мне показалось) кивнул другому немцу:

— Gut, gut![2]

И я понял, что по своим внешним данным вполне устраиваю организаторов облавы.

В руках у долговязого немца была какая-то бумага (вероятно, список молодых жителей нашей деревни, составленный Ванькой Асьмаком, всячески угождавшим оккупационным властям[3]). Заглянув в неё, задержавший меня гитлеровец, с натугой выговаривая слова, задал вопрос:

— Где живвут сестри Стипанофф?

Как зовут меня, немец не поинтересовался, моей фамилии не спросил. Может быть, я и не был включен в тот список?

Пришлось указать избу дяди Степана. Самого Степана Васильевича дома не оказалось[4], в избе были его жена Мария Пантелеевна да три до-

[1] Стой, стой! (*нем.*)

[2] Хорош, хорош! (*нем.*)

[3] После войны Асьмак в течение нескольких десятилетий скрывался в Прибалтике под фамилией Сиренин. Там же находилась на правах его жены и Дуська. Их местонахождение ближайшие родственники держали в большом секрете. Только когда оба умерли, земляки узнали, что в последнее время они жили в Калининградской области. В родные места Иван Васильевич приезжал лишь один раз, да и то всего на считанные часы. Это было, по словам его старшего сына Федора, в конце 1970-х годов. Никто из детей Асьмака у отца не бывал.

[4] Во время коллективизации дядя Степан, не пожелавший вступить в колхоз, был осужден за «злостное» невыполнение плана льнозаготовок. Лет пять работал на Беломорско-Балтийском канале. Перед войной вернулся домой. В 1944 году больного желудком Степана Васильевича призвали в трудовую армию, где он вскоре и умер.

чери — Дуся, Нина и Женя[1], в прошлом моя одноклассница. Даже Жене в сорок третьем было уже пятнадцать лет, о старших и говорить не приходится: обе как на подбор, широкоплечие, плотные, крепкие. Словом, настоящие крестьянские девчата.

Вот к ним и направились немцы. И меня с собой потащили. Дальше события развивались стремительно. Застав в доме всю семью Степановых, тонкозадый немец приказал двум старшим сестрам быстро собираться в дальний путь — nach Deutschland[2]. Тетя Маня заголосила, заплакали и ее дочери. Да разве сердце оккупанта прошибёшь горькими слезами?

Пока Дуся и Нина собирали в дорогу кое-что из белья и по куску хлеба с солёным огурцом, немец решил пошарить в подвале (любимое занятие гитлеровцев): нет ли там чего вкусненького? А я тем временем потихоньку выскользнул в сени, оттуда на крыльцо. И вдруг — осечка: у самого крыльца стоит второй немец, в качестве часового, видать, поставлен. Стоит и глазищами по сторонам зыркает. От такого не убежишь. Можно, конечно, попытаться обмануть…

С трудом припоминая нужные немецкие слова, я произнес, поминутно путаясь, примерно следующее:

— Herr Offizier erlaubte mir, nach Hause zu gehen[3].

Часовой, вопреки моим тревожным ожиданиям, одобрительно закивал головой, поправляя рукой тонкую дужку очков.

Домой я бежал не по дороге, где мог снова напороться на немцев, а задворками, по опустевшим огородам соседей.

Потом всё это и самому мне казалось невероятным, да и сейчас кажется, но факт остается фактом: нигде не встретил тогда ни оккупантов, ни односельчан. Последние, конечно, затаились, попрятались подальше от незваных гостей. Но куда девалась вся громкоголосая немецкая орава?

Благополучно добравшись до дома (отец и Надя по-прежнему перебирали картошку у крыльца), я тут же нырнул в «бункер». О нём стоит сказать подробнее. В годы оккупации многие, особенно пареньки-подростки, устраивали себе тайные убежища, где в трудную минуту можно

---

[1] Еще одна дочь Степановых, Груша, 1921 года рождения, с февраля 1942 года находилась на принудительных работах в Германии. Одновременно с нею отправили туда и сорокалетнюю Нюрку Черную. А Нюрку Павлюкову, родившуюся в 1924 году, угнали в Германию 10 мая 1942 года. Все остальные односельчане вернулись на родину осенью 1945 года.

[2] В Германию (*нем.*).

[3] Господин офицер разрешил мне идти домой (*нем.*).

было затаиться, переждать опасность. Для меня таким тайником была обширная ниша под толщей сена, сложенного в пуне еще летом. В этой нише был полог, прикрепленный к тонкому бревенчатому настилу над головой (чтобы сверху не сыпалась сенная труха), а под пологом соломенный матрас, небольшая жёсткая подушка да старое ватное одеяло. Вверху, до самой крыши, трехметровый слой плотного сена. Даже если бы немцы стали прощупывать штыком хорошо спрессованное сено, моего «бункера» эти уколы не достигли бы.

Лаз в самодельное убежище был настолько прост, что никому и в голову не пришло бы искать его там, где он находился. Из сеней дверь вела в хлев[1], где у дальней стены, за потолочной слегой, нужно было подняться по легкой лесенке до потолка, раздвинуть потолочные жерди и прикрывающую их солому, подтянуться на руках — и ты уже на хлеву, под двухметровой сенной массой. Затем отталкиваешь ногой лесенку, маскируешь лаз (из-за толстой слеги он для непосвященных вообще не заметен) и наконец, перевалившись через стену, разделявшую хлев и пуньку, оказываешься в своей ночной «резиденции». В случае пожара или иной большой беды из тайника можно было выбраться прямо на улицу, через дверь пуни, но для этого потребовалось бы «прогрызть» руками слежавшуюся, очень крепкую плоть сена.

Об этой моей норе, в которой я обитал по ночам почти три года, знали только родители, Надя да мой надежный дружок Володя Пленов[2], годом старше меня (в сорок четвертом он погиб в бою). Несколько раз Володя ночевал в моем «бункере». Случалось и мне изредка пользоваться его убежищем. Жили Пленовы в стороне от дороги, между Котовом и Авдеевом. Дом у них, рубленный в лапу из толстых сосновых бревен, был не чета нашей столетней избе-развалюхе. И надворные постройки у Пленовых были добротные.

Володин тайник тоже был в сарае, но, помнится, не под сеном, а под ячменной соломой. И полога в нём не было. Поэтому вылезаешь, бывало, утром из его берлоги, а на лице и за воротом рубахи полно всяких колючек. Зато вдвоём в тайном убежище не так страшно, а главное — тепло: лежим, тесно прижавшись друг к другу, и шёпотом мечтаем о чем-нибудь послевоенном, мирном, несбыточном.

---

[1] И сени, и хлев отец построил во время войны. Они стояли в одну линию с избой под общей крышей.

[2] Его отец, дядя Ванька (Иван Петрович), в Первую мировую войну был в плену у немцев, отсюда и семейное прозвище.

…Вернусь, однако, к тому памятному осеннему дню сорок третьего года, когда я, перепуганный случившимся, прибежал домой по соседским задворкам. Сбивчиво сообщив отцу в двух словах о главном — возможной погоне, я тут же спрятался в «бункере». Часа два лежал не шевелясь, с минуты на минуту ожидая, когда немцы придут и, угрожая отцу расстрелом, потребуют сказать, где я нахожусь.

Отец с Надей, перепуганные не меньше меня, намеренно медлили с уборкой картофеля, зорко следили за тем, как снуют по деревне немецкие солдаты.

Слава Богу, и на этот раз всё обошлось. Тетя Маня Степаниха потом рассказывала, что на вопрос поднявшегося из подвала немца: «Куда исчез юнге?» — она ответила, что не знает, куда я ушёл, и что вообще она видела меня в первый раз. Немец, воскликнув: «Партизан, партизан!» — пошумел немного для порядка и увёл с собой двух заплаканных дочерей Марии Пантелеевны. Обе они вскоре убежали из «вербовочного» немецкого лагеря в Теребенях…

КАК СТАРЫЙ НЕМЕЦ СПАС НАС

Весной сорок третьего, перед Пасхой, нагрянули в Авдеево немцы, видимо-невидимо. И давай шастать по дворам. Отовсюду слышалась громкая гортанная речь непрошеных гостей. В добротных, но изрядно поизносившихся серо-зеленых мундирах, они, как муравьи, расползлись по деревенским закоулкам. Короткие немецкие сапоги на толстой негнущейся подошве, с железными подковками, простые и тёплые (нам бы такие!), чавкали по сырому сине-грязному снегу, с шумом разбрызгивая лужицы подталой воды.

В считанные минуты оккупанты заполонили всю деревню, из конца в конец. Смотрим в окно: и к нам направляются двое. Мать, усердно перекрестившись, обратила молящий взор к иконе Пресвятой Богородицы:

— Матерь Божия, спаси и помилуй от супостатов, сохрани наши углы, не дай извергам унизить нас…

Отец, прервав работу над дубовым бочонком под огурцы, растерянно поправил на себе починенную рубаху, машинально пригладил волосы на голове. А мы с Надей, онемев от страха и любопытства, ждали, когда солдаты ввалятся в избу.

Раньше в нашем доме немцы никогда не бывали, хотя их обозы изредка проезжали и через Авдеево: немецкий гарнизон стоял в Высоком, одно время и в Подлипье, а с осени сорок второго небольшой отряд фашистов почти постоянно квартировал также в смежном Котове…

Дверь резко распахнулась, и через порог, громко стуча подкованными каблуками, шагнул молодой гитлеровский офицер, стройный и красивый блондин, перетянутый в талии широким ремнем. Врезалось в память, что кобура с пистолетом у него была почему-то на левом боку, чуть ли не на животе, что мне показалось странным, даже смешным: я был уверен, что её место справа.

За офицером как-то несмело вошел и другой немец — пожилой, грузный, с одутловатым лицом и крупными рабочими руками. Он держался на почтительном расстоянии от своего командира, по возрасту годившегося ему в сыновья.

Немец-старик (в ту пору все люди, кому перевалило за сорок, казались мне глубокими стариками), ссутулив спину, вяло опустил обе руки на автомат, который, как обременительная, ненужная вещь, болтался на ремне, переброшенном через плечо. За всё время пребывания в нашей избе толстяк не сказал нам ни слова.

А юный офицер, очертив тонкими, нежными пальцами правой руки замысловатый жест-круг в воздухе (может быть, этот жест заменял ему знание русского языка?), вначале громко сказал что-то по-немецки, но сразу, видно, сообразил, что здесь его никто не понимает.

Правда, я кое-что смыслил в немецком, так как перед войной целый год прилежно изучал его в пятом классе. Но теперь, боясь привлечь внимание к своей персоне, я и виду не подал, что немного понимаю бравого немецкого офицера.

Неожиданно для нас молодой фриц с трудом выговорил несколько искажённых русских слов, которые на оккупированных советских территориях воспринимались как привычные понятия-термины фашистского «нового порядка»:

— Матка, дывай яйка, кура, шпек. Дывай бистра, бистра.

Потом, как будто испугавшись, что этими чужеродными словами-булыжниками может сломать собственный язык, гитлеровец снова перешел на немецкий:

— Meine Soldaten wollen essen[1].

[1] Мои солдаты хотят есть (*нем.*).

И, довольный изречённым, он развязно осклабился. Его молодое холёное лицо стало почти гадким, отталкивающим. Но особенно раздражали широко расставленные ноги немца, напоминавшие деревянные ходули, на которых до войны и я пробовал перемещаться по деревне.

Никогда не терявшая самообладания в критические минуты жизни, мама и сейчас, не думая о том, что может навлечь на себя неправедный гнев фрицев, отрицательно мотнула седеющей головой:

— И сами съели бы курочку, да и сальца свиного тоже. А где их взять? Война… Всё подчистили, проклятые…

Последнее слово мама, спохватившись, проговорила почти шёпотом. Оно сорвалось с её языка само собой, под напором невысказанных маминых рассуждений, содержание которых немцу, к счастью, было недоступно.

Чтобы нейтрализовать обмолвку (она могла дорого обойтись не только матери, но и всем нам), моя отчаянная родительница энергично развела руками: мол, в доме хоть шаром покати, не верите — смотрите сами. В подтверждение даже дверцы настенного шкафчика распахнула во всю их ширь.

Молодой немец без стеснения (за два года войны наторел в этом деле) заглянул в шкафчик, но ничего интересного для себя в нем не обнаружил.

Тогда он круто обернулся к солдату, молча наблюдавшему за словесным диалогом-поединком пожилой русской женщины и своего молодого соотечественника. Всё более свирепевший офицер приказал старому немцу произвести разведку в подвале: может, там найдутся и яйка, и шпек?!

Когда солдат стал спускаться по крутым ступенькам в подполье, у мамы, говорила она позднее, руки и ноги задрожали от страха.

И было отчего. Справа от лесенки, над подвальной завалинкой, много лет назад отец соорудил широкую и длинную полку, на которой в мирные дни хранились наши небогатые запасы молочных продуктов, варенья и прочей снеди.

Теперь на этой полке ничего из прежних припасов, конечно, не осталось, но на ней стояло старое высокое решето с двумя десятками яиц. Яйца принесла нам к светлому празднику Пасхи тетя Мавра, моя и Надина крестная.

Даже в войну она сумела сберечь пять-шесть куриц, которых держала подальше от людского глаза — в старенькой бане-развалюхе, окружен-

ной зарослями ольшаника. На хуторе Хопалово немцы, насколько помню, не появлялись ни разу: очень уж глухое, небезопасное место…

В том же решете, рядом с крупными чистыми яйцами, находилась поллитровая банка топленой сметаны, которую так любили в нашей семье, особенно отец. Сметану маме дала — тоже по случаю праздника — тетя Клавдя Мурахина, с которой мать всегда была в самых дружеских отношениях.

В военные годы мы обыкновенно прятали свои скудные продовольственные запасы, а также кое-что из одежды (например, поношенный, но еще хороший светло-серый костюм брата, находившегося на фронте) в плотной соломенной крыше хлева, пристроенного к сеням. Причем место тайника тщательно маскировалось соломой. Да и вообще всё пространство между потолком и кровлей хлева с осени заполнялось плотно утрамбованным сеном, в котором тоже можно было припрятать ценную вещь.

Прятали же своё добро не только от немцев, но и от доморощенных мародеров, шнырявших по оккупированным деревням под маркой «народных мстителей», что бросало недобрую тень на истинных партизан.

На этот раз мать не успела убрать подарок-гостинец в скрытое место, не поручила сделать это мне или Наде. Наверное, не думала, что так скоро придет беда. А теперь вот беда была совсем рядом — толстый немецкий солдат-молчун скрылся в подвале, держа в руке ярко светивший электрический фонарь.

Офицер как вкопанный по-прежнему стоял в двух шагах от порога, мать — у самого лаза в подвал, лицом к германскому юнцу. Я видел, как она нервно потирала руки, переминаясь с ноги на ногу. Отец, словно безмолвная скорбь, застыл на краешке своей рабочей скамейки, возле аккуратного бочонка, в который перед приходом немцев собирался вставить днище. Мы с сестрой, плотно сжав от напряжения губы, замерли у старинного, в яблоках, занавеса (в войну он ещё сохранялся, хотя и был уже ветхим). В избе стояла напряженная тишина.

Эта непродолжительная немая сцена, почище знаменитой гоголевской, запечатлелась в памяти на всю жизнь. Как будто снята на мгновенной фотографии.

Между тем пожилой немец продолжал тщательный обыск в подвале. Он явно не торопился. «Найдет окаянный, как не найти, если всё на виду», — думал каждый из нас. И яиц было жалко, и с банкой сметаны расставаться не хотелось.

Но больше всего пугало то, что нахальный молодой немец может запросто перестрелять всех прямо в избе. Такое частенько случалось в ближних и дальних деревнях. Фашисты обмана не прощали…

Наконец в проёме подвального лаза показалась неуклюжая фигура пожилого немца. В одной руке он держал выключенный фонарик, в другой — собственную фуражку со следами паутины в нескольких местах

— Hast du etwas gefunden?[1] — спросил офицер.

— Nichts gefunden[2], — спокойно ответил солдат.

Разумом мы ещё не понимали, но нутром уже почувствовали, что старый немец спас нас.

На прощание молодой гитлеровец сказал, что все мы — русские свиньи (эти слова прозвучали по-немецки, но даже неграмотная мать точно уловила смысл оскорбления), и стремительно покинул нашу бедную избу. Старый солдат посторонился, чтобы дать дорогу своему строгому командиру, а затем и сам направился к выходу. Но на пороге он неожиданно повернулся лицом к нам и, широко улыбнувшись, подмигнул матери.

Когда наша семья, пережив жуткие минуты, осталась одна, мама, как подкошенная, упала на колени перед киотом и, захлебываясь от слёз, начала молиться:

— Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, не обойди милостями Твоими доброго немца, защити его от злой пули. И пусть он вернется к деткам своим живой и невредимый…

---

[1] Что-нибудь нашёл? (*нем.*)

[2] Ничего не нашёл (*нем.*)

1941-й

Память стонет от боли,
Не позабыв ничего.
Блёклое видится поле
Страшного года того.

Коршуны над эшелоном
Круто слетают с небес.
Высыпали из вагонов.
Рядом — спасительный лес.

Но одинокий упрямо
Голос тревожный зовет:
«Мамочка, что же ты, мама?
Поезд без нас отойдёт!»

…Ждать недосуг эшелону,
Оповещает окрест.
Сгорбился под небосклоном
Наспех сколоченный крест.

Поезд увозит сиротство,
И онемелая даль
Сделалась менее ростом,
Выплакав с горя печаль.

Краснопевцев Валентин Павлович (1933—2003). Родился в городе Великие Луки. Окончил отделение журналистики Ленинградского университета. Долгие годы работал журналистом в Торопце, Великих Луках, Пскове, редактором Лениздата. Поэт и прозаик. Автор более двадцати книг и многочисленных публикаций в литературных сборниках. Член Союза писателей России.

СНЫ ВЗРЫВАЮТСЯ

Сны взрываются, начинённые,
В дрожь бросают фугасные сны:
Над просторами опалёнными
Снова черное небо войны.

Небо страшное, глухо-беззвёздное.
И земля — не пух, а гранит.
И дыхание смерти морозное
Душу заново леденит.

Безымянной речушки излучина,
Изувеченные сады,
И опять пустота дремучая,
И опять — «Сестричка, воды-ы…»

В снах годами ничто не исправлено,
Ни полслова и ни запятой…
Поднимайся! Утри испарину —
Время день начинать трудовой.

В ГОСПИТАЛЕ

У нянечки работы
вдосталь,
И, благодарны за уход,
Ей раненые скажут
попросту:
— Пускай мальчонка к
нам зайдет. —
И станут ждать того
свиданья,
Печенья запасая впрок.
…Несмело госпиталя
здание

Переступаю я порог.
И кто-то, весь
перебинтованный,
С трудом на койке привстает
И словом тихим и
взволнованным
Настойчиво к себе зовет.
И мне суёт он
шоколадину
И смотрит жалостно в
упор.
И долго-долго после
гладит он
Мальчишечьих волос
вихор.
И гладит остренькие
плечики
И заклинает горячо
Герой-солдат, войной
иссеченный:
— Будь другом,
Приходи ещё!

ХЛЕБ

Вкус горелого сахара, сладковато-прогорклого,
Для мальчишек военной поры новым
лакомством ставшего, —
Как пролог той грозы, небывало жестокой и
долгой,
Как наследье бомбёжки путей и вокзала нашего.

Вкус льняного жмыха, которым — подумайте! —
прежде скотину кормили,
И картофелины мороженой кругляши, что
пекли на спине мы буржуйки горячей.

Все без соли, понятно. А чай без чаинки единой,
что мы крупною солью сластили.
Как же многое вдруг изменилось и стало
с войною иначе!
И шибающий в нос вкус свекольной ботвы,
от которой мутило и рвало, —
Этот суп из воды и будыльев весною
был пищей обычной.
И волшебный поистине вкус — никогда
не поешь до отвала! —
Хлеба тонкой краюхи, в ту пору, увы,
экзотичной.

Шла пехота вперёд, напролом, и ползли
неуклюжие танки,
И строчил пулемёт, и гремел орудийный
набат.
Приближали победу простецкие с виду
буханки,
Что сегодня у нас в магазинах навалом
на полках лежат.

* * *

Долго пуля летела,
Кусочек свинца,
Кабы только задела —
Скосила отца.

Он сказал нам, прощаясь:
«Вот, родные сыны,
Эта пуля домчалась
С прошедшей войны…»

Пули те на излете
Продолжают свистеть,
Бьют по бывшей пехоте,
Сеют раннюю смерть.

И рассветы лучисты,
И тих небосклон,
И, за давностью выстрелов,
Не поставишь заслон.

В ЭВАКУАЦИИ

Памяти матери,
Александры Трофимовны

Край льняной, холстяна́я сторонка,
Что с тобой сотворила война?
Пригодилась ты, бабья сноровка:
Сноп обмёрзлого в полюшке льна

Приволочь, отрясти от ледышек,
Чтоб в дому наступило тепло,
Обогреть малолеток-детишек
Разгулявшейся вьюге назло.

Да не сноп, а несшитую блузку
Бросить в печку озяблую русскую…

Были в непогодь простоволосы —
Не в погоне за модой тогда:
Что ни день, задавала вопросы
Многоликая наша нужда.

Что сумели — всё делали сами,
И не надо учить было мать
Оскуделые хлебные граммы
От себя для детей отрывать.

Постигала любую науку —
Подновить, перешить, залатать.
Надо ж детям одёжку-обувку
Хоть к зиме где-нибудь огадать![1]

[1] Приобрести (*диал.).*

И тревожны военные сводки,
И вконец прохудились исподки…[1]

* * *

Война и тыл не обошла,
И были — как не быть! — потери,
И нету меры, чтоб измерить
Её жестокие дела.

В ней — безотцовщины начало
И половодья вдовьих слёз,
Она морила, разлучала
И сбрасывала под откос…

Так влага слабой струйкой льётся
Сквозь пропускное решето,
И где прорвётся, где прервётся —
Того не ведает никто.

ЗАРНИЦА

Недосеяно, недожато,
Недодумано до конца…
У Петровых нет старшего брата,
Вырос Вовка Ершов без отца.

Ранам тяжким не́ залечиться,
Чуть притухнут — и ноют опять.
Долго будут немые зарницы
Той войны
Над землёй полыхать.

[1] Детские варежки (*диал.*).

БЫЛИНА О БЕРЁЗЕ

Как первый снег, в широкополье
Белым-бела
Семья берёз.
И хороши они в раздолье
И сердцу дороги до слёз!

Летят,
Как вьюга полевая,
Они, поднявшись на холмы,
Нагие ветви согревают
В мохнатых варежках зимы.
И с тихим звоном на морозе
Роняют лёгкую куржу.
...Я об одной такой берёзе
Сейчас былину расскажу.

Весна сорок второго года,
Оглохшая от канонад,
И зарево до небосвода
От горемычных русских хат.

Орудия на низких нотах
Басили где-то вдалеке.
Шалели глотки минометов,
И дым клубился на реке.

Боровиков Владимир Семёнович (1929—2000). Родился в деревне Язно Невельского района. Окончил Высшую партийную школу, факультет журналистики. Тридцать три года отдал работе в районной газете. Публиковался в местной периодике.

А в небе наша эскадрилья
Вступила с «юнкерсами» в бой.
Хлестал свинец.
Ломались крылья
С когтями свастики кривой.

В той схватке,
Пламенем охвачен,
Метнулся из-под облаков
И вниз пошёл, в дыму незрячем,
Один из наших «ястребков».
Зажал пилот ладонью рану,
Рванулся из последних сил.
И парашют к холму-кургану
Его стремительно сносил.

И вот земля.
На ней — берёза,
Сухой бурьян да чернотал.
И воин с жёлтого откоса
К её живым корням упал.

Он простонал:
«Воды!» — и замер.
И ясной радугой весны
На миг мелькнула пред глазами
Картина отчей стороны:

Село над кручей,
Край лесистый,
С коньком на взлобке серый дом.
Ручей в веснушках золотистых,
Густые ивы над прудом...

Все тише отголоски боя.
И вдруг проснулся ветерок.
И слышит летчик над собою
Знакомый с детства говорок:

«Очнись!
Взгляни!
Я на тропинке!»
Пахнуло свежею пыльцой,
И чьи-то капельки-слезинки
Ему упали на лицо.

Кто обронил скупые слезы?
Чья помощь добра и быстра?
Открыл глаза:
Над ним береза —
Как милосердная сестра.

Война ее не миновала
И стороной не обошла:
Осколком жгучего металла
Береза ранена была.

Ей было больно, белобокой.
А из пробитого ствола
Струя живительного сока
На травы вешние текла.

И он подполз к прохладе влажной
И ртом запекшимся приник.
И утолил пилоту жажду
Живой березовый родник.

Как ясный день,
Белеет в поле
Семейство северных берез.
И хороши они в раздолье
И сердцу дороги до слез.

ПОКРОВСКАЯ БАШНЯ

Ни тучки от грозы вчерашней
На небе. И в помине нет.
Зажёгся над Покровской башней
Омытый ливнями рассвет.

В те времена, когда Баторий
Стоял здесь, требуя ключи,
Помножив гнев святой на горе,
Взошли на стены псковичи.

Воспоминания доныне
Хранит стославная земля, —
Как здесь о русскую твердыню
Разбилось войско короля.

Как шли на клич набатных звонов
В бессмертье русские сыны…
Молчу у тихих бастионов,
Повитых былью старины.

Иду,
И лестница крутая
Уводит в давнее меня,
И льются, путь мой озаряя,
Лучи безоблачного дня.

Иван Калинин

ДЕНЬ ПОБЕДЫ — ЭТО ПРАЗДНИК…

Перед тем как написать эти слова, я долго мучился, придумывая разные варианты. Вот и сейчас звучат в голове, как набат, слова из песни: «Ах война, что ты, подлая, сделала?»

А сделала она то, что лишила меня отца, лишила меня детства, и это остаётся со мной до конца моих дней…

Родился я 17 апреля 1940 года в деревне Железенка Сухинического района Калужской области в семье крестьян.

Отец, Егор Степанович, был мужчина видный, высокий, статный, состоял в партии большевиков и к тому же руководил местным колхозом. На второй день после объявления войны ушёл добровольцем на фронт, приказав матери сжечь все его фотографии, дабы немцы не расстреляли всех, когда придут в наше село.

Мать моя Марфа Кузьминична, полуграмотная женщина, нарожала шестерых детей. Один, правда, самый старший, умер в младенчестве, а нас осталось пятеро: три брата и две сестры. Старшая сестра перед войной поступила в сельхозтехникум вдали от нас. Там её и застала война.

А мы — три брата и сестра — были при матери. С нами еще жила её мама (наша бабушка). Её возраст исчислялся 85 годами, и она была совсем слепая…

Вот в таком семействе мы жили.

Немцы пришли к нам скоро…

Правда, стояли не у нас, а в соседней деревне за три километра, а сюда наведывались с требованием отдать им «млеко», «яйки», сало…

Часто над деревней летали немецкие самолеты с чёрной свастикой. Они высматривали партизан, которые могли появиться из леса, разросшегося рядом с деревней. Люди прятались от них. И у нас во дворе была выкопана глубокая яма, где мы отсиживались во время налетов или приезда немцев.

Калинин Иван Егорович. Родился в 1940 г. в с. Железенка Сухинического района Калужской области. Автор шести книг прозы и более трёхсот статей в местной и федеральной периодике. Живет в г. Пскове. Почетный гражданин города Пскова. Член Союза писателей РФ.

Представьте картину: все быстро скатываются на дно ямы и, притаившись, ждут, когда всё закончится.

Один я создавал всем неудобства. Говорят, орал как резаный. Пытались укачивать — не помогало. Тогда изобрели такую соску: в тряпку заворачивали тертую свёклу, делали подобие соски и засовывали мне в рот.

А вообще-то, как потом сознались мои сородичи, они все молили Бога, чтобы я помер.

Но я жил назло своим и немцам. Хотя выживать становилось всё труднее.

Время шло, а от отца не было никакой весточки. Медленно, очень медленно пришел и май 1945 года…

День Победы…

Село то гудит радостью возвращающихся с войны солдат, то оглашается плачем и стоном тех, кто получал «похоронки».

Только мы живём в полном неведении.

Я каждый день бегаю на «большак» — так называли у нас проходящую транзитную большую дорогу — встречать машины с фронтовиками.

Вот и на этот раз остановилась машина. Спрыгнули солдаты. Мы дарим им полевые цветы. Один солдат берет меня и поднимает на руки. Я был без памяти от счастья. Хотелось закричать: «Папа!» Слёзы навернулись на глаза. Но я сдержался. Он, наверное, понял всё. Поставил меня на землю и протянул кусочек сахара. А на прощание как-то по-доброму проговорил: «Держись, малец!»

Я держался, хотя внутри у меня все клокотало… С зажатым в кулачке сахаром я побежал домой и там разрыдался…

А тот кусочек сахара и того солдата я помню всю жизнь…

На все наши запросы мы получали только один официальный ответ, что наш Егор Степанович «без вести пропавший».

Мать не верила всем ответам. Утирая слёзы, она повторяла: «Он живой… Он вернется…» Но он так и не вернулся. Ну а в 1945—46 годах туго приходилось нам. Голод и холод сковали нашу семью.

Старший брат и сестра отправляются в ремесленные училища.

От голода умирает бабушка.

В доме шаром покати. Весной на полях собирали гнилую картошку. Мать пытается готовить оладьи из зеленых листьев осины и березы, что растут возле дома. Это такая гадость, что описать невозможно: жидкое, горькое, а внутри прожилки, как проволока…

У меня рахит: большой живот, впалая грудь, тоненькие ручки и ножки. И большая голова. Плюс над левым глазом шишка. Я расту, и она растет. Сюда еще нужно добавить мою картавость (не выговариваю букву «Р»).

В колхозе ничего не дают на трудодни. Чтобы как-то выжить, мать ходит побираться в ближайшие и дальние села.

Когда возвращается, то дома целая трагедия. Она плачет в голос от усталости, унижения, зимой — от обморожения…

Нередко — от злости и бессердечия людей. В зажиточных домах не открывают двери, гоняют палкой, натравливают злых собак. А уж какие тирады словесные отпускают, то этого лучше не знать!

И все-таки что-то она приносила. Недоеденные куски хлеба, иногда чёрствого и заплесневелого, — всё это в наших жадных и голодных глазах казалось неоценимым богатством. Нам выдавалось по маленькому кусочку, а остатки надо было растянуть на месяц или два.

Медленно и грустно тянулось босоногое детство. Мать работала с утра до вечера в колхозе. Скучно было находиться в доме, построенном неизвестно в каком году, с прокопчёнными потемневшими брёвнами, маленькими двумя окнами и огромной русской печью, где на ночь помещались все. У окна стоял такой же древний, грубо сколоченный стол и лавка к нему. Да, был ещё какой-то сундук, в котором когда-то что-то хранилось. В углу, ближе к печке, на маленькой скамейке стояло ведро с водой, здесь же рядом находилась нехитрая посуда.

Полы в доме были земляные, электричества не было. Дом освещала маленькая керосиновая «коптилка», которая зажигалась на короткое время, дабы сэкономить горючее, которое не на что было покупать.

Поначалу у нас была даже живность: корова, куры…

После постепенно всё было продано или порезано на еду — нечем кормить. Надо было выживать да плюс еще платить какие-то налоги, государственные займы…

И наступили полный голод и бедность…

Я не имел никогда ни одной игрушки. Да и мои одногодки сторонились меня. Видимо, этому способствовали родители. На деревне ведь как: повесят ярлык — «побирушкин сын, и не надо с ним водиться». Вот они и обходили меня стороной.

Из дома я выходил и сидел в одиночестве на завалинке перед домом. Иногда подсаживались взрослые. Пытались посмеяться надо мной. Зная

мою картавость, развлекались, требуя десятки раз повторить слово «сковородка», и с каждым разом им становилось всё смешнее… Они веселились, а я готов был плакать.

Взрослые прозвали меня «Дед Знычит». Сначала я ничего не понимал. Потом стал расспрашивать мать, что означает это словосочетание. Она объяснила, что дедушка мой был очень хороший человек, очень трудолюбивый… И у него была такая приговорка — «знычит», что обозначает «значит». О чем бы он ни говорил, всегда и везде вставлял это слово. Его за это и прозвали «Дед Знычит».

— Ну, а теперь, видишь, и тебя так зовут.

Вот, знычит, такая история…

Подошел 1947 год. Пора идти в школу, в 1-й класс.

Вот тут и началось… Что надеть? Что обуть? Где взять деньги на школьные принадлежности? Мать плачет с причитаниями: «Сиротки мои! Был бы отец жив! Был бы кто-нибудь, кто бы помог…»

Но рассчитывать приходилось только на себя… И не только в одежде, но и во всем: карандаши, тетради, букварь.

Ах да что там вспоминать!..

Купить было можно, что-то у старьевщика выменять за сданные цветные металлы, тряпки: таблетку для получения чернил, карандаши, тетради… Но где что взять?..

Мне сшили из старого куска холстины торбу, куда я сложил, что удалось «добыть» для обучения, и отправился в школу…

Не хотелось бы далее продолжать это грустное повествование. Суть его сводится к одному, что мы все свои годы учились, где-то работая — обеспечивая себе на пропитание и житье, — без каникул и отпусков и без чьей-то помощи. Нет-нет, мы не были «стилягами» — у нас не было средств, чтобы «стильнуть», да и свободного времени тоже. Мы не отлынивали от армии, от поездки на целину и других починов молодежи… Жизнь шла своим чередом, отсчитывая верстовые вехи от Дня Победы.

60 ЛЕТ ПОБЕДЫ

Только один взгляд…

Эта небольшая книга — «Увидеть войну в её настоящем освещении», которую издали в Псковском государственном университете в майские дни 2005 года, когда мировое сообщество отмечало 60-летие Победы над фашизмом, коричневой чумой XX века. Вступление к этой книге издатели попросили написать меня. Прежде чем написать, я, естественно, познакомился с её содержанием и даже по прошествии лет рекомендую эту книгу к прочтению. Вот некоторые мысли по поводу изложенного в ней материала.

Для россиян Великая Отечественная война принесла много горя и страданий для всех людей.

…Идут ветераны в парадном строю; склоняются у могил павших вдовы, узники концлагерей, блокадники Ленинграда; смахивают слезу труженики тыла; дети дарят цветы и вместе со взрослыми радуются Победе или, насупившись, смотрят картины прошлых боев, где сражались их прадеды и деды…

Время идет. Зарастают окопы травой. Набатным колоколом стучится память в сердца людей. Невольно задумываешься о метаморфозах жизни. Что есть война? Зачем? Почему люди убивают друг друга? Что движет ими? Почему человечество на протяжении многих веков воюет внутри себя…

На эти вопросы многие умы на протяжении веков ищут ответа. Историки, философы, социологи, писатели анализируют уроки войны, делят их на справедливые и несправедливые. Ищут истоки, определяют мотивы. Чаще войны ведутся для захвата территорий, богатства других городов и стран; на религиозной, националистической или идеологической почве произрастают они, а то и просто из-за чьих-то амбиций, личной прихоти государей вовлекаются миллионы людей, становясь винтиками машины по убийству друг друга.

Не берусь судить и делать теоретические выводы, но для меня лично война — это полный абсурд, лишенный смысла и разума. Это тупик дипломатии и безграмотность государственных политиков и деятелей; это доведение собственных народов до сумасшествия и убийства. Любая война безнравственна, какими бы лозунгами она ни прикрывалась. В войнах нет победителей. Там миллионы людей гибнут на полях сраже-

ний. Победа ценой гибели миллионов — не есть победа, а у б и й с т в о людей и самообман политиков и полководцев.

В этой книге ученые кафедры литературы Псковского государственного педагогического университета им. С.М. Кирова постарались посмотреть на войну глазами наших писателей, не претендуя на обобщение, а представляя только тот взгляд на войну, как она изображена на страницах русской литературы.

Когда-то и кто-то сказал хорошую фразу: «У войны не женское лицо». Я бы перефразировал её, что у войны — не человеческое лицо и даже не звериное, так как мало есть зверей, которые бы уничтожали свой вид, самих себя…

За долгие годы, бывая в разных странах, встречаясь с сотнями людей, я ни одного человека не видел, мечтающего об убийстве и самоубийстве. Люди хотят простого человеческого счастья: иметь работу, дом, семью, растить детей, сажать цветы, иметь друзей. Обычные людские заботы. Они приветливы, они гостеприимны, доброжелательны. Они человечны. Насколько меняется всё, когда дело касается большой политики… Что-то происходит с нами, с ними… Что-то возникает из отголосков «холодной войны», что-то от современных пристрастий… Может, нам обходиться без этой «большой» политики или направить её в другое русло?

На эти размышления меня навела известная ленинградская писательница Ольга Берггольц одним эпизодом, рассказанным в книге повестей «Дневные звезды» (см.: *Берггольц О.* Дневные звезды. Л., 1978. С. 193—195). Привожу отрывок из книги.

«Я писала передачу-листовку в своей обледеневшей квартире, уже тяжело опухшая от голода. Я писала:

«Немецкий солдат, ты мёрзнешь и голодаешь в своих окопах под Ленинградом. Но вспомни только, как еще недавно было уютно у тебя под Рождество дома. Вспомни, как зажигалась ёлка и трещали дрова в печке… Неужели это навсегда ушло от тебя? Во имя чего? Во имя чего ты стынешь под Ленинградом?.. Ты обмерзаешь, ты можешь стать калекой…»

И вдруг мысль о том, что ведь это все правда, и что живые люди мёрзнут в холодной земле под нашим городом, и мёрзнут так же, как мёрзну я сейчас, что они тоже люди, — пронзила меня. Я немедленно оттолкнула эту неправильную, ненужную мысль. Но все же эта мысль, вернее — даже ощущение, а не мысль, возвращалась ко мне, как бумеранг, за какие бы вернейшие лозунги ни забрасывала я ее, и с каждым разом все сильнее била по душе».

Далее автор вспоминает своё довоенное прошлое, и ёлку у Невской заставы, и весёлые встречи Нового года в электросиловском клубе: «О, где же это все, зачем оно отнято…»

«Что за вздор? Я запсиховала от голода, — сказала я себе шёпотом. — Это враги, захватчики, интервенты и только». «Так что же, мне жалко их? Нет! Но мне жалко… Мне жалко нас. Мне жалко нас вместе, как нечто существовавшее когда-то в прекрасном человеческом единстве, как нечто живое, целое и вдруг беспощадно и бессмысленно рассечённое кем-то Т Р Е Т Ь И М — не человеком, кем-то чуждым человечности. Да, этот кто-то Т Р Е Т И Й рассёк нас, единого Человека, единое человечество, и бросил рассечённые половины друг на друга, чтобы мы терзали и ненавидели друг друга, и встал между нами. Одна половина единого Человека по злобной воле Т Р Е Т Ь Е Г О л и ш н е г о грызёт, терзает и ненавидит другую половину. Вот этого Т Р Е Т Ь Е Г О л и ш н е г о я ненавижу всей силой души и жизни. Этот Т Р Е Т И Й — фашист. Он терзает меня, он разбомбил дом Фрица, и тот чудом спасся из-под бомб, и немцы Фриц и Эрнст (антифашисты, работавшие в радиокомитете Ленинграда. — *И.К.*) голодают так же, как я. У них тот же враг, что у меня. Вот этот Т Р Е Т И Й л и ш н и й — фашизм, гитлеризм».

Нет большего преступления перед человеком и жизнью, чем преступление Т Р Е Т Ь Е Г О».

А теперь, дорогой читатель, остановись и осмотрись повнимательней, где, когда и кто выступает Т Р Е Т Ь Е Й силой. Вспомни Великую Революцию 1917 года. Какая сила гнала красных на белых, а белых на красных?

Что за силы вершат перевороты сегодня, развязывают войны, не щадя людские жизни? Афганистан, Ирак, Чечня, Югославия — можно продолжать и дальше. За всеми событиями стоит кто-то. Третий лишний. То он встает в образе князя тьмы, дьявола, несущего страдания миру и всем людям, то обычным злом.

А злу должно противостоять добро.

Уважение к жизни — эту основную морально-этическую норму вывел и закрепил в своем труде «Философия культуры» Альберт Швейцер.

Альберт Швейцер (1875—1965) — великий немецкий учёный, врач, философ, миссионер, музыковед и музыкант. Вся его 90-летняя жизнь — это подвиг и легенда. Он прекрасный специалист по органам. Пишет работы по органной музыке композитора Баха, активно выступает с органными концертами. Как теолог и проповедник читает лекции в уни-

верситетах, а проповеди в церквях. Ведёт исследования и издает труды о Боге, об апостоле Павле. Получает медицинское образование в 37-летнем возрасте после окончания университета и приобретенной славы в Европе. А потом… Потом уезжает в Африку, в Габон, где основывает больницу для туземцев и лечит их там на протяжении почти 50 лет. Все эти годы полны напряжения. С приезда и до последних дней ведет строительство лечебных помещений в джунглях. Собирает средства в Европе на лекарства и оборудование, инструменты. Учит персонал и работает, работает, не покладая рук. По-прежнему занимается музыкой, философией, теологией. Спит по 3 часа в сутки. Это он определил, что нужно делать после 60 лет: работать и работать еще больше.

Мир признает его подвижничество. Он становится лауреатом Нобелевской премии, все деньги от которой употребляет опять-таки на строительство больницы для прокаженных. О нем много пишут и много говорят. Едут туристы, специалисты, чтобы посмотреть на этого удивительного и загадочного доктора.

Что им движет? Что заставило его запереть себя, имея огромные таланты и возможности и славу в Европе, в джунглях экваториальной Африки среди чёрных туземцев?

И Швейцер сам даёт ответ на эти вопросы. Ответ в его философском труде и в самой его жизни.

«Этика уважения к жизни, таким образом, включает всё, что может быть охарактеризовано как любовь, самоотдача и соучастие как в страдании, так в радости и труде». (Цитирую по книге: *Носик Б.* Альберт Швейцер. Белый доктор из джунглей. М.: Изд. Рудомино, 2003. С. 217.)

Утверждение жизни — это, по Швейцеру, духовный акт, посредством которого человек перестаёт жить бездумно и с благоговением посвящает себя жизни, с тем чтобы познать её истинную ценность.

Три самых важных элемента философии жизни отмечает он: самоотречение, позитивное утверждение мира и этику.

Самоотречение ради жизнеутверждения. Культуру Швейцер определял как духовный и материальный процесс во всех сферах деятельности, сопровождаемый этическим развитием индивида и человечества.

А. Швейцер выступает ярым противником испытания ядерного оружия. Публикует статьи, выступает на различных форумах, пишет прямые обращения к главам государств Америки и СССР.

Как ученый он стоит за то, чтобы любые изобретения, новшества прогресса не шли вразрез с этическими нормами, не были бы вредны не

только человечеству, но и всему живому на земле от растений до насекомых. Он против всех войн, против проявления насилия.

«…Я всё ещё сохраняю убеждение, что правда, любовь, миролюбие, мягкость и доброта — это сила, которая пересилит всякую другую силу и всякое насилие. Мир будет принадлежать им, как только достаточное количество людей с чистым сердцем, силой и упорством мысли продумают и проживут в своей жизни эти идеи любви и правды, мягкости и миролюбия…

Доброта, которую человек посылает в мир, влияет на сердце и ум человечества, но мы проявляем глупое безразличие, не принимая всерьез дел доброты. Мы берём на себя всё большую тяжесть и все-таки не хотим воспользоваться рычагом, который помог бы нам в сотни раз умножить нашу силу». (Там же. С. 261.)

Ну вот, дорогой читатель, на этом мы и закончим наше вступление в книгу «Увидеть войну в её настоящем освещении». Изложенные выше взгляды дополнят и расширят диалоги и монологи героев книг известных авторов, их раздумья о теме войны и мира.

Итак, семь ученых кафедры литературы представляют вам 14 авторов и их литературные произведения в одном сборнике «Увидеть войну в её настоящем освещении». Здесь вы найдете размышления героев в минуты роковые. Пьер Безухов, герой Л.Н. Толстого в «Войне и мире», силится понять, в результате каких причин должна прерваться и исчезнуть его жизнь*: «Кто же это, наконец, казнил, убивал, лишал жизни его — Пьера со всеми его воспоминаниями, стремлениями, надеждами, мыслями? Кто делал это? И Пьер чувствовал, что это был никто.*

Это был порядок, склад обстоятельств.

Порядок какой-то убивал его — Пьера, лишал его жизни, всего, уничтожал его» .

Только ощущение того, что за «порядком», установленным какой-то враждебной всему сущему силой, стоят люди, одинаково несчастные по обеим сторонам границы, проложенной войной, помогает соучаствующим в жестоком действе не потерять связи с *миром*, не утратить представления о возможности реального воздействия на ход вещей. Это спасает жизнь Пьеру*: «Даву поднял глаза и пристально посмотрел на Пьера. Несколько секунд они смотрели друг на друга, и этот взгляд спас Пьера. В этом взгляде, помимо всех условий войны и суда, между этими двумя людьми установились человеческие отношения. Оба они в эту одну ми-*

нуту смутно предчувствовали бесчисленное количество вещей и поняли, что они оба дети человечества, что они братья».

Я не буду далее цитировать строки из этой книги. Все это вы сможете прочитать сами, взяв книгу в библиотеке.

70 ЛЕТ ПОБЕДЫ

В ожидании юбилея

Наверное, с моей стороны будет не совсем этично раскрыть все замыслы того, как будет отмечаться эта дата в городе Пскове.

Программа уже есть. Знаю точно, что это будет большой праздник, который разольётся по улицам и площадям, памятным местам Пскова, в учреждениях культуры, спорта, школах и других учебных заведениях…

Возможно, успеет к этому времени выйти из печати книга об участниках Великой Отечественной войны — жителях Псковской области

Возможно… Да, мало ли что ещё возможно. Но я не буду пока ничего загадывать, чтобы не травмировать организаторов.

А пока, пока я заканчиваю своё повествование словами в защиту стариков.

Дорогие мои старики!

Племя людей, объединённых пенсионным возрастом. Молодые, не торопитесь списывать их в архив, не отмахивайтесь, как от чего-то ненужного, не раздражайтесь на них и не обижайтесь за якобы несправедливые притеснения…

Старики — это богатство страны, это её история. Они — хранители традиций и опыта, они — связующая нить между прошлым и будущим.

Да, старики чудаковаты. Происходит парадокс: организм физически стареет, душа — молодая. И не соглашается с тем, что уже наступило другое измерение, другая ступень, другие отношения…

На их плечах целый огромный кусок истории побед и поражений, холода и голода, романтики и разочарования…

Недавно ко мне пришли представители объединения малолетних узников фашистских лагерей. Мы долго беседовали. Я не переставал думать о наших малолетних — тех, кто был узником советского тотали-

тарного режима, подранком войны и послевоенного лихолетья. Им всем надо давать орден за то, что выжили в этом режиме…

Старики! Как трудно вам жилось и как мало вы получили к своей старости! Отняты у тех, кто имел, малые сбережения, отняты идеалы прошлого, отнимается многое, что копилось как богатство народное, — его культура, традиции.

Меняется даже язык. Кто бы знал раньше такие слова, как «тусовка», «крутой» и т.д. и т.п. Я уже не говорю о целом «государственном» новоязе: ваучеризация, приватизация и т.д.

Что же делать? Старость за рубежом в довольстве, путешествует на сколоченные капиталы, развлекается, занимается общественной деятельностью.

Ну а у нас? Первое — это пережитый шок, а с ним — нытьё и безысходность. Однако сегодня у нас я с удовольствием начинаю замечать возрождение к жизни пожилых людей. Они все реже стоят с протянутой рукой, а всё громче заявляют о своих требованиях во весь голос. Они создают различные общества, союзы и активно сотрудничают в них. Они проявляют своё беспокойство обо всём: от политики до домовых советов и воспитания подрастающего поколения. Они начинают делать конкретные дела.

Если человек действует — значит, он живет. Радуюсь тому, что наши старики оживают, вторгаются в современность, заявляют о себе.

Да, трудно молодым вступать в жизнь, налаживать новые связи, взаимоотношения, добиваться своего места под солнцем. Но еще труднее, когда обрывается «дней связующая нить» и ты остаешься один на один со своим прошлым и с самим собой. Здесь вдвойне труднее налаживать «новые» связи, так как старые обрываются мгновенно после проводов на пенсию.

А посему, прошу вас, не толкайте стариков в автобусе жизни, пособите им подняться на ступеньку, помогите отыскать свободное место в салоне.

Сергей Горшков

ЗОЛОТОМ ПО МРАМОРУ

На мраморе чёрном не пишут крестов,
Лишь звание, имя и даты.
А «цинки» по месту прописки бойцов —
Теперь дело военкоматов.
Бойцы не мечтали о вечности снов:
Совсем молодые ребята!
На мраморе чёрном убита Любовь,
Но разве они виноваты?

На мраморе чёрном не пишут крестов.
Кто жив, тот пьёт молча и стоя,
Но боль не укроет металл орденов
За тех, кто не вышел из боя.
Спасибо, ребята! Спасибо, друзья!
За то, что мне жизнь подарили!
За то, что на мраморе вы, а не я,
Надеюсь, меня вы простили.

На мраморе чёрном не пишут крестов.
«Случайные» здесь не бывают.
Одни только призраки павших бойцов
«За жизнь!» по ночам выпивают.
За память, любовь, за спасённых друзей,
За Родину, что не предали…
У Родины мрамора хватит на всех!
И золота всем на медали!

Горшков Сергей Игоревич. Родился в 1961 году в Архангельской области в семье офицера. В 1985 году окончил Ленинградское высшее военное инженерное Краснознамённое училище имени генерала армии А. Н. Комаровского (ЛВВИ-СКУ). Служил в инженерных частях ГУСС МО СССР и МО РФ. С 2005 года «перешёл» на литературную и художественную деятельность. Член Союза писателей России с 2013 года. Пишет и публикуется с 80-х годов.

Я ДОЙДУ!

Живут воспоминания о сне:
Раскисший снег, проплешины земли…
В шинели нараспашку шёл к весне,
Полой цепляя сухостой зимы.

Мне солнце согревало дальний путь,
А ветер растрепал шутя вихры,
Лесные птахи наполняли грудь
Руладами разлившейся зари.

Остался за спиною дым боёв,
Друзья, которым выпало не встать,
Но я иду! Мне обещали ждать,
Желанную мне подарить любовь.

Ведёт меня надежда, что дойду,
Ведь знаю ныне правильный ответ:
Коль Бог отмерил в жизни столько бед,
Не грех и счастья ложку зачерпнуть!

ПИСЬМО СОЛДАТА

Здравствуй, матушка моя!
Сколько долгих лет
ожидаешь ты меня,
а меня всё нет.
Я вернусь! Вот выйдет срок, —
ты утри глаза, —
вновь шагну на наш порог
и под образа
опущусь, перекрещусь,
обниму тебя,
и уйдут из сердца грусть,
страхи за меня.

Я вернусь! Растает снег,
обнажит поля,
и весна с замёрзших рек
скинет якоря
и с озябнувшей души
сбросит панцирь прочь:
ты лампадку не туши,
пусть горит всю ночь.
Пусть горит! Увижу я,
что ты ждёшь меня,
и вернусь, свой путь пройдя
с верою в тебя!

С верою в любовь твою,
матушка моя,
сотню раз я повторю:
— Здравствуй! Это я.

С ДНЁМ ПОБЕДЫ!

Над моим переулком птицы
Не ведут уже хороводы.
И прохожие прячут лица,
Столь прекрасные от природы.

А природа когтями ветра
Бьётся в ставни, трепещут стёкла.
Мне хотелось бы знать ответы,
Ведь душа вся от слёз промокла.

Я не вижу над крышей неба:
Как стекло, оно раскололось,
Как краюха сухого хлеба,
Как прогнившая власть и совесть.

Для кого-то здесь светит солнце,
У меня же — дожди косые.

И не лезут крылья в оконце,
А влекут так края иные.

Для кого-то праздник вселенский:
Водка, пиво, доступные бабы…
Ты ответь мне, корнет Оболенский,
Где найти ещё столько сраму?

Но корнет давно застрелился,
Не снеся за Отчизну боли,
А поручик ранее спился
И в «психушке» обрёл свою волю…

Я листаю страницы историй,
Много раз уже кем-то правленные:
В них лишь знаки людского горя
Между правдами и неправдами.

Под «роскошными» обелисками
Водку пьют «свободные» граждане
В память Той, что была у каждого!
И становятся дальние близкими.

И, возможно, дожди косые
Здесь идут или светит солнце,
Все давно уже стали иными,
И свеча погасла в оконце.

И, наверное, праздники — здорово,
Если есть где присесть и стаканчик…
Только льют в наши глотки олово
Всё по-прежнему, всё — как раньше!

СУРОВАЯ НАУКА

Чем глуше раскаты
Далекого моря,
Осеннего неба
Холодного пламя,
Тем явственней
Колокол громкого боя
Врывается в память,
Врывается в память…
Корабль лихорадит,
Короткие фразы:
— К бою готовы!
— К бою готовы!
И крепче железа
Команды, приказы,
И вот уже отданы
Ловко швартовы.
Открытого моря
Глухие удары…
Безбрежность, бескрайность —
И горечь разлуки.
Теперь, вспоминая,
За все благодарен
Суровой науке,
Военной науке.

Половников Владимир Алексеевич (1931—1999). Поэт. Родился в Казахстане. Последние три десятка лет своей жизни провел в Пскове. Автор книг «Псковский говорок», «Едут сваты», «Красивая мечта» и других. Член Союза писателей России.

ОТЕЦ

1

Мысли вдруг поднимают в ружье,
Мысли танками вдруг наползают,
И военное детство мое —
Кинохроникой перед глазами.

От кричащих протянутых рук,
От детей, от жены ненаглядной
Уезжает на фронт политрук —
Мой отец, по-военному ладный.

Вот и первое с фронта письмо.
Шепот матери: «Родненький, милый».
Ожиданье — подумать не мог! —
Нам казалось замедленной миной.

Строчки… Почерк… Отцовский наказ:
Маму слушайся…Ты же мужчина…
Я бежал мостовой в третий класс.
Я держался по-взрослому чинно.

«От Советского Информбюро…»
Мы слова словно воздух глотали.
Я отцовские письма сберег.
Пожелтели страницы с годами.

Он погиб.
Воевал хорошо.
Отдыхай, от походов уставший!
Я и ростом тебя обошел,
И летами я на год постарше.

2

Лежит целехонько-цело
Письмо, пропахшее войною.
К нам в сорок третьем на село
Оно дошло взрывной волною,

И люди повалили в дом,
Заплакали, заголосили,
Как о единственном-одном,
На все село, на всю Россию.

Но наши стали наступать —
Нам эту радость сообщали.
И все ж мы слышали, как мать
Украдкой плакала ночами.

Ждала: не верила она!
Ждала: случалось — воскресали.
Ждала, хоть кончилась война
И нам награды переслали.

Желтела мирная трава.
От сердца отступало горе…
А мать — солдатская вдова —
Уже меня ждала у моря.

Я уходил в дозор-поход
И тихо вспоминал в походе:
Лежит уже который год
То извещение в комоде.

Андрей Канавщиков

ПОЩЁЧИНА

Немцы появились в деревне буднично и как-то по-домашнему. Ближе к обеду из-за горки перевалил грузовик с десятком солдат, три подводы на лошадях да протарахтел один мотоцикл. Немцы говорили во всё горло, так что их голоса в деревенской тишине слышались особенно отчетливо. Под жилье они себе отобрали самые просторные и ладные избы.

— Хозяева, тоже мне, — сплюнул дед Митрошка.

Ему шел уже девятый десяток, жил он бобылем, изба его покосилась и была крыта местами соломой, местами дранкой. На его избу никто польститься не мог, поэтому Митрошка мог себе позволить некоторую независимость. Он даже специально стрельнул у немецкого шофёра сигаретку, чтобы затем ходить по деревне и доказывать, что немецкое курево — дерьмо.

Сыновья Прасковьи Жилиной в тот же день подались в партизаны, уведя с собой корову и спрятав ее где-то в окрестных болотах. Платон Круглов вымазал своей красавице дочке волосы сажей и исхлестал ей руки крапивой, чтобы те были в красных волдырях и казались следствием заразной болезни. Малинины перерезали на всякий случай всех кур и лихорадочно торопились всё это богатство тут же съесть. Все ждали каких-то неприятностей и чего-то неноватого (гадкого).

Однако немцы вели себя вполне мирно, подчистую людей не обирали и из всего деревенского стада забрали в первый день только трех коров. Местных никого не трогали, а расстрелянный партиец из города Гришка Быстров, по общему мнению, сам погорел, из-за своей глупости. Пытаясь внедриться к немцам от своей подпольной организации, Гришка, отлично знавший немецкий язык, вздумал представляться российским немцем: я, дескать, свой в доску, потому и к вам служить иду. Он даже акцент особый у себя развил.

Казалось ему, что теперь только и остаётся, что прямой дорогой на Берлин — Гитлера убивать. Однако же погиб Гришка очень глупо. Нелепо

Канавщиков Андрей Борисович. Родился в 1968 году. Автор книг «Иней», «Призвание Рюрика», «Егорыч», «Три войны полковника Богданова», «Цивилизация троечников», «Александр Матросов: подвиг и судьба» и других. Член Союза писателей РФ. Живет в Великих Луках.

погиб. Сел он с немцами шнапс пить. Лопочет ловко по-немецки, думает: всё у него уже в кармане. И вдруг замечает, что смотрят на него за столом как-то странно. Раз посмотрели, два, Гришка заволновался, но и ухом на это не ведёт. Уверен он был в себе очень. А офицер немецкий как стукнет кулаком по столу:

— Врёшь, собака. Никакой ты не немец. Русский ты. Ты шнапс хлебом занюхиваешь. Не водится такого у немцев.

Гришка ну оправдываться, объясняться: от советского быта это, мол, у него прилипло, но слушать его никто не стал. Отвели к лесу да выстрелили в затылок. Кажется, партизаны его потом похоронили. Сами же немцы допросами и разбирательствами всерьёз не занимались. Вообще, в эту глухую русскую деревеньку попала какая-то вспомогательная обозная команда. Даже виселицу для партизан они построили только на пятый день своего пребывания здесь.

В избе Платона Круглова, лучшей избе деревни, разместился штаб. В ближайшем амбаре немцы хранили мешки с мукой, коробки консервов и разную наворованную мелочевку — деревянные расписные ложки, балалайки, граммофон с трубой и самогонный аппарат из двух чугунков с медным змеевиком. Семью Круглова немцы переселили в хлев, а сами заняли их хоромы. Каждый день они пили, во всё горло смеялись и стреляли из станкового пулемёта, приспособленного на крыльце, в сторону озера:

— Русс, пу-пу...

Настена Круглова варила еду всей этой галдящей ораве, одноногого Платона немцы заставляли играть им на балалайке «Барыню», а красавице Шурке выпал удел подтирать по утрам загаженные полы и чистить офицерам сапоги. Шурка просилась в партизаны, заклинала бросить всё хозяйство и уходить, но корову терять не хотелось, и Кругловы, вздохнув, каждый новый день снова шли прислуживать супостатам. Ещё и дед Митрошка своим юмором изрядно изводил. Выливает Шурка помои на дорогу, а дед ей кричит:

— Что, доча, сладок немец ай не?

И смеётся ещё своим дребезжащим глухим смехом. Шурка не знает, куда уж и глаза девать. Мечется, мается. Или на улице как бы невзначай подойдёт свояченица Жилиных и криво ухмыльнётся как бы в сторону:

— Подстилка дешёвая, ничего не стыдится, идёт, быдто прынцесса.

Однажды и немцы разглядели за сажей да за наведёнными волдырями, что девушка отменно красива. Стройна, гибка, всё одно к одному,

гармоничное, уместное, коса до пояса, глаза два студёных колодца. И во время очередной пьянки один немецкий офицер, принимая из рук Шурки миску с поджаркой, вдруг хлопнул её рукой ниже спины и к себе попытался притянуть:

— Гут, карашо.

Плохо отдавая себе отчёт в том, что она делает, вспомнив в эту минуту все свои дни страха и обиды, вспомнив Митрошку, Гришку Быстрова, свою корову, Шурка наотмашь отвесила немцу пощёчину. Всей пятернёй по щеке, по уху, по шее. Пощёчина эта прозвенела в накуренной и пьяной избе, как выстрел. Миска с поджаркой покатилась по полу. Немцы затихли, а офицер, который заговаривал с Шуркой, потянулся к кобуре:

— Дер хунт (собака то есть).

Девушка стремглав бросилась из горницы. Сердце сё билось, как настенные часы в дедовом доме. В голове возникали обрывки самых противоречивых мыслей: убежать, убиться, поджечь дом. К внучке подошёл, ковыляя, Платон, обо всём догадался, обнял Шурку за плечи, повёл к матери в хлев:

— Убежишь — избу сожгут, корову сведут, а все вместе мы не убежим. Куда я на своей деревяшке побегу. Молись, дочка, может, и пожить ещё придётся. А что себя блюдёшь, так это только хорошо, порода у нас вообще такая.

— Ироды, аспиды, — запричитала Настёна. — Мало им покорности нашей, всего мало. Папка, давай уходить. Я часового поленом вдарю, подопрём дом, запалим, пока не очухались.

— Часового она… Поленом... — буркнул дед. Было ясно, что при таком варианте он до леса добежать никак не успеет. Платону умирать не хотелось, но и бесчестия внучки он видеть не хотел. Поворчав для вида, чтобы в женском хоре именно его слово осталось последним, дед приказал:

— Шурка, бери корову и бегом к лесу. Мы с Настёной на двор. Я буду часового отвлекать, а ты, доча, бей гада по голове изо всей силы. Потом уходишь... Да, уходишь, — строго добавил, видя, что Настёна хочет ему возразить, — а я все дела здесь заканчиваю. Кругловы — род чистый и поганить себя не позволят.

— Деда, давай тихо уйдём. Все вместе, — просила Шурка.

— Дом ворогам всё одно не оставлю. И корова не для них рощена, — припечатал дед Платон. — А вам в шуме уходить проще будет.

Наконец все перекрестились и вышли из хлева на двор. К Шурке сразу же направился тот самый офицер в очках с тонкой металлической

оправой. Он сходил по ступенькам крыльца вниз. «Сейчас расстреляет», — завертелось в голове. Настёна бросилась к поленнице дров, а дед устойчивее упирал в землю свою деревяшку, примеряясь сильнее ударить немца кулаком в живот, когда тот подойдёт к нему ближе. Немец вдруг остановился. закашлялся:

— Фройляйн, фройляйн...

Он неловко разводил в стороны руки, всем своим видом показывая крайнюю степень расстроенности, и, видимо, пытался извиниться. Быстро поцеловав Шурке кончики пальцев, немец достал из кармана блокнотик и, подсвечивая себе карманным фонариком, начал там что-то писать пляшущими буквами. Сняв с головы фуражку, немец махнул ею, всунул записку в руки Платона и заторопился обратно в дом. Словно ничего и не было.

— А что он тебе дал? — потянулась к бумажке немца Настена.

— Цыц! Что дал, то и дал. — Дед сурово засунул немецкое послание себе в карман домотканых штанов. — А тебе, Шурка, уходить всё ж таки надо. Схоронишься пока там, где мы в прошлом году сено ставили, шалашик обновишь. И корову забирай, не знаю, смогу ли с едой часто помогать.

Немного помолчали. Расцеловались. Назавтра в деревню пришла другая команда немцев. Стеснительный офицер в очках с тонкой оправой тоже уехал. Деда Митрошку повесили, не посмотрев на возраст. Коров забрали всех. Появились первые полицаи. За убитого партизанами немецкого повара, который пошёл к озеру за водой и пропал, каждый десятый в деревне был повешен. Дом Кругловых тоже не достоял до конца войны — был сожжён как немецкий штаб.

Шурка в свою родную деревню не вернулась. Там её в открытую звали немецкой подстилкой и плевали в лицо. А что до бумажки, написанной немцем осенним вечером 1941 года, то это оказался его домашний адрес в Германии. Однажды Шурка, теперь уже Александра Ивановна, решила перевести с немецкого на русский содержание того давнего текста. Друг, конечно же, помог и перевёл, но за ним, этим другом, сразу же пришли люди в штатском. Они обозвали Шурку сукой, отобрали у неё эту страничку из немецкою блокнота и вежливо предложили забыть про их визит. Пришлось забыть.

А семейная жизнь у Шурки так и не сложилась. Что-то надломилось в ней, оборвалось. Упрёки сельчан, пощёчина, звук которой преследовал её до самой смерти, — об этом она думала ежедневно, уже не могла не думать.

ВОСХОДИТ ВЕСНА НАД РОССИЕЙ

Памяти моего деда Василия Кузьмича

Сегодня, в день памяти деда,
Гляжу на Васильевский храм.
Дедуля дожил до Победы,
Скитался по госпиталям.

Был ранен под Питером тяжко
Почти что в начале войны,
Но, видно, родился в рубашке,
Молитвой от смерти храним.

Молился Василий Великий,
У Бога просил горячо
За тёзок своих разноликих,
Чтоб выжить, пожить им ещё.

Чтоб после Великой Победы
Вернулись в родные края
И нажили в радости деток,
Чтоб множилась счастьем земля.

Недолго прожил дед Василий,
Но внуков успел увидать…
Восходит весна над Россией,
Со звоном плывёт благодать.

Гусева Евгения Викторовна. Родилась и живёт в г. Пскове. Инженер по образованию. Печаталась в коллективных сборниках поэзии, альманахах псковских писателей.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Снова праздник пришёл —
День великой Победы
Над фашизмом и смертью,
Этой чёрной чумой.
И виски у отцов,
И виски чьих-то дедов
Замела та война,
Обелив сединой.

Только многих уж нет:
Не дошли до Берлина,
Вдовий цвет — чёрный цвет —
На платках бывших жён.
Выполняя завет,
Защищая Отчизну,
В свой последний рассвет
Вы не сдали знамён.

Снова в скорби страна
Вам цветы возлагает,
Ветеранам войны,
Что уснули навек.
Не нужна нам война.
Мир надежду вселяет
В торжество той страны,
Где велик человек.

Писарь Людмила Павловна. Родилась в Печорском районе Псковской области. Первое стихотворение было опубликовано в газете «Печорская правда». Произведения печатались в газетах «Печорская правда», «Изборская крепость», «Вперед», «Пушкинский край», в альманахах «Спутник», «Золотая строфа» и др.

Тамара Карнаухова

ДОРОГАМИ ПАМЯТИ

Сейчас Пётр Ефимович оседлает своего каурого, и мы отправимся на кухню — пить чай с тортом. А конь будет смирно стоять в углу. Тут, конечно, можно погадать, где эта безразмерная квартира, в которой сосуществуют конь и человек. Но ничего секретного: Пётр Ефимович, его конь и его красивая жена Тамара Николаевна живут в обычной двушке. Притом — на четвёртом этаже.

Года три назад Пётр Ефимович был безлошадным, да пришлось обзавестись помощником, вернее, помощницей. И вот почему: семьдесят лет рана на ноге не тревожила, а тут на тебе — разнылась. Поэтому трость вошла в дом супругов Старовойт. Не подумайте только, что трость — это кличка лошади. Палка она и есть палка, а уж как хозяин её наречёт…

Чай — это очень по-русски. Самое время подсластить жизнь — день клонится к вечеру, а жизнь… Нет, не скажу, что к закату, это не про Петра Ефимовича. Скажу так: 12 ноября ему стукнет 90. Тамара Николаевна появилась на свет чуть раньше — 29 июля. Но это не последний семейный секрет. 1 июня 2015 года у супругов Старовойт два праздника: 64 года со дня свадьбы и день рождения дочери Любочки, Любови Петровны. Конечно, эти замечательные события соберут под родительский кров внуков и правнуков во главе со старшим сыном — полковником погранвойск Борисом Петровичем Старовойтом.

Борис — дважды дорогое имечко для Петра Ефимовича: так звали его фронтового друга.

Восставшие из мёртвых

Вы подумайте, что делает память: за три часа Пётр Ефимович провёл меня по тропкам своего детства и по фронтовым дорогам. Вместе с ним я

Карнаухова Тамара Михайловна. Родилась в городе Себеже. Окончила факультет журналистики Ленинградского государственного университета. Член Союза журналистов России. Автор сборника очерков «Узнаю Русь», книги рассказов для детей «Хорошему человеку стыдно…», двух сборников стихотворений — «От человека к человеку», «Ностальгия».

вдыхала аромат покосного разнотравья под Житомиром и бежала от мессершмита с годовалой сестрёнкой на руках.

И кажется даже — вместе с его орудийным расчётом подбила в районе Львова четыре фашистских танка. А когда закончились снаряды, вместе с командиром подразделения Петром Старовойтом ринулась на пятый — с противотанковой гранатой и бутылкой с зажигательной смесью… Смерть фашистским оккупантам! За Родину, за Сталина!

А ещё представьте: стылый ноябрьский день 1944-го под Варшавой. Шестеро русских разведчиков сидят в засаде у немецкого штаба и из кустов зорко следят за охраной. Нужно улучить момент, чтобы проникнуть в помещение и забрать документы. Внутри — никого, а вот снаружи... Разведчики метнули в немцев финки, но… фашист недобитый шум поднял. Разведчики «рассыпались» по лесу, чтобы сбить врага со следа. Пётр и Борис держались вместе, погоня дышала в спину, слышался хриплый лай собак.

И тут — мельница с водоёмом. Озеро метров 500 в длину и 200 в ширину. Ну и сиганули солдаты в воду — глубоко. Фашисты стреляли. Разведчики укрылись в зарослях тростника и вербы. А когда частил пулемёт, с головой погружались в воду, дышали через тростинку. Волосы обледенели, зуб на зуб не попадал. Четыре дня продержались в ледяной воде под свист пуль. С двумя размокшими сухарями и фляжкой спирта на двоих.

И пришёл час, когда немецкий офицер объявил своим: «Русских давно съели лягушки» — и снял оцепление. Пётр реплику понял — неплохо знал немецкий. Разведчики дождались темноты и вернулись в полк. Выяснилось, что их родным уже отослали похоронки…

Пётр тотчас написал домой, чтобы успокоить маму. Ведь на войне уже сгинули два старших брата. Первый пал на Курской дуге, а второй — на Балтике при обороне Ленинграда. Так что Пётр остался опорой для младших: брата, трёх сестёр и, понятное дело, для родителей — Ефима Семёновича и Текли Роицентовны. «И косил, и свиней пас, и учился под бомбёжками — вплоть до призыва в армию, — вспоминает хуторскую жизнь Пётр Ефимович, — и всё на бегу».

Кстати, опоре-то на момент пребывания в студёной купели ещё и девятнадцати не исполнилось. А он уже был кавалером ордена Славы III степени — за пять подбитых танков. И в ту минуту, когда он, командир артиллерийского расчёта, замахнулся гранатой на пятого тигра, фашист успел выстрелить и разбил его пушку вдребезги. Так славное боевое ору-

дие Старовойта пало на поле брани. А его самого из родного 671-го полка перевели в дивизионную разведку (213-я дивизия). Тем более что хорошо разумел по-немецки.

Страшно ли было на войне? «Нет, — оглядываясь на комсомольскую юность, отвечает П.Е. Старовойт. — Боязни не было, была трудная мужская работа — защищать Отечество». Выдюжить помогла крестьянская закваска. Уж столько раз он щёлкал по носу эту костлявую старуху по имени смерть, что она забыла к нему дорогу. Взять хотя бы артиллерийское училище в Казани (59-й учебный полк), куда его, семнадцатилетнего, направили в самом начале 1943-го и вскоре доверили командовать расчётом 45-миллимитрового противотанкового орудия.

Курсантов поднимали в шесть. На завтрак суп гороховый, 200 граммов хлеба. И так мало чечевичной каши, что юный командир буквально по ложке вкладывал её в рот своим ребятам. А их в отделении было двенадцать. В семь — отправка на тренировочные стрельбы, полигон в 10 милях от казармы. Тащить орудия по бездорожью — нечеловеческая задача. Случалось, вечером будущие воины привозили в казарму на станине пушек товарищей, умерших от перенапряжения и недоедания. То были физически слабые горожане. В семь вечера курсантов ожидал столь же скудный горохово-чечевичный паёк…

В Сталинград, как планировалось, этот набор не попал: в начале февраля с немецкими дивизиями, взятыми в кольцо, было покончено. А по рукам гуляла газетная карикатура на Гитлера художника Бориса Ефимова, который, кстати, прожил больше ста лет: «Потеряла я колечко, а в колечке — 33 дивизии». Старший сержант Пётр Старовойт и его команда вместе со своей «сорокапяткой» форсировали Днепр возле Киева, воевали на белорусском направлении.

Три счастливых случая из фронтовой жизни

Вот представьте себе: возвращается разведчик с задания в свою дивизию, а тут артобстрел. Где схорониться? Да в ближайшей воронке: есть поверье — снаряд дважды в одну воронку не попадает. Петра опередил красноармеец, и так вышло, что наш герой буквально прикрыл его своим телом. Однако когда канонада отгремела, окровавленный паренёк остался лежать на земле. Непостижимым образом его всё-таки достал осколок. В другой раз налетели немецкие самолёты, и Петру пришлось выбирать безопасную зону возле дома. На бегу рассчитал траекторию снаряда и

ничком — к стене. На секунду позже другого солдата. И, представляете, на Старовойте ни царапинки, а товарищ по оружию мёртв. Скажете, мистика?

И в очередной раз костлявая вжикнула своей острой косой над головой Петра Старовойта. Случилось это уже после официальной победы, в Чехословакии, где пришлось добивать фашистов и власовцев с полицаями. Деревеньки здесь чередовались с лесистыми холмами. На одном из холмов под пологом леса враги понаставили пушек через каждые 5-10 метров, перегородив дорогу в Прагу. А до Праги-то и сотни километров нет. На мотоцикле можно мухой проскочить высотку, враги и глазом моргнуть не успеют. Особенно если хорошо разогнаться.

Так рассуждал командир разведки капитан Ольшанский, его ждали в штабе. Пётру хотелось отговорить начальство от рискованной затеи, перенести поездку на тёмное время суток. Но… Приказ есть приказ, и Пётр сел за руль мотоцикла. Только взлетели на бугор — коляска с капитаном в одну сторону, он с мотоциклом — в другую: подбили всё-таки. Когда солдат, потирая ушибы, добрался до командира, у того оказались поврежденными обе ноги. Пётр донёс его до деревни. Ноги капитану пришлось ампутировать. Ну а недобитков в том же мае 45-го русские «выкурили» из чешских лесов. Если вы намекнёте Пётру Старовойту, что это подвиг — вынести командира из-под обстрела, вы его очень удивите: «Иначе и быть не могло!» Да что там говорить: и четырёхдневное «моржевание» для него — почти будничный эпизод из военной жизни.

«Мне сам Жуков спасибо сказал»

Ну не желают события Великой Отечественной войны укладываться в хронологические рамки. И я не стала расставлять их по ранжиру. Сейчас мы с Петром Ефимовичем на Сандомирском плацдарме перед тремя вражескими дотами — в районе довоенной польско-германской границы. Площадка перед дотами ровная-ровная, словно поле футбольное, не подступиться. Пулемёты косят нашу пехоту. Первая волна наступления захлебнулась, вторая… Три полка потеряли половину состава.

И тут в дивизию прибыл маршал Советского Союза Георгий Жуков, командовавший в ту пору войсками 1-го Белорусского фронта. И приказал разведке взять зловредные укрепления.

— Ничего себе задачка! Как же это возможно, если и полкам не под силу?! — не удержалась я от восклицания.

А ротный старшина неполных двадцати лет от роду не удивлялся: «Надо — значит, сделаем!» Разведчики разделились на три группы — по числу огневых точек, вызнали, когда у фашистов пересменка и сколько их должно быть, переоделись в немецкую форму. Ну а дальше — дело техники: трое «своих» вырастали перед врагами на тёмной дорожке. Одному понятливому немцу, хорошо говорившему по-русски, вспоминает Пётр Ефимович, наша тройка гарантировала жизнь, если он уговорит засевших в доте развернуть пулемёты в немецкую сторону. Немец ушёл и долго не возвращался: уговоры затягивались. Наконец понятливый распахнул дверь — двоих фрицев, оказавших сопротивление, пристрелили, один сдался.

Правда, не у всех троек операция прошла гладко: некоторые разведчики погибли, но миссия была выполнена. «Орден Славы II степени мне вручал сам Жуков, — говорит Пётр Ефимович. — Он наградил всех участников операции, каждому из нас пожал руку, и в ответ на его такие простые и человечные слова, как «спасибо! молодец!», я, ещё безусый, пробасил: «Служу Советскому Союзу!»

Уже семьдесят лет прошло, всего семьдесят — память не стареет. Мы сидим с Петром Ефимовичем за столом и при свете его памяти перебираем награды. Их должно быть двадцать две — за боевые и трудовые подвиги, в том числе юбилейных. Первым по статуту идёт орден «Отечественной войны I степени». Кроме уже поименованных орденов Славы, в активе ветерана медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За трудовое отличие», «Медаль Жукова», медаль «За безупречную службу в органах МВД СССР I степени».

Но от боевых наград остались лишь удостоверения и орденские колодки: их детвора заиграла. С четырёхлетнего Бори, например, ордена дяденьки во дворе сняли. Да я и своё детство помню — мы с сестрой тоже любили покрасоваться в отцовских регалиях, девальвированных государством на многие десятилетия. Родителям было, как говаривал мой папа, «не до цацек» — они страну из руин поднимали. Так что же ныне сокрушаться, обиды итожить, винить кого-то, надо просто жить и радоваться бытию, считает Пётр Ефимович.

«Вы будете видеть. И очень хорошо»

А мы с Петром Ефимовичем опять на войне. Она закончится для него только 14 апреля 1950 года. На его календаре 1946-й и Западная Украина. Разведчики вылавливают бендеровцев в чащобе, ставят походные палат-

ки, выстругивая колья для них. Привычная мужская работа. Да вот несчастье: сосновый клин отскочил от ножа Старовойта и впился в переносицу. Как раз напротив того места, где застрял осколок от снаряда — метка 1944-го. Вначале левый глаз кровью налился, затем правый — и бравый старшина стал «стопроцентно слепым». Ах, как благоухала сирень, принесённая кем-то в палату, где томились 32 солдата, утративших зрение. Ах, как зазывал на тайное свидание соловей!

Пётр Старовойт учился играть на хромке и петь — для заработка, дабы не сидеть на шее у родителей. Каждый строил свои безрадостные планы на жизнь. И вдруг ветерок надежды прошелестел по палате: есть такой знаменитый офтальмолог Владимир Петрович Филатов, вот бы его в госпиталь залучить!

Обратились к руководству — ноль внимания. Написали письма-просьбы Сталину, Ворошилову, Жукову: ни ответа, ни привета. Зато госпитальное начальство неожиданно подсуетилось — тридцати «белобилетникам» объявили о выписке. Не сегодня завтра им подберут поводырей и отправят домой. А то, понимаешь, расписались…

Госпиталь, узнав о расправе, ахнул в пять тысяч голосов и объявил голодовку. Уже назавтра раным-рано из столицы прилетел седобородый академик Филатов с ассистентами и тотчас пришёл в палату. При осмотре Владимир Петрович обрадовал Старовойта: «Вы будете видеть. И очень хорошо!» Эту радостную фразу — «вы будете видеть» — услышал от знаменитости 31 боец. Лишь одному солдату всемогущий Филатов не смог вернуть зрение. После третьей повязки с чудодейственной мазью перед Петром возник туманный образ медсестры. Ещё через пару недель он понял, что Филатов — настоящий кудесник. И целых тридцать лет у Петра Старовойта не было надобности в очках…

«Да, — подтверждает Тамара Николаевна, — до пятидесяти острый был глаз, — и делает деликатную попытку вернуть нас с Петром Ефимовичем в день сегодняшний: — Жду к столу. А то я уже второй раз воду для чая готовлю». «А хорошо мы с тобой жизнь прожили, а, мать?!» — утвердительно вопрошает глава семейства. «Хорошо», — эхом откликается супруга.

Пока её будущий муж бил врага, Тамара Терехова получала специальность учителя начальных классов в тихом городке Устюжно Вологодской области. Фашисты его не бомбили. Просто потому, что сверху городка не видно: угнездился в котловине и «утонул» в зелени. Студентки успевали и знания получать, и в колхозе соседнем на льняных полях работать.

После учёбы юную учительницу направили в Чагоду. В этом вологодском посёлке она три года преподавала в начальной школе. А потом вернулась к родителям — под Архангельск, в посёлок на станции Ерцево, где служил оперуполномоченным её папа Николай Савельевич. Здесь открыли новую школу. (В целом Тамара Николаевна отдала ученикам 48 лет своей жизни.) В этот же посёлок после демобилизации из армии прибыл комсомолец Пётр Старовойт. Как значилось в предписании — в воинскую часть внутренних войск МВД. Паренёк пришёлся по нраву Тамариному родителю: шустрый, ответственный. Он намекнул дочери, что был бы не прочь видеть его зятем. Петру глянулась миниатюрная красавица, да не знал он, как к ней подступиться. Тем более что на танцы и с танцев её папа сопровождал. Да и танцевать Пётр тогда не умел. «Попросить разве у Тамары Николаевны учебники для девятого класса», — размышлял паренёк. Путь к сердцу такой девушки лежал как минимум через вечернюю школу.

Вначале Пётр предложил Тамаре дружбу, а через год — руку и сердце, замуж позвал. В начале пятидесятых Пётр Ефимович учился в Ленинграде, приобрёл профессию бухгалтера-экономиста, стал главбухом части. На заслуженный отдых вышел в звании майора. В конце восьмидесятых Старовойты перебрались в Псков — поближе к дочери Любе.

Вот, пожалуй, и всё на сегодня. Я ставлю точку, Пётр Ефимович подхватывает своего коника, и мы идём на кухню, где уже вовсю пыхтит чайник.

Ах, какой у вас ароматный чай, Тамара Николаевна! И как же красива осень вашей с Петром Ефимовичем жизни! Мир вашему дому. И низкий вам поклон от всех нас, от России!

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Сошла победная весна
С небес под голос Левитана,
И это было даже странно,
Что в прошлое ушла война,
Что голод кончился, и муки,
И ожидание письма,
И слезы горькие разлуки.
А на дворе уже весна.

Хмельным дыханием сирени
Пьяна шальная голова —
Победу, словно день рожденья,
Сегодня празднует страна.
Вся улица гудит, ликует:
Объятья, поцелуи, смех,
И раненый солдат танцует,
Имея у девчат успех!

— Ну, победитель, поздравляю!
Хоть раненый, зато — живой!
Болит нога? Да знаю, знаю,
Что ты торопишься домой,
Там ждет тебя твоя невеста
И у окна старушка-мать.
В избушке завтра будет тесно:
Соседи будут поздравлять!

Камянчук Надежда Анатольевна. Родилась на Урале, в городе Ирбите. Ее стихи были опубликованы в журналах «Русское эхо», «Веси», «Зауральский край»; в поэтических сборниках «Слепое счастье», «Я подарю тебе Ирбит», «Признание в любви». Вышло два ее сборника стихов — «Ожидание весны» и «На пороге осени». Член Союза писателей РФ.

Блестят на солнышке медали
За Кенигсберг и за Берлин!
— А мы сегодня всех встречали,
А повстречался ты, один…

В руках сирень слегка примята,
И по щеке скользит слеза…

Ах, будь же навсегда проклята
Прошедшая войной гроза!

РОДИНА ВАС НЕ ЗАБУДЕТ

«Родина вас не забудет!» —
Им говорили когда-то,
Шагали на фронт солдаты
Отечество защищать,
И верили эти ребята
Светло, горячо и свято —
За землю, за друга-брата
И жизни не жаль отдать.

«Родина вас не забудет!» —
В окопах под Сталинградом
Под бомбами, как под градом,
Вчерашние пацаны:
Взрыв мимо... Взрыв где-то рядом!
И вздыбился мир снарядом
В великом сражении с гадом —
Захватчиком нашей страны.

«Родина вас не забудет!» —
В Чечне и в Афганистане
Осталась на поле брани
Ребят молодая рать.
А сколько сломанных судеб
У тех, кто был тяжко ранен!
Возможно ли было ране
Всё это предугадать?

Родина нас не забудет... —
И я у страны спросила:
За что же ты их забыла?
Ты слышишь меня иль нет?
Скажи мне, что с нами будет?
Мне это необходимо!..
А Родина мимо, мимо…
Она не даёт ответ.

И нет ни конца, ни краю —
Бредут по стране калеки,
Ненужные человеки —
Обугленные сердца.
Я знаю! Я точно знаю:
Их слёзы сольются в реки,
И памятью им навеки —
Терновые иглы венца!

МАРТ

Шумом вешним ворвался с улицы,
Растрепал, как колоду карт,
Дни мои. Невозможно хмуриться
В этот месяц весенний — март!

И, забыв про года немалые, —
Возраст всё же, ворчи не ворчи, —
Я скачу через эти талые,
Солнцем созданные ручьи!

Я вхожу в эту жизнь слепящую.
Воздух! Воздух какой! Хоть пей!
Это всё моё!
Настоящее!
Ныне
И до последних дней!

ВЕТЕРАНУ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

Поверь мне, я очень рад,
Что ты ещё жив, солдат,
Что ты ещё дышишь той,
Великой чудо-весной.

Осанка твоя — не та,
Виски уж давно в снегу…
Конечно же, неспроста
Весь мир пред тобой в долгу.

И я иногда стыжусь, Русь,
Что в братской могиле той —
Не я, а совсем другой.

И я тебе говорю
Не ради пустой красы,
Что подвиг твой повторю,
Как внук или верный сын.

Поверь мне, поверь, солдат,
Тебе я искренне рад,
И я не знаю цены
Выше Победной весны.

Мишуков Николай Михайлович. Родился в 1932 году. Член Союза композиторов России. Творческий багаж составляет около 500 названий музыкальных произведений, куда вошли хоры, романсы, инструментальные пьесы, песни, в том числе гимн Пскова (автор текста С.А. Золотцев). Имеет почетные звания «Заслуженный деятель искусств КАССР», «Заслуженный работник культуры России».

Вита Пшеничная

ПРОСТО ВЕРИТЬ…

«*Дедушка, здравствуй. Пишет тебе твоя внучка. Мне уже скоро будет восемь лет. Я хожу во второй класс. Сегодня нас принимали в октябрята, и теперь на моем школьном платье висит октябрятская звездочка…*» — примерно таким было мое первое письмо деду, пропавшему на войне без вести. Я тогда недавно приехала из сочинского санатория, где прожила полтора месяца. Одну девочку чуть ли не каждый день навещал дед — ордена весело позвякивали на его груди, на другой висели какие-то цветные планки. Всякий раз девочка, гордо проходя мимо, говорила: «Это мой дедушка приходил. Он воевал на войне и побил всех немцев! Вот!» — и показывала нам язык. Ко мне никто не приходил, потому что наша семья жила очень далеко, каждую неделю летать никаких денег не хватит. Я молча смотрела вслед девочке и завидовала. Потом уходила в свою палату, ложилась на кровать и думала. Иногда мечтала, что вот наступит утро, распахнется дверь и нянечка меня позовет вниз, потому что ко мне пришел незнакомый старенький дядя весь в орденах. То-то обзавидуются все! Но ничего такого не произошло…

«*Здорово, дед! Слушай, а ты у меня, оказывается, тот еще герой! Да, ладно, не скромничай, мне мама рассказала, как ты лихачил по юности. Молодец, наш человек! А правда, что твоя семья за те «вывихи» от тебя отказалась и что от тюрьмы тебя спасло только артиллерийское училище и моя бабушка? Ты у меня откуда-то с Алтая, из-под Бийска, вот бы знать точно, вдруг когда-нибудь занесет туда!.. Мне уже исполнился двадцать один год. Ты в мои годы ушел на войну, а я вот летаю, порхаю и плохо представляю, чего хочу…*».

Пшеничная Вита Валерьевна (Шафронская Вита). Родилась во Владивостоке. Образование высшее. Член Союза писателей РФ с 2004 года. Публикуется с 1986 года. Автор книг: «Впервые так…», «Солёная палитра», «В этой жизни…», «То, что внутри». Публикации: «Литературная Россия», «Дальний Восток», «Континент» (США), «Экспресс-Европа» (Германия), «Путник» (Украина), «Ракурс», «Настоящее время» (Латвия), «MyWayOk» (Греция), «Германия плюс», «Контакт» (Греция), «Зарубежные задворки», «Новый ренессанс» (Германия), «Венский Литератор» (Австрия) и др. Живёт в Пскове.

Впрочем, нет. Одно важное, помимо других, менее важных, дело тогда у меня все-таки наметилось. Тайком от родителей я, раздобыв адрес военного архива в Москве, послала письмо с запросом. Ответ, понятно, не пришел. Но я, не зная об этом, вовсю «готовилась к встрече». Именно готовилась — в одной из телепередач, схожих с давней «От всей души» (ох и ревела я!), прошел сюжет о том, что чьего-то отца и мужа тоже считали погибшим, а он выжил и нашелся. И я тихо поверила в сказку. Мне казалось, что не мама, а я должна рассказать деду о том, что произошло после его отправки на фронт…

«*… В 1941 году перед отъездом из Нижнеудинска, 5 сентября, ты оставил бабушке на столе записку*: «дочь — Светлана, сын — Славка». *Через семнадцать дней родилась дочь, моя мама. Хлебнули они с бабулей, будь здоров. Но выдержали. Тебе есть кем гордиться, дед. Дочь у тебя получилась — кремень, с огоньком, она и меня вытянула назло всем жутким прогнозам: смотри, — я хожу и даже бегаю, как когда-то и обещал маме старенький профессор, учитель доктора Илизарова. А у бабушки спустя шестнадцать лет родился сын — Славик. То, что от другого человека, не суди, а то разругаемся в пух и прах. Она тебя ждала верно, просто жили очень бедно и худо, надо было за кого-то держаться. Правда, тот, Матвей его звали, вскоре пропал с концами, изредка пересылая мизерные алименты. Бабушка так и доживала одна, и Славка, выросший, стал чем-то неуловимо похож на тебя (и носит родовую фамилию), вот и не верь после этого в причуды генетики. Я очень смутно, по ощущениям, помню бабулю своими пятью годами. По аромату едва испеченного в настоящей деревенской печке хлеба и парного, звонко сцеженного поутрянке в блестящее оцинкованное ведро, молока. Кажется, повей этими запахами слегка откуда-нибудь — тотчас узнаю, ребенком себя почувствую и пойду, не глядя, как на волшебный манок… А запах кедровых шишек, которые измельчают (потом пошебуршишь руками пахучую массу, ладони к лицу приложишь и вдыхаешь, пока голова не закружится!..), чтоб отсеять коричневые мелкие орешки!.. Ничего вкуснее в жизни не пробовала — зато и тянет меня до сих пор в глухоманную сибирскую деревушку под названием Укар. Почему такие странные ассоциации? — не знаю, но, может, отчасти и потому, что именно она, наша большая сибирская родня, — единственная нить, связывающая меня с бабушкой, а через неё — с далекими предками из польских шляхтичей…*».

(Один раз, гуляя по Интернету, я всё же добралась до архива Польши, разбитого на города (в какой заходить — загадка), но… — полное отсутствие знаний по грамматике в написании фамилии и хотя бы приблизительного места проживания своей взбалмошной прапрапра… Одна только примерная дата — 1860-е гг. — уже приводит в совершенное смятение — хочется забиться в уголочек своего родного и знакомого двадцатого века и радоваться, что не потерялся окончательно. В общем, увы. Впрочем, спустя ещё пару лет я освоила два CD с начальным уровнем обучения польскому языку, тут бы порадоваться, ан нет. Теперь до сайта архива не докопаться — такой вот конфуз.)

Спустя какое-то время я отправила еще одно письмо, наивно предположив, что прежнее потерялось. Но ответа тоже не дождалась. Зато из Сибири полуграмотные письма, почерка корявого и неровного, с одинаковыми до умиления ошибками, приходят до сих пор, правда, с новостями, большей частью, грустными — кто помер, кто спился, кто уехал…

Один из институтских сокурсников, работая в поисковой бригаде, свел меня с главой местной поисковой организации «След Пантеры». Там меня самым внимательным образом выслушали и сделали официальный — так больше гарантий, что не отмахнутся, — запрос в Иркутск, но у нас снова ничего не вышло. Через пару месяцев пришла казенная бумага с отказом «ввиду отсутствия точных сведений». Позже — еще две. И я оставила попытки узнать хоть что-нибудь о возможных родственниках по женской ветви и о судьбе деда.

А потом подумала, что самое верное — пусть редко, но продолжать писать ему или разговаривать с ним, будто бы он где-то очень далеко, но есть, и каждое слово или мысль непременно дойдут до адресата. И верила, что у меня получалось… Может быть, так я приучаю себя к будущим неизбежным потерям тех немногих людей, которые даже не догадываются, насколько они мне дороги и любимы мной всем сердцем, душой. Именно любимы — Господи, как же страшно говорить это вслух! И чем старше становишься, тем страшнее. Но как уютно и безмятежно молчится, когда эти люди рядом.

Дед, прости за то, что сейчас скажу, но, наверное, хорошо, что ты не дожил до этого времени. Ты ведь пытался представить, каким светлым и радующимся каждому живущему оно будет? Ты верил в лучшее. Вы все верили, иначе не победили бы.

У нас появилось много тьмы и грязи, они не обошли и меня, но давай я не буду об этом рассказывать. Не потому, что стыдно — да, стыдно, но пусть мои ошибки остаются при мне, так лучше.

Страны, за которую ты воевал, давно нет на карте, она осталась лишь в памяти тех, кто родился и вырос в ней. Зато появились такие понятия, как «неофашисты», «скинхеды», по сути, и то и другое — зло.

В 90-м в Москве, в январе и июле, так уж получилось, на постановочной абитуре моими друзьями были ребята, съехавшиеся, казалось, со всех концов земли, — Санджар, Гия, Ляззат, Эрик, Айша, Гиви, Алмат, Кияз, Абдул… Дед, за две недели общения мы настолько прониклись друг другом, что никакая мерзость не задерживалась около нас. Мы стояли друг за друга горой, помогали, утешали, плакали, ругались… Пили горькую на радостях! Знаешь, как здорово — радоваться за своих! Со многими я потом переписывалась несколько лет, мы мечтали когда-нибудь снова встретиться там же, у старой общежитской пятиэтажки…

Но эти проклятые межнациональные конфликты!.. После 95-го мы потерялись, остались письма, фотографии, короткие записи в дневнике… «Невелико наследство!» — хмыкнет кто-нибудь. Для меня оно — на вес золота.

А знаешь, с чего начиналась моя юность? С повального дефицита всего и вся, с огромных беспросветных очередей, сплошь состоявших из людей с угрюмыми, тяжёлыми лицами (попробуй-ка схитри, просочись! — сотрут в пыль на месте, чтоб другим не повадно было). Продукты, хозтовары и спиртное выдавали строго по талонам. А спиртного нам надо было не то чтобы много, но... Выцаганишь за двойную цену всеми правдами и неправдами у знакомых пару бутылок портвейна «777» или водки и, пока предки на даче, — в отрыв! Врубишь во всю мощь колонок «Баньку» да под огурчики с картошкой!.. Душа пьянела не столько от градусов, сколько от хриплого: «*Угорю я, и м-мне, угорел-ло-му-у, пар горячий р-развяже-ет язы-ык!..*» А наши языки развязывались Булгаковым, Солженицыным, Гумилевым, Платоновым, Мандельштамом… (Гумилева и Мандельштама мне посчастливилось читать в 1987 году у музейной дамы, приютившей меня на несколько ночей в Смоленске. Лежа на полу, в полутьме, я, затаив дыхание, листала ветхие издания начала прошлого века с ятями и ерями, попутно делая записи в дневнике.)

Обсуждая стихи и книги, мы трезвели, пьянели, снова трезвели, не глядя на часы. До тех пор, пока какой-нибудь обезумевший от переизбыт-

ка децибел сосед не начинал колотить в дверь моей квартиры, срываясь на отборный мат… Мы делали звук потише, но ненадолго. Ну скажи, как можно слушать и сейчас мною любимую «The Show Must Go On» или «Still Loving You», песни Виктора Цоя, Игоря Талькова — вполуха, шепотом?! Как? Нет, нам надо было нервы с жилами мощным звуком рвать и смелеть, чтоб ничего не бояться. Мы, моё припозднившееся поколение, «прозевали» подполье «Голоса Америки» и слепые перепечатки «Чонкина», «Одного дня Ивана Денисовича», стихов Бродского и многих, многих ныне известных книг и авторов. Упущенное мы наверстывали жадно, хищно, порой наивно присваивая себе единоличное право на «открытие» того или иного произведения или имени. В моих приятелях, а потом и друзьях всегда были люди старше на 15—20 лет, и это воспринималось нормально и естественно. Почему? Не знаю. Меня никогда не оставляло ощущение того, что я припозднилась, с ровесниками мне и сейчас не о чем говорить, я не умею полноценно общаться с ними, так, по мелочам обывательского толка, не более…

Что еще было в моей юности? Сторожевание Дома культуры, где в мои дежурства по ночам наши мальчики с «видеосалона» развлекались с местными проститутками — Таней и Юлей (я потом с ними познакомилась — память о «Маленькой Вере» ещё не остыла, да и любопытно было узнать, что за птахи такие?). Безобидные, не наглые, надо сказать, девчонки лет семнадцати, «радовались» жизни за пару новых колготок и жратву с коньяком (дефицит всего). В первые ночные дежурства я тоже общалась (в меру, дед, в меру) с мальчиками — куражилась, потом надоело. В пять утра меня, мирно спавшую в гардеробе на изъеденном молью, поломанном кресле, будили, я выпроваживала веселую компанию на улицу и снова закрывалась на все замки — в полшестого приходили уборщицы. В «тихие» ночи я спускалась в один из нижних кабинетов и стучала на печатной машинке (по моей, древней, давно плакала помойка).

Сейчас все наши забавы представляются безобидными выкрутасами постпубертатных щенков, так оно и было. Взрослели мы стремительно, едва ли успевая оценивать и круто меняющиеся декорации жизни, и внутренние, порой разрушительные метаморфозы. И очень часто «начинка» не совпадала с тем, что мы видели, хотели видеть и что было на самом деле. Отсюда и наша замкнутость, и наша жестокость, и категорическая непереносимость лжи. Ни в чем, ни в ком. Знаешь, что самое трудное, дед? Видеть, что человек обманывает тебя, и делать вид, что веришь; когда в голове пульсирует одна жуткая мысль, что вот это — крах, ещё одно

разочарование, ещё одна нелепейшая, бездарная потеря, по которой не бывает слёз, боли, разве только рукой махнёшь. Почему люди забывают о том, что по глазам можно прочесть если не всё, то очень многое, порой самое сокровенное?..

Почему-то отчётливо запомнилось, как однажды, давно уже, в автобусе кондукторша кричала на старика-грузина (медали почти скрывал изношенный плащ), — у него не оказалось денег на билет. Я думала, она его просто вытолкает из салона на очередной остановке и уже потянулась в карман за деньгами, но меня опередил мужчина. Он заплатил за старика и тихо сказал: «Прости, отец». Дед, я видела в глазах ветерана слезы, хоть он и отвернулся к окну. Мне было стыдно за себя, за время, в котором я живу, и жаль тебя.

Случалось и такое: на улице меня (а после и других людей) останавливал худющий, одетый в обноски (зима ли, лето, без разницы) ребенок и просил «дать денег». Всё текло по одному «сценарию». Я предлагала: «Пойдем, куплю тебе немного еды». «Нет, — раздавалось в ответ. — Мамка (папка) пьяная, опять бить будет, лучше деньгами…» Денег я не давала. Не потому, что жалко. Да ты же понимаешь, почему…

В марте двухтысячного я вспоминала о тебе еще чаще. Что в тот день вывело меня в город? Я тогда сидела без работы (кухня-стирка-полы до смерти надоели), но вот сорвалась, поехала в центр. Автобус перед площадью Ленина остановили гаишники, двери открыли, и я пошла пешком через дорогу, светофоры не работали, народу — уйма. Я не сразу поняла, в чем дело, стала оглядываться вокруг… И в какое-то мгновение лишилась слуха, мир словно накрылся огромным прозрачным коконом, утратив свои обычные звуки, шумы… Лучше бы было остаться дома!.. — мимо меня, совсем близко прошли строем военные, между ними на машинах медленно (страшно медленно) провезли, кажется, двенадцать обтянутых красным материалом гробов с телами наших ребят, погибших в Чечне (наша 6-я рота). Не знаю, как не порвалось моё сердце… Тогда я впервые «вживую» поняла, что значит «сердце кровью обливается», — моё же обливалось болью. Многим из погибших не исполнилось и двадцати лет, некоторые не то что детей народить, они и женщин, наверное, не познали, не налюбились… Вообще — ни-че-го, понимаешь?.. На митингах говорили, в газетах писали: долг, Отечество, героизм, «мы гордимся»…

Дед, я многого не понимаю, смогу ли когда-нибудь понять это?!.

Как называть Отечеством страну, в которой режим и «государева» воля под соусом патриотизма — Афган, теперь Чечня, которая будет кровоточить постоянно, затихая и взрываясь с новой силой, — посылают на смерть вчерашних мальчиков (наших братьев, любимых, друзей)?.. Страну, в которой наизнанку переписывается История — твоя история, дед. Страну, в которой и сейчас от голода и нищеты мрут старики, твои ровесники. Где детские дома переполнены покалеченными если не телом, так душой, детьми, — почему их не становится меньше?.. Почему в некогда великой державе, которую я называю Родиной, родное забивается чужим, обедняя нашу культуру, дух, язык?!. В нас десятилетиями микродозами насильно впрыскивают инородное сознание, понимание жизни, самих себя в ней…

И *этим* «мы гордимся»?!.

Я знаю, что это уныние, но мне и вправду не интересно это время, понимаешь? Может, поэтому я ограничила себя в общении и лишь по необходимости выхожу из дома…

Наверное, за мной повторят многие, лишенные нормальных отношений в семье, но с родителями у нас не получилось ни доверительного, ни равного общения. Бытового (отцовского) занудства я не терплю; гиперопека бедной моей мамы отдалила нас однажды и навсегда. Ребенку, подростку и выросшей, мне вполне хватало книг и кумиров. Портреты последних заполняли всё моё «личное пространство» постепенно, начиная с 11 лет. Стены моей дальней комнаты «хрущевки» были увешаны фотографиями из газет, журналов — Даль, Дассен, Асанова, Тарковский, Высоцкий, Шепитько, Миронов… Позже — Тальков. Мама, изредка заходя в мою комнату, старалась быстрее уйти и каждый раз говорила: «Жуть какая. Как можно жить здесь? Сплошные покойники…» Я же чувствовала себя спокойно, более того, мне казалось, они защищают меня, сберегают, «не пускают» в меня Зло. И до сих пор я верю, что так и было, потому что так — есть и сейчас. И имена тех людей, их лица — в моей памяти, в сердце, и я не могу избавиться от мысли, что они-то по-настоящему и вылепили мою душу. И остались в ней, время от времени проявляясь с новой силой и помогая, выравнивая, поднимая меня, упавшую или разуверившуюся в чём-нибудь главном.

Наверное, всегда я с благодарностью буду вспоминать время учебы в училище культуры. Именно там я наконец осмелилась говорить о своём потаённом, насущном словами моих любимых авторов или героев их книг. Всё началось с монолога Маргариты Мастеру (помнишь — «Слушай беззвучие…»?), — шутка ли, но именно его я читала при поступлении, внутренне купаясь в каком-то дивном свете. Я ещё не знала, что это — Гармония, редкая, счастливая возможность быть в ладу с собою. Интуитивно я стремилась к этому ощущению, позже выбрав для зачёта горький стих Галича «Памяти Пастернака». Немалых трудов мне стоило уговорить куратора нашей группы разрешить читать «мужской» монолог Павла Фарятьева — любимоё моё моно, записанное с телевизора на старенькую аудиокассету. После сдачи экзамена по сценической речи мне предложили прочесть его на выпускном вечере… Дед, какое же это счастье — ничего не боясь, не стесняясь, говорить людям то, чем ты пропитан насквозь… То, без чего тебя уже не может быть, ибо это уже будешь не ты — другой человек. А глаза незнакомых людей, обращённые на тебя?.. Такое чувство, что с меня, вернее, с того, о чем говорю, они, сами того не понимая, «считывали» какую-то важную для собственного будущего информацию… Или мне показалось? В те минуты я впервые познала объединяющую и созидающую силу Слова, способную и породнить, и исцелить, и открыть Знание. Нужно только верить, просто верить, прежде всего, себе и в себя. Тогда всё получится...

«*Ну вот, дедуль, дождались мы! Твоя правнучка впервые произнесла это волшебное слово «деть», чуть смягчив последнюю букву, как если бы она была с мягким знаком на конце. Ждали всей семьей больше года: «мама», «папа», «баба» дались быстро, а моему отцу — пришлось потерпеть. Но как он «поплыл…» — надо было видеть его гордый и одновременно растерянный взгляд!.. Вот уж диво дивное — монумент дал течь, и на мгновение проступили черты мальчика — беззащитного, затюканного сверстниками детдомовского пацана, от которого отказалась мать! Ведь он, хоть и взяла потом его на воспитание родная тётя, так и живет в горькой обиде на всех женщин, выплёскивая её на нас, близких, — и ничем её не вытравить, не избыть ничем… В нём есть доброе начало, но оно так слабо, так беспомощно, что мгновенно меркнет перед злобой и непрощением. Впрочем, сейчас, постарев, он стал таким беззащитным, что сердце моё сжимается при мысли, как же многого мы лишили друг друга из-за собственной глупости ли, упрямства, слепоты душевной…*

Ой-ёй, дедуля, прости, я же не сказала главного — твою правнучку звать Анной, Анночкой, мама говорила, что ты бабулю так ласково называл. Ну вот, любуйся. Я на неё смотрю иногда со стороны и думаю, как же здорово, что мой ребенок рождён от любви, даже такой сумасшедшей, какая была у меня…»

…С рождения дочери к своему отцу я обращаюсь не иначе как «дед». Первое время аж глаза хотелось зажмурить от удовольствия и прижаться к нему, нараспев пробуя незнакомое: «де-е-ед». Прижаться не получилось, дичком как выросла, так и осталась. Знаешь, какие баталии у меня с ним шли?!. Хорошо, что не знаешь. Он, видите ли, сына хотел, а получил меня. В общем, коса на камень нашла, да так и затупилась в постоянных придирках. Я отлично знаю, что такое «отец», но что такое «папа», какой он? — только предположения и мечты… Дураки мы, дураки оба: поставь нас перед зеркалом — одно лицо, жесты. Мама вечно причитает: «Ёшкин свет, как же вы похожи, где ж моё-то?» Теперь я ей всегда указываю на внучку: «Вот, твоя точная копия!» А потом сама думаю, глядя уже на них: «Как же похожи! Где ж моё-то?..»

Дедуль, ты не переживай, я на твою Анночку больше похожу, фотография её сохранилась, только пожелтела совсем. Я все старые снимки забрала у мамы, вдруг затеряет, она стала такая рассеянная.

Уже начало марта, и скоро День Победы. Каждый год 9 мая мы ходим на могилу дяди отца Николая Жуковского — на Аллею Героев в городском парке, — больше-то не к кому, а так вроде и поминаем вас всех. Ветеранов становится все меньше и меньше. Лет пять назад дочка взахлеб рассказывала, как подарила цветы незнакомой бабушке — «вся в медалях и прямоугольнички такие цветные слева…». Видел бы ты, как у нее горели глаза… В тот же день в Детском парке мы встретили её одноклассницу с прадедом. Девочка остановилась и сказало гордо: «Это мой прадедушка. Он воевал на войне…» Узнаёшь? Я так и растерялась на месте от такого совпадения. Как же расстроилась Анюта!.. Ей не хватает тебя, слышишь? История повторяется, дед.

Знаешь, когда кто-нибудь начинает говорить «*вот было время…*» и пускается в воспоминания о прекрасном, чистом прошлом, а потом начинает ругать наше поколение, обвиняя в равнодушии, грубости, черствости, у меня плохо получается смолчать. Да, мы выросли более злыми

и жестокими, порой циничными, но это все маски. Маски, за которыми прячутся от еще более жестокого, злого и циничного мира. Мира, в котором самые лучшие чувства могут быть осмеяны, растоптаны. В котором романтиков презрительно называют «ботаниками» и показательно вышвыривают «за борт», — что с них взять-то? Мир, где «светлое будущее» без достатка — позорный пережиток, чушь…

Некоторые несчастные заигрываются, маски срастаются с кожей, и от человека не остаётся и следа…

Но не всё так ужасно, дед. Да, мы разучились держаться вместе, мы раскиданы поодиночке в блочных квартирках с никудышней звукоизоляцией и обманчиво самодостаточны. Мы как бездомные котята, позови таких — они головы чуть повернут, шагни ближе — они врассыпную, в родную безобидную темень подвалов. А нас даже не окликает никто, и случись беда — некому обнять и защитить. Мы учимся сами себя защищать. Мы стремимся чаще обнимать своих детей, надеясь от них «дополучить» тепла, которым были обделены в собственном детстве. Нам приходится самим искать или придумывать «идею», за которую можно было бы держаться, как за соломинку, и жить, всё-таки жить… Мы привыкли быть в одиночестве, там, где собирается больше двух человек, чувствуем себя потерянными и лишними, нам неуютно и хочется поскорей уйти. Мы привыкли быть в одиночестве, но всегда готовы довериться тому, кто разглядит нас и поверит нам. Я знаю это чудо, дед. Такая сила просыпается внутри, такой свет яркий, которых, кажется, хватит на всё-всё, даже на огромный Мир!.. И тогда снова верится, что жизнь не так ужасна, что мы обязательно справимся с наростами порока и не-чести, словоблудия и фальши. Что Будущее неизменно ясно и чисто и в нём никто и никогда не испытает на себе страх ни за убого доживающих свой век стариков, ни за своих детей — рожденных и не рожденных. Ничего, что мы не знаем, когда это случится, может, нам и не нужно знать, достаточно просто верить, иначе мы сойдём с ума.

Я — верю.

P.S.

Мой дед, Сафонов Иван Иванович, как выяснилось в мае 2014 года, всё же выжил тогда, в 1943-м, после битвы на Днепре, но, судя по документу, был очень тяжело ранен. Приказом от 22 января 1944 года он был

награжден медалью «За отвагу». Я, благодаря помощи администрации Бийска, переславшей архивную справку из Подольска (на прямой наш запрос, посланный «на ура» позже, так никто и не ответил), армавирских СМИ, байконурцев и обычных, совершенно незнакомых людей, нашла его сына, возможно, своего родного дядю (теперь так и придётся добавлять — «возможно»). Но мне так и не удалось убедить ни его, ни его родных — жену, сына и дочь — в том, что всё, что мне нужно, это только знать, не ошиблась ли я.

Почему-то я уверена, что не ошиблась, — таких совпадений не бывает: то же село, тот же район, область… И на снимках они так похожи — моя молодая мама, дед и даже его 62-летний сын…

Мне жаль, что столько лет поисков закончились бездарно и нелепо, что от меня поспешили отказаться, не поверив ни слову. Телефон дяди, проживающего в Москве, всё ещё забит в моем мобильнике, но звонить по нему больше нет смысла.

Дед дошел до Праги, после войны преподавал черчение, и те несколько бывших его учениц, еще живая 83-летняя учительница 19-й школы г. Армавира, с которыми мне удалось связаться, вспоминали о нем с благодарностью, потому что у него получилось стать настоящим учителем. Он похоронен в 1978 году (Боже ж мой, я могла же хоть чуток узнать его, пока он был жив!) на Байконуре, там, где выпало служить его сыну, и я не смогу добраться туда, как мечтала мама, чтобы привезти горсть земли с его могилы… Но это ведь не главное, верно?

Про второго деда, украинца по национальности, мне не удалось ничего выяснить, кроме его отчества (зато у отца теперь есть официальное свидетельство о рождении — спасибо загсу г. Пермь) и того, что он действительно геройски погиб в первое же лето войны.

Что ж… Жизнь продолжается и будет продолжаться дальше. И в ней всё, что требуется от нас, — научиться крепко держаться друг за дружку. И не отталкивать, а беречь, беречь то, что есть.

Только так — выдюжим…

22 ИЮНЯ 1941 ГОДА

День Всех Святых был тихий и воскресный,
И Всех Святых Русь славила, как встарь...
Но *асы* — духи злобы поднебесной —
Рунический листали календарь.
Их выбор пал на день солнцестоянья:
Солярный крест на танковой броне,
На крыльях птиц железных — заклинанья...
В День Всех Святых вся Родина в огне!
Во Имя Пресвятое и Господне
Об этом вспоминаю я сегодня,
В День Всех Святых...
Как в чарах наважденья,
Шел грозный враг на Православный Дом,
Столицы русской ожидал паденья,
На Петербург шел, на казачий Дон.
Врывался в сон священного Цхинвала —
Нордических героев пробудить...
Но не Валгалла, Русь моя вставала,
Крестом прорвав магическую нить.
Молитвою, соборной и воскресной,
Гнала она тьмы духов поднебесной.
Черных свастик боле не страшилась,
И вой *валькирий* колокол глушил...
В День Всех Святых нездешнее вершилось
И зачиналось житие души —

Скатова Людмила Анатольевна. Родилась в 1960 году в Великих Луках. Поэтесса, член Союза писателей РФ. Является главным редактором еженедельника «Великолукское обозрение». В 1996 году вышел первый сборник — «Ностальгия», затем — «Кассандра» (1998), «Лира на ветру» (1999), «Пепел и Ветер» (2001). В 2003 году в православном издательстве «Сатисъ» (Санкт-Петербург) вышел пятый сборник — «Русский венец», в 2005-м — «Крест Цветущий».

Всерусской, ставшей Богу малой жертвой,
Ни *красной,* ни *коричневой* — бессмертной!

* * *

Перед чем мы так благоговеем?
Неужели в битве под Москвою
Наши деды бились за *Диснея*
С Эльбы к нам с пришедшею ордою?
Наши деды... Вы за Русь распяты!
Не безродны. Внуки — ротозеи.
Нравятся чужие им солдаты
И «Кресты железные» в музеях.
Наши деды... Сколько вам досталось:
Пули, лагеря, бросок над бездной,
Эта неотмирная усталость,
Эта благороднейшая бедность.
Спор решался в Небе над Москвою.
Под Москвой не снег клубился — ладан.
И чужой солдат смотрел с тоскою,
Задыхаясь русским снегопадом.
Серебрились ивы и березы,
Багровели звезды в стылом небе,
Смертоносные летели розы
К тем, кто наш восток приял как жребий.
К тем, кто задыхался в снежной сече,
Дева выходила, ликом свята,
А в руках рубиновые свечи...
Наши деды! Это — до распада!
Это — до глумленья — отступленья,
До — Берлина и до пошлых оргий.
Огненные слезы ослепленья
Не забудет наш Святой Георгий!
Возвратит он белый крестик славы:
В красном поле золоченый ратник.
Если воспарил Орел Двуглавый,
Значит, будет венценосный всадник.

* * *

Вы меня полюбили за скорбную музу мою
И за то, что пою там, где были окопы и битвы...
Знать дано мне, наверно, как павшие в небе поют,
Посылая и мне отголоски заветной молитвы.
Это милость Господня, Его попеченья печать,
Это благо и честь — прикоснуться к нездешним святыням,
Не гордыня, не дерзость, ведь в сердце сошла благодать,
Это дух теплоты, попирающий холод гордыни.
Дух воителей славных, взыскующих немощь мою!..
Дух витает, храня, не бряцает тяжелым оружьем,
Чтоб дышалось вольней на земле, в духоносном краю,
Средь седых валунов и гвоздики сиреневых кружев.
Светлой музе моей мессианская юность дана,
Древнерусская мудрость, впитавшая сок Цареграда.
В ореоле хоругвей ее подступает весна,
Жив молитвенный стих посреди мирового распада.

НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ

В списках убитых, раненых,
пропавших без вести не значится.

У древних стен Московского Кремля
Могила неизвестного солдата.
Я шел к ней накануне Октября,
И память вновь перебирала даты.

А факел багровел, метался, рос,
Как прежде, в сорок первом,
сорок пятом,
И вновь пахнуло кровью, как когда-то,
И на губах остался привкус слез.

Какая боль нужна, чтоб выжать стон,
Какое горе, чтобы слезы выжать,
Когда железо рвется, как картон,
И жизни
смерть возможнее и ближе.

Тогда, меж отступлений и атак,
Тогда, под лай зловещий автомата,
Безусый парень сделал первый шаг
К могиле неизвестного солдата.

Он не исчез в пороховом дыму,
Средь миллионов преданных Отчизне —
Он жизнь свою отдал во имя жизни,
И жизнью мы обязаны ему.

Гринберг Георгий Михайлович. Родился в 1929 году. С 1941 по 1944 год был в эвакуации в Сибири. В 1953 году окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта. С 1961 по 2000 год жил в г. Алма-Ата. В 2000 году переехал в Псков. Автор книг стихов «Я вновь судьбу благодарю» и «Я так вижу».

ВЕТЕРАНАМ

Снаряды тупо землю рыли,
О смерти спорили штыки,
Вы, умирая, жизнь творили,
Вы жили смерти вопреки.
Вы уходили в путь неблизкий
Кто на года, кто навсегда,
И вырастали обелиски
В освобожденных городах.

Как прежде, ноют ваши раны,
Но скуп и скромен ваш рассказ.
Войны Великой ветераны,
Мы узнаем по шрамам вас.
Мы узнаем вас по наградам,
Свинцом припаянным к груди.
С вас гарь пожарищ и снарядов
Не смыли мирные дожди.

Давно распаханы воронки,
Окопы скрылись под травой,
Поют беспечные девчонки
На полосе прифронтовой.
Пылают тихие закаты,
Спокоен труд, спокоен сон.
За ратный подвиг вам, солдаты,
Земной поклон, земной поклон!

* * *

На смерть Н. Ф. Лотника
(подполковник, артиллерист)

Нелегок труд, и тяжела дорога,
Четвертый год не слышим тишины.
Мы верили в себя, как верят в Бога,
И не подвел нас грозный «бог войны».

Нас не сломить ни страху, ни недугу.
Такая ясность в ярости атак.
Мы рядом ощущали локоть друга
И точно знали, там, за рощей враг.

Салют Победы вспыхнул в поле чистом,
Я сорок лет, как рядовой, в строю.
Всю жизнь борца и совесть коммуниста
Я Родине и людям отдаю.
Незримый враг подкрался — как, не знаю —
И подкосил... Но не об этом речь...
Я нынче вас, живые, заклинаю
Любить страну и честь свою беречь.

Юрий Орлов

ДОРОГА В НЕВОЛЮ

Хорошо помню холодный январь 43-го года. Длинный и широкий перрон островского вокзала до отказа забит людьми. Женщин и детей собрали на станции для отправки в Германию, — немцам была нужна бесплатная рабочая сила. Несчастные люди мёрзли в ожидании своей горькой участи.

Стоял невообразимый шум. Подавая гудки, сновал туда-сюда манёвренный паровоз. Он перегонял вагоны, подготавливая новый состав. Слышался металлический лязг и какой-то грохот. Где-то шумела вода. Из общего гула временами вырывались причитания женщин и плач детей. Большие немецкие собаки, рвущиеся с поводков, злобно лаяли на людей.

В многочисленной толпе находилась и моя семья. Мама очень боялась, как бы немцы не разлучили её с детьми.

— Только от меня никуда не отходите, — твердила она тревожно. — Вместе мы выживем.

Я стоял, вцепившись в мамину руку, и прислушивался к шуму. Все со страхом ждали своей участи.

Наконец подогнали состав. Немцы стали загонять людей в вагоны небольшими группами.

— Шнель! Шнель, руссишен швайн! — резала слух отрывистая немецкая речь.

Фашисты не считали нас за людей, и будущее ничего хорошего нам не сулило.

Меня с мамой, братом и сёстрами затолкали в один вагон. В нём было холодно и темно. Только в щели и пробоины от осколков снарядов и пуль пробивался слабый свет. Ни у кого не осталось сомнения, что теперь уже точно увезут. Только куда? В Германию или Прибалтику?

Орлов Юрий Федорович. Родился 16 ноября 1935 г. в д. Дубок Островского района Псковской области. Образование высшее. Член Союза художников России. Опубликованы три сборника прозы. Живёт в Пскове.

Прозвучал гудок паровоза. Поезд дёрнулся и медленно тронулся в сторону железнодорожного моста. Всё. Пути назад нет. Заголосили женщины, расплакались дети. Чувство безысходности поселилось в наших душах. Под стук колёс каждый думал о своём, но уже никто не надеялся на спасение. Я вспоминал светлые и счастливые дни мирной жизни, родительский дом и своих верных друзей.

Прильнув к дырочке, смотрел на проплывающие леса и поля. И размышлял: не появились бы внезапно передовые немецкие части на Бариновой горе или Петя (старший брат) с товарищами пришёл бы пораньше назначенного времени, чтобы забрать нас в лес, были бы мы сейчас в третьей партизанской бригаде. Стечение обстоятельств, и уже ничего нельзя изменить…

Ехали весь день. Состав двигался медленно, пропуская на каждом полустанке встречные поезда, идущие в сторону Пскова и Ленинграда.

К вечеру мы прибыли на какую-то большую станцию. Залязгали засовы. Раздалась команда: «Выходи». Открыли и наш вагон. Люди с опаской слезали на платформу. Что ещё приготовила судьба?

Наш вагон, как и остальные, был плотно оцеплен фашистами. При них — собаки. Злобные псы скалили зубы. Робкая надежда на то, что удастся бежать, сразу рухнула. В такой ситуации мечтать о побеге?! Когда вагоны опустели, людей построили колоннами и повели в сторону леса. Там виднелись бараки, раскрашенные пятнами для маскировки. Это был немецкий распределительный лагерь.

К нашему счастью, в бараке, куда нас поместили, имелось две буржуйки. Женщины не мешкая затопили печки. Все очень замёрзли. Надо было согреться.

От быстро нагревающихся буржуек по бараку пошёл тёплый дух. Потянуло в сон.

А наутро началась проверка по спискам и сортировка семей. Более крепкие отбирались для отправки в Германию, семьи с маленькими детьми — в Прибалтику. И снова всех погнали на станцию.

На путях стояли составы. С грохотом за нами закрылись двери, и мы очутились в кромешной темноте. Я прижался к маме. Она меня обняла.

— Ничего, сынок! Главное — мы вместе. Выживем.

И мы выжили…

ЭХО ВОЙНЫ

Окончилась война. И земля повсюду была напичкана необезвреженными минами, бомбами, снарядами. Немцы оставили скрытые мины в детских игрушках, ручках, самоварах и других привлекательных вещицах. На коварные немецкие ловушки попадались дети. До военных «игрушек» были особенно охочи мальчишки. Шныряя по кустам и полям, искали мы винтовки, пистолеты, наганы. При находке очередного трофея устраивали соревнования. Хорошо палили, метко. Стрелять умели все. У каждого пацана в карманах всегда имелся запас патронов.

Много подобного оружия перетаскал домой и я. Старшая сестра Саша находила мои тайники и всё сдавала в сельсовет. Я упрямо прятал, а она упорно отнимала. Ох и доставалось мне от неё! Мама никогда не била меня, зато Саша запросто могла влепить затрещину.

— Учительница называется, — кипела в таком случае во мне обида. — Дерётся, как мальчишка.

Я понимал, что сестра хотела уберечь меня от возможных неприятностей, но всё равно злился. А что бы было, если бы Саша увидела меня со снарядом в руках?

В компании сверстников я был самым крепким, поэтому мне доставалась главная роль. Ребята поднимали найденный снаряд и клали на моё плечо. А я его бил о камень тем местом, где соединялась головка с гильзой. Расшатанную головку вытаскивали и доставали порох в виде квадратиков, макаронин и просто в мешочках. Добытое вещество бросали в костёр. Получался отличный фейерверк. Нам нравилось. А я так умудрился однажды бросить порох в домашнюю печь на горящие дрова, что чуть не навлёк беду.

Много было мною раскурочено снарядов, но ни один не взорвался. Однако не всем так везло. Роковая случайность отняла у меня друга. И произошло это на моих глазах. Такое никогда не забудешь…

Как-то, по настойчивой просьбе отца, желавшего вернуться в родные места, мама и я отправились пешком в Дубок. С первыми лучами солнца мы вышли из Родового. Впереди предстоял долгий путь. Мы шли и радовались мирной жизни. На голубом небе — ни облачка. К обеду стало парить. Разморённые дневной жарой, сбавили шаг.

Перед Островом небо нахмурилось, поплыли тяжёлые чёрные тучи. Вдали засверкала молния. Немного погодя раздались оглушительные раскаты грома. Налетел порывистый ветер, зашумели деревья, раскачи-

ваясь из стороны в сторону. Началась гроза. Хлынул проливной дождь. До Городища оставалось недалеко. И мы благополучно дошли до посёлка. Переночевав у знакомых, на следующий день снова продолжили путь. Места наши были неузнаваемы. Земля, изрытая снарядами, и пепелища — вот что видели наши глаза. Подойдя к Дубку, мы с ужасом поняли — деревни больше не существовало. Люди жили в землянках. Печные трубы, выведенные на поверхность, выглядели удручающе.

Обитатели временных пристанищ внимательно разглядывали пришельцев. Узнавая нас, вылезали наружу и радостно приветствовали. Кто-то предупредил, что наши землянки (построенные во время войны) ещё не разминированы, поэтому заходить в них нельзя.

Осмотрев всё вокруг, решили заглянуть к тёте Мане — бывшей соседке. Вова, с которым когда-то «пекли блины», был её младшим сыном. Я уже знал, что мой друг жив, здоров. И хотел поскорее его увидеть. Как мы обрадовались встрече! Перебивая друг друга, стали вспоминать совместные игры. От души смеясь над своими проделками. Маленькие были тогда и глупые. А сейчас чувствовали себя большими пацанами. Нам шёл уже десятый год.

Мамы, поглядывая на нас, заговорили о жизни. Вокруг заброшенные исковерканные поля. Землю приходилось копать лопатами, — не было ни техники, ни лошадей. Картошку сажали глазками. Не осталось никакого скота: ни овец, ни коров. Люди изворачивались, как могли, приспосабливаясь к новой жизни.

Взрослые разговоры не очень нас интересовали, поэтому я с Вовой отправился бродить по заветным местам. Он спешил показать мне свои владения, где ещё было много боеприпасов. Когда подошли к прудам, я раскрыл рот от удивления. Снаряды большого и малого калибра лежали в ящиках прямо на земле.

Семья друга слыла мастеровой. Посуда, вёдра, рукомойники и многое другое делалось их руками. Вовка, подражая отцу, в карманах всегда носил ключи, пассатижи, какие-то железяки. Поэтому меня не удивило, когда друг уселся на земле, положил миномётный снаряд между ног, достал из штанов инструмент и ловкими, уверенными движениями стал выкручивать головку. Было видно, что он знаток в этом деле. Вова достал белый взрыватель и принялся с увлечением за другой снаряд. Поскольку подобными вещами я и сам занимался, то пошёл вдоль прудка к тому месту, где два года назад бросали серебряные монеты. Отойдя метров на пятьдесят, вдруг услышал взрыв и почувствовал леденящий холод. Рез-

ко повернув голову, увидел, как вверх взметнулся чёрный столб земли с какими-то лохмотьями. Это произошло так неожиданно, что голова моя была не способна сообразить, что случилось. Со всех ног я понёсся назад. На месте, где недавно сидел друг, зияла большая воронка. Я не знал, что делать. От ужаса меня затрясло. Плохо различая от слёз дорогу, побежал к взрослым.

Женщины, услышав взрыв, стояли на верху землянки и тревожно смотрели по сторонам. Тётя Маня, увидев меня одного, сразу всё поняла и упала без чувств. Сбежались люди. Плач женщин перешёл в душераздирающий стон. Я сознавал, что Вовы больше нет, но верить в случившееся не хотелось.

После похорон мы вернулись в Родовое. Мама категорически отказалась переезжать в Дубок. Я же, потрясённый гибелью друга, к снарядам больше не прикасался.

СОЛДАТСКАЯ ЛОЖКА

Сижу на даче за столом,
Смотрю рассеянно в окошко,
А на столе горбится том
Лишь алюминиевая ложка.

В ней не штампованный излом
Потребы массовой избитый,
А утилизированный лом,
В солдатской кузнице отлитый.

Она надёжна и крепка,
Ну как сапёрная лопата,
Вверху, затёртая слегка,
Ножом начертанная дата.

И монограмма М.Г.М.,
То монограмма, знать, солдата.
Сижу и думаю над тем:
Так кто же здесь погиб когда-то?

Я эту ложку откопал,
Когда убрал пенёк от ели.
От местных как-то я слыхал:
Бои здесь страшные гремели.

В 44-м шли на Псков
Полки Стрелковой и Кузбасской.
Немало сложено голов
В солдатских здесь пробитых касках.

Даньков Анатолий Михайлович. Родился 4 января 1942 года в городе Агрызе, Татарская АССР. Окончил военное ракетное училище, академию им. А.Ф. Можайского в г. Ленинграде, академию им. Ф.Э. Дзержинского в г. Москве. Начал писать стихи с 1957 года. Живёт в Пскове.

Рождён был я в 42-м,
42-й на этой ложке.
Её хозяин в году том
Пошёл по воинской дорожке.

И он погиб, а я живу.
Он передал мне эстафету.
И как реликвию приму
Его подарок — ложку эту.

И завещая детям всё,
Им накажу при акте этом
Считать, условие моё,
Её фамильным амулетом.

ПОСВЯЩАЕТСЯ 6-й РОТЕ

Десять лет как прошло, но порою,
Память коль растревожу свою,
Застарелою раной заноет
Сердце вдруг о погибших в бою.

Большинству из них было по двадцать,
Даже первой любви не познав,
Шли они за Россию сражаться
И погибли, бессмертными став.

Честь и совесть свою не продали,
Поддержали тем славу отцов,
И седыми их матери стали,
Не дождавшись любимых сынов.

Слава вечная павшим героям.
Наш поклон матерям их, отцам.
И в сердцах мы с любовью построим
В честь их скорбный и памятный храм.

Александр Березов

ВЕЧНЫЙ СОЛДАТ

Я спал как убитый,
Когда замолкли все пушки.
Умытый росою,
Занимался новый рассвет.
Я не слышал «УРА!» —
У рейхстага,
Не слышал салюта хлопушки —
Я лежал, и я спал
Впервые за эти пять лет.
Слышал я, как вздыхает земля,
Вынимая осколки.
Слышал я миллионы
Зарытых в неё голосов.
Видел я реки крови,
Кричащие без умолку.
Видел маски чертей,
Крутящих своё колесо.

Я бежал —
И я полз
В рвущей жилы и душу атаке,
И в стотысячный раз
Падал рядом
Простреленный друг.

Березов Александр Григорьевич. Родился в 1964 году в д. Гавры Пыталовского района Псковской области. В 1986 году окончил факультет иностранных языков ПГПИ им. Кирова. Печатался в местных периодических изданиях, «Учительской газете», альманахе «Скобари». Изданы книги стихов «Дорога В Приют Богов» и «Между светом и тьмой». Живёт в г. Пыталово.

Я лежал в полосатом халате
В обнимку со смертью
В бараке
И смотрел на забор из колючки,
Как на средство от мук.

Я во сне бормотал —
Матерясь, звал к себе
Медсестричку;
Конвоира просил пристрелить —
Так и так мне хана...
И, как новорождённый,
Начинал себя с чистой странички,
Когда без меня задыхалась
И гибла страна.

Я спал как убитый.
Без меня отгремели парады.
Я посплю ещё час.
Пробужусь.
Встану смирно в строю.
Я вернусь.
Мы всего лишь солдаты.
Мы удержим рубеж.
Мы вечно на самом краю.

РОВЕСНИК ПОБЕДЫ

Я мир узнал, не зная той войны,
Родившийся в далёком сорок пятом,
Я стал ровесником победной той весны
И внуком непришедшего солдата.
Я стал наследником обугленных руин,
Сожжённых нив, расстрелянных селений,
Я, как святыню, эту жизнь хранил,
Спасённую тогда в огне сражений.
И песней колыбельной мне была
В окопах закалённая «Катюша»,
В ней наша сила русичей жила
И русский дух, что враг не смог разрушить.
И, с детства ненавидя ту войну
И часто онемев от боли,
За всех бойцов я чувствовал вину,
В бессмертие ушедших поневоле.
Я мир узнал, не ведая войны,
Родившись в незабвенном сорок пятом,
Я — кровь и плоть победной той весны
И был, страна, всегда твоим солдатом...

СМЕРТЬ МИНЁРА

Я умер в том бою, сраженный пулей,
Вонзившейся у самого виска,
Но помню, как в глазах качнулись
Тяжелые от крови облака.

Петренко Эдуард Петрович. Уроженец Донбасса. Его поэзия, проза и публицистика постоянно появляются в региональных и всероссийских альманахах. В 2014 году в издательстве «Российский писатель» вышла его книга прозы «Тринадцатый венец». На Псковщине живет уже более двадцати лет.

А перед тем мы в бой рвались как черти,
В окопах смяв фашистские кресты,
«Ура!» кричали, падая в бессмертье
У взятой безымянной высоты.
А перед тем по вздыбленному полю
Я полз, горя в разрывах мин,
Не сердцем чуял — только болью,
Что ухожу навечно не один.
Потом лежал в обугленной воронке,
И, слыша стон израненной страны,
Я верил: наши похоронки
Приблизят миг победной той весны.
...Я умер в том бою, сраженный пулей,
Вонзившейся у самого виска,
Но ведь не зря мы навсегда уснули,
Коль эту жизнь продлили на века...

* * *

В Донбассе нынче в силе черный цвет
И женский взгляд, от горя неподвижный.
Идет война, и огненный рассвет
Сжигает ежедневно чьи-то жизни.
И цвет угля сегодня здесь не мил —
На траурных венках его приметы,
На лицах вдов, склонённых у могил,
В сырых подвалах без тепла и света.
А над руинами опять жирует власть
И делит депутатские мандаты.
Не эта ли безудержная страсть
Дотла спалила города и хаты?
Царит в Донбассе нынче черный цвет,
Как крик души и сгусток чьей-то боли,
И вновь встает обугленный рассвет
Над выжженным пшеничным полем...

Александр Александров

ВОСПОМИНАНИЯ МАЛОЛЕТНЕГО УЗНИКА

Память отправляет меня в 1941 год. Ярко и зримо она высвечивает события 70-летней давности. Дом Ольги Карловны, где мы с мамой поселились перед самым приходом немцев, стоял на углу улиц Соляной и 1 Мая в г. Острове.

Длинная змееподобная вереница немецкой военной техники ползла на восток днём и ночью мимо нашего дома. Дребезжали стёкла, мелкой дрожью сотрясался подоконник, где мы с братом проводили первые дни прихода в город невиданных доселе железных чудовищ. Сотни тысяч тонн крупповской стали, отлитые в танки, самоходки, пушки, автомобили, ползли по Соляной и у реки поворачивали налево, беря курс на Городище. Вот и возле нашего дома появился часовой с винтовкой на плече. Проходят мимо окон солдаты. Вместо шапок у них на головах каски, как много позже пояснил брат Петя. Мне два года и четыре месяца, но я отчётливо запоминаю эти первые дни оккупации города немцами. Мама в постоянной заботе о нас. С неразлучной подругой Верой первые два года оккупации они выполняли тяжёлую работу по заготовке дров. В холодное время они отапливали служебные помещения и следили за противопожарной безопасностью.

Затем для нас с мамой наступила довольно однообразная и очень тревожная жизнь. Иногда заходили патрули, высвечивая карманными фонариками с цветными стёклами все подозрительные места в дому. Превратились все жители дома в затворников, первоначально пугающихся посещений патрулями и некоторыми странными личностями, предъявлявшими невыполнимые требования к женщинам нашего дома. И приходилось нашим матерям обращаться в местную комендатуру. Как правило, помощь в наведении порядка оказывалась оперативно. Мама, присмотревшись к окружению, стала оставлять нас с братом на попечение тёти Веры и уходила к своим родителям на мельницу за провиантом. Водяная

Александров Александр Александрович. Родился в 1939 году в городе Острове Псковской области. Ребёнком вместе с матерью был в оккупации. Окончил Костромской педагогический институт. Творческая жизнь связана с псковской стариной и Пушкиногорьем, пишет рассказы и повести.

мельница стояла на р. Лжа в 20 км от Острова. Мой дедушка Михайлов Григорий Михайлович заведовал всем мельничным хозяйством, жил безбедно и в тяжёлые времена помогал близким родственникам. Ночью на мельницу наведывались лжепартизаны, делали обыск и забирали всё, что находили. Днём приходили немцы, находили следы ночных посетителей и угрожали дедушке расстрелом. Бояться приходилось тех и других.

В конце лета нас с братом мама отвезла на мельницу на какое-то короткое время. Совершенно туманно вспоминается один из поздних дней августа. Яблоки «белый налив» уже к тому времени поспели. Проходивший через запруду немногочисленный немецкий отряд расположился отдохнуть у коновязи. Командир попросил у деда яблок для солдат. Послышались звуки губной гармошки, наигрывавшей весёленькую мелодию. Вроде бы люди как люди. Отдохнули и тронулись в путь. Всё это было в конце лета 1941 года.

* * *

Зима 1942 года. Собравшийся на площади народ. Морозно. Рядом с нами плачущая молодая женщина. Кто-то громко рыдает. Волной прошедший по толпе стон стих мгновенно. Лающие и резкие звуки команды... что-то совершилось. Стоявшая в центре толпы крытая машина, медленно раздвигая народ, ушла... Мама, взяв меня на руки, быстрой походкой пошла к дому. То декабрьское морозное утро я запомнил потому, что очень плакала Надя, тёзка и подруга моей мамы.

Я не запомнил больше ничего. Много позже, повзрослев, из воспоминаний островичей, переживших оккупацию, стал как бы приходить в себя и воскрешать в сознании все детали утра 12 декабря 1942 года, когда фашисты казнили руководителя островского подполья Клавдию Ивановну Назарову.

Моя тётка, Григорьева Антонина Григорьевна, за несколько дней до казни К. И. Назаровой сидела вместе с ней в одной камере. Сколько мы с сестрой ни «пытали» тётю Тоню в 60-е годы о днях, проведённых в островской тюрьме, так и остались ни с чем. Постоянный страх за жизнь на допросах сильно повлиял на состояние её здоровья. Помнила тётя только то самое декабрьское утро, когда прощалась Клава с сокамерниками, просила не падать духом и оставаться оптимистами. Последние слова патриотка сказала очень громко, чтобы они проникли в сердца людей, почти потерявших надежду, и тётя запомнила их на всю жизнь:

— Меня сегодня казнят. Прощайте. Наши скоро придут и отомстят палачам!

Осталась сидеть в камере и ждать своей участи моя тётя Тоня. Обвинения в её адрес не подтвердились, и трёхмесячное пребывание в тюрьме закончилось возвращением домой, где томились две её дочери и мои двоюродные сёстры под присмотром близких.

Обвиняли тётю в убийстве немецкого мотоциклиста. Его труп нашли в хлеву на мельнице, в Решетах, на реке Синей, где и застала война всю её семью. Подозревали всех, в том числе и бабушку, что нянчила внучку. Только после войны выяснилось, что убил немца дедушка, отец мужа тёти Тони, её домогатель. Хитрый и коварный человек сумел войти в доверие к оккупантам и был вне их подозрений. Ненавидя Советскую власть, он после войны ушёл с отступающими немцами и дал о себе знать только в 1949 году, находясь в Канаде. Итогом разбирательств явилось снятие всех ранее предъявленных тёте Тоне и её семье обвинений.

Завоеватели уже не так себя чувствовали, как тогда, в августе 1941 года. С нами уже никто не считался и не защищал от «ночных посетителей». Боевитость мамы в отдельных случаях спасала от неприятностей не только нас троих, но и соседок по общежитию. Мне крайне неудобно передавать тот набор слов, которыми мама «награждала» незваных «ночных гостей». При этом воинственный вид разбушевавшейся ночной «амазонки» уже говорил о многом. «Гости» перестали наведываться и обходили наш дом стороной. Ближе к весне нас троих вместе с другими островичами погрузили, как скотов, в грязные повозки и отправили в Латвию.

Лагерь Прейли. Здесь в тяжёлейших условиях трудились советские военнопленные. Мама работала в прачечной лагеря, чтобы мы с братом не голодали, и мало заботилась о себе. Положение прачек было катастрофическое. По природе своей очень выносливая, она первое время находилась в тёмном и вонючем подвальном помещении. Таких, как она, в этой душегубке было несколько молодых женщин. Мама никогда не боялась тяжёлых работ, особенно если они выполнялись коллективно. После болезни её перевели в мастерские по пошиву и ремонту верхней одежды для военнопленных. Рядом, в небольшом и сизом от махорочного дыма помещении, работали два или три сапожника по ремонту обуви. Прачки, портнихи и сапожники обслуживали только лагерь. Всё свободное время мы находились в переоборудованных под жильё утеплённых хозяйственных постройках латышей.

Мама постоянно была в поисках лучших условий существования на протяжении всей своей жизни. Как мы перебрались в Валмиеру и кто оказал помощь? Возможно, элементарное знание немецкого и латышского языков мамой, возможно, её золотые руки помогли. Когда она здравствовала, я не задавался целью писать об этом времени. Нужно было дождаться своей старости, чтобы начать воскрешать в памяти эту «райскую» жизнь, сидя у компьютера. Уже семнадцать лет, как нет рядом со мной самого дорогого человека — мамы. Мне уже скоро 75. А я постоянно воскрешаю в памяти наши разговоры о страшных днях войны. Их было много. Особенно тяжёлой стала обстановка, когда в августе 44-го года Красная Армия освободила Латвию.

Но обо всём по порядку.

Валмиера. Скитания по «углам» не оставили воспоминаний. Я даже не заметил отсутствия брата. Мама переправила его к деду сразу же, как только мы вырвались из страшных тисков лагерной жизни.

Лето 1944 года. Мама взяла меня на свидание с нашими военнопленными. Лагерь военнопленных располагался на краю города и был очень плотно огорожен многочисленными рядами колючей проволоки. Процедура свидания состояла из следующих моментов. Ты подходишь с какими-то припасёнными для военнопленных продуктами и просовываешь их между плотными соседними рядами колючей проволоки. В ответ тебе обросший густой щетиной обладатель чудесной улыбки до самых ушей просовывает выструганный из куска дерева или плотной коры самолётик или кораблик. Общаться не разрешалось, однако пришедшие долго не расходились. Мне хорошо запомнился дурманящий запах смолы подаренных мне изделий. Настроение заключённых за колючей проволокой людей совсем не соответствовало их положению, улыбки не сходили с их лиц. Вероятно, звуки канонады на востоке без слов напоминали всем, кто побеждает в этой смертельной схватке. В городе открыто говорили о скором приходе наших. Какое-то время спустя немецкий часовой подходит не спеша и просит нас отойти от проволоки. Поведение немцев в Латвии совсем иное, чем в России, — нас культурно просят.

Мама находит работу в местном военном госпитале на русском отделении, должность — санитарка. Улучшились условия нашей жизни, питание, появилась сменная одежда. Как она смогла из Валмиеры переправить братца к своему отцу-мельнику, мы этого вопроса с мамой не поднимали. Дедушка жил на границе с Латгалией. Переехал границу — и, считай, дома. Россия начиналась здесь, до Острова — рукой подать.

Валмиера в начале 40-х годов — уютный, тихий и ухоженный латышский город. С приходом немцев вновь установились старые порядки, как и при Ульманисе. Мы, пятилетние мальчишки, русские и латыши, чьи родители были на работе, всё лето проводили в районе военной немецкой столовой. Мы не стеснялись просить на кухне у поваров еду. Я быстро освоил латышский язык, постоянно общаясь с местными мальчишками, и сходил за латыша. Найти жильё на двоих в этот период было легко. Жили мы в старом доме. Входная дверь была украшена цветными стёклами разной формы, преимущественно квадратиками и треугольниками. Лето 1943 года было очень жаркое. На песчаных отмелях тихоструйной Гауи наша мальчишеская орава купалась в прогретой солнцем воде. Латышские ребята соблюдали правила приличия, и мы никогда не ссорились. Моя мама почему-то не боялась оставлять меня одного среди таких же, как я, мальчишек. Вероятно, мы находились под присмотром взрослых. Помнится, что кто-то нас постоянно опекал. Городок был компактный, машины ходили чрезвычайно редко. Народ вёл себя дисциплинированно.

Иногда я ходил к маме на работу. Гуляя по узким коридорам госпиталя, однажды случайно забрёл в светлую комнату.

За столом сидел за пишущей машинкой молодой человек в военной форме. Вероятно, я разинул рот от удивления, поскольку он засмеялся. Он дал мне несколько листов белой бумаги, цветные карандаши и усадил меня за стол. Я стал рисовать паровозик, так меня поразивший на железнодорожной станции.

Мы с мамой очень часто проходили по платформе в опасной близости с маневрирующими, гудящими и шипящими паровозами. А однажды один такой «бессовестный» паровоз напугал меня, окутав клубами белого пара. Затем он испустил такой свист прямо мне в ухо, когда я проходил мимо, что я ещё больше испугался и, покосившись на его огромные колёса, дал себе слово больше здесь не появляться. Видимо, у меня на листе что-то получилось — военный угостил конфеткой и, взяв рисунок, громко протянул: о-о-о-о-о-я-я-я-я-а-а-а-а.

Однажды звуки весёлой мелодии, доносившиеся из-за дверей, заставили меня превозмочь запрет, и я заглянул в просторную, чистую и светлую палату. Полусидя на кровати, молодой человек играл на губной гармошке, трое лежали на своих кроватях, остальные — те, что из других палат, — расположились на стульях.

— Киндер, ком, — позвал один из них и угостил меня конфетой. Играющий не обращал внимания на любопытных и продолжал извлекать

из инструмента, умещающегося в ладони правой руки, чудесную мелодию. Позабыв всё на свете, я денно и нощно мечтал о таком волшебном инструменте, полагая, что любая мелодия сама появится, стоит только посильнее дунуть. Мама достала точно такой инструмент, но, как я ни старался, ничего не получалось.

Предоставленные сами себе, за летний день мы успевали быть везде. Мы ждали, когда старый немец-возница появится возле столовой на своей бричке со скошенными бортами. Он возил со склада различные деликатесы к чаю. Мы особенно ценили вкусное печенье и знали эти пачки. Взрослые мальчишки посылали нас, маленьких, воровать, поскольку наш рост позволял быть незамеченными. Но иногда длинный хлыст Франца доставал нас, и долго чесалась спина от его «укусов». При этом он всегда произносил одно лишь слово — ФЕРФЛЮХТ! Вечерами, после ужина, вся наша компания приходила смотреть кинохронику. К пустому торцу небольшого двухэтажного дома прикреплялось ослепительной белизны полотно размером с простыню. Из расположенной рядом столовой выносились стулья, и несколько сотен солдат в течении одной-двух минут рассаживались по местам; и целый час на экране горели города, стреляли пушки и танки, развевались знамёна со свастикой, и дымы, дымы, дымы под бравурные марши. Как современная реклама на наших телепередачах, у немцев среди их экранных побед вдруг в полной тишине появлялась красавица в гамаке с журналом или книжкой в правой руке. В полнейшей тишине к ней не спеша подходил ухоженный кавалер и пел, прижимая обе руки к сердцу. При всём этом умная овчарка под гамаком понимающе отворачивалась.

Было и русское отделение немецкого военного госпиталя. Условия существования раненых военнопленных здесь были намного хуже. По мере возможности им не давали умереть, но и не лечили по-настоящему. Выживали только сильные и легкораненые. Много позже мать рассказывала, что в нашем отделении не было даже бинтов и приходилось пользоваться старыми и использованными, предварительно стираными и прокипячёнными. Врачи здесь были из числа военнопленных.

Мама даже брала работу на дом. Она гладила вечерами раскалённым тяжёлым утюгом постиранное нижнее бельё серого цвета с бурыми пятнами. Она очень любила чистоту и никогда не уставала наводить порядок везде, где бы она ни находилась.

Конец лета. Участились налёты советской авиации. Душераздирающий вой сирен загоняет всех в бомбоубежища. Слышны разрывы бомб,

сыплется сверху песок за шиворот. Где-то рядом смех и звуки губной гармошки. Через полчаса налёт прекращается. Ночью тоже случались налёты, и почему-то у мамы не выдерживают нервы. Одной рукой она хватает чемодан, другой меня и ударяется в бега. Измотав себя и меня бесполезной суматохой, мы снова возвращаемся, и я сплю день и ночь беспробудно.

Однажды налёт нашей авиации застал меня на пути к маме на работу. Вой сирен, разрывы бомб, истошные крики окружающих слились воедино. Мне показалось, что самое безопасное место на территории, примыкающей к госпиталю, находится там, где меньше всего народу. Это был открытый к реке Гауе склон сада с плодовыми деревьями и ягодными кустами. Здесь нет ни одного человека, а бомбы, как мне казалось, ищут скопление людей, машин, домов и одного меня убивать не станут. Куст оказался ягодный. Лёжа на спине, я горстями, с остервенением, набивал рот красной смородиной. Налёт был продолжительным, и чувство страха не проходило. После каждого взрыва землю трясло, и даже почудилось, что одна из бомб разорвалась совсем рядом.

И вдруг наступила такая тишина, что стали слышны голоса далеко-далеко, и удаляющийся рёв «страшнейших чудовищ» где-то в небе тоже стих. Страх был настолько велик и всемогущ, что полностью парализовал меня. Не найдя на работе маму, я потащился домой и застал её плачущей. Красные от смороды лицо и рубашку она приняла, не разобравшись, за ранение.

С тех пор вкус спелой красной смородины напоминает мне август 1944 года, и порой не успокоиться от нахлынувших воспоминаний. Не то чтобы я перестал любить эту вкусную ягоду и потом не посадил в родительском саду в 50-е годы ни одного куста красной смороды. Всё намного сложнее и трудно объяснимо.

Минул год, как мы живём в Латвии. По-прежнему мама работает в госпитале, а я, как только наступили тёплые деньки, стал пропадать на улице с мальчишками. Я прекрасно говорил на латышском языке.

Однажды мама пришла домой очень расстроенная. Наша знакомая четырнадцатилетняя девчонка Аня, дочь маминой подруги по работе, среди незнакомой ей городской толпы пропела частушку:

— Скоро Гитлера не будет, скоро Гитлеру капут, скоро сталински машины по Берлину побегут.

Ожидали от властей ареста, расследования, какого-то наказания, но всё обошлось. Вероятно, среди городской толпы не оказалось ни провока-

торов, ни профашистски настроенных людей. Население знало, что Красная Армия вступила в пределы Латвии, и отголоски канонады, не стихающей ни днём, ни ночью, можно было иногда улавливать. Поведение самих немцев стало иным — не стало прежнего веселья, даже среди бела дня иногда устанавливалась такая тишина, что было ощущение вымершего города. И вот первый налёт наших самолётов и мощное бомбометание за пределами города посеяло гнетущий ужас в народе. Город притих перед надвигающейся катастрофой.

Бедная моя мама совершенно не знала, что и предпринять. В народе распространился слух, что следующий налёт русской авиации будет на город и бомбы сравняют его с землёй.

Паника настолько сильно действовала на её психику, что при очередном налёте, схватив в одну руку небольшой чемодан, другой она потащила меня. Убежали мы той ночью далеко за город в чистое поле. Сверху доносился рёв самолётов, и висели в небе осветительные ракеты. Никакой бомбёжки не было. Побегав и изрядно намаявшись, мы вернулись в город.

Довоенные латвийские города были небольшие. Выйти за город и очутиться в чистом поле было делом получаса. У меня не было страха в ту ночь даже в моменты, когда мы вдвоём бежали по дороге, ведущей из города в никуда, только бы подальше от разрывов бомб.

Город словно вымер, и мама сообразила, что нужно делать. Спустившись в бомбоубежище, мы попали в самое пекло, где голоса, звуки губной гармошки и всеобщее веселье сливались в сплошной гул. Люди ничего не боялись в создавшейся ситуации. Печенье окончательно меня успокоило. Нашлось, где и посидеть. Вероятно, я спал, поскольку совершенно забыл дальнейший ход событий. Помню и второй случай, когда после очередного налёта мы убежали далеко за город. На этот раз слышались разрывы бомб по другую сторону от города, и мы благополучно провели ночь на хуторе. Гостеприимный хозяин-латыш позволил нам отдохнуть до утра. Позавтракав молоком, мы отправились домой. Обратная дорога мне показалась длинной. Было ощущение, что из города мы с мамой летели на крыльях, а возвращались домой пешком нехотя и совершенно уставшие. Когда наши подступят к Валмиере, мать окончательно примет решение уйти из города на время боёв.

Пока отдалённые звуки канонады позволяли мальчишкам днём проводить время на улице, у немецкой столовой, на прогретых полуденным солнцем речных песчаных отмелях Гауи.

* * *

Когда я думаю о матери, то постоянно вижу войну с первых дней прихода немцев в Остров до последних дней их «хозяйничания» на нашей земле. Каждый день, прожитый мамой в эти три года, был наполнен постоянной заботой о нас с братом. Немного легче нам с мамой стало, когда её родители в начале весны 1944 года взяли к себе Петрушу. Приходилось искать спасения на латышских хуторах в хозяйственных бункерах, не приспособленных для жизни людей. Можно было сойти с ума от грохота и лязга проходящей рядом танковой армады, от орудийной стрельбы и невообразимых звуков боя. Душераздирающие звуки пикирующих в небе самолётов выворачивали наизнанку нутро. Где-то совсем рядом они падали и взрывались, сотрясая землю. Словно лихорадка охватила землю и не хочет отступать. Была небольшая передышка, когда, казалось, всё стихло, и кто-то открыл вход в погреб. Струя свежего воздуха наполнила тесное помещение, и люди ожили. Восьмилетний мальчик выскочил наружу и тут же упал на край, сражённый шальной пулей или осколком снаряда. Всю ночь несчастная мать кричала, склонившись над тельцем сына. Утром она, не обращая внимания на звуки боя, хоронила сына среди посечённых осколками деревьев, но так и не вернулась обратно. Все в бункере решили, что она не может покинуть дорогую могилку и всё ещё прощается. Но она оказалась убитой. Такая грустная история произошла в нашем тесном бункере. Люди настолько привыкли к потерям близких, родных, знакомых, что отнеслись к случившемуся, как к неизбежности.

Нам повезло. Приютила нас и ещё человек двадцать очень добрая латышская семья. Когда шли советские танки по проходящей совсем рядом дороге, казалось, что нас раздавят. Танки, самоходки, пушки и машины шли днём и ночью, и всё это время мы не спали. Пережить всё это было нелегко. Вероятно, в те дни и случилась со мной нервная болезнь, выразившаяся в расстройстве речи на долгие-долгие годы. Все эти дни мы просидели в картофельном бункере.

Постепенно болезненное ощущение тревоги стало проходить в связи с резким уменьшением лязга гусениц. Крепко уснули напуганные грозными событиями жители бункера после всех испытаний. Однажды утром открылась крышка бункера и... Как давно мы не видели такой широкой улыбки — от одного уха и до другого! Сразу видно — свой парень. За годы войны это была первая всеобщая и долгожданная радость, так неожиданно посетившая нас.

— Выходи, свои пришли, — громогласно произнёс обладатель чудесной улыбки. За ним появились ещё несколько весёлых парней в танкистских шлемах.

Что тут началось! Будто бы взорвалась от охватившей всех радости наша немногочисленная компания. Слёзы, смех и бурный восторг мгновенно перемешались. Женщины не скрывали своих чувств, дав волю эмоциям. Было такое ощущение, что встретились родные люди, долго друг друга не видевшие. Ощутимо повеяло обстановкой, в которой уже бывал когда-то ранее. Да-а-а-а, русским родным духом мгновенно наполнился воздух с дымком костерка в стороне у молоденьких берёзок. Зазвучали звонкие голоса женщин, уже принявшихся за приготовление скорого завтрака. Запахло варёной картошкой и консервами. Ох и славный был завтрак того памятного утра в танкистской компании и... быстротечный.

— А Валмиеру освободили, товарищи танкисты? Мы уже десять дней сидим под землёй и ничего не понимаем, где свои, а где чужие, — бойко затараторила говорунья и неунывака Анна, душа всей нашей повеселевшей компании.

— Ещё два дня назад немцы ушли из города, идите домой хоть сегодня, но лучше денька через три-четыре, так будет спокойнее для всех вас, лучше присоединитесь к такой же, как вы, компании, — посоветовал танкист, обладатель поразившей всех нас чудесной улыбки.

* * *

На пути в Валмиеру было много впечатлений, поразивших меня настолько сильно, что спустя 68 лет наяву вижу и искорёженную технику, и густо усеянные какими-то мелкими листочками и цветными открытками придорожные канавы, ямы, воронки. Много было очень красивых небольших предметов, вроде миниатюрных детских игрушек. Мать крепко держала меня за руку, не разрешая нагнуться. Я всё же изловчился и успел поднять из-под ног несколько красивых листочков, испещрённых очень мелким почерком, и две открытки с изображением ангелочков с крылышками. Мама взяла посмотреть мои «приобретения» и выбросила исписанные листочки, а тиснёные изображения крылатых и кудрявых малышей назвала немецкими иконками. Много лет я хранил среди открыток и эти две, постоянно напоминающие наше тревожное возвращение в Валмиеру.

Через три дня мы с мамой возвратились в город. Разрушенных домов не было. Зато перемены произошли немалые. Везде были беспорядочно разбросаны тяжёлые, громоздкие пушки, перевёрнутые машины, фургоны. Наши военные группами приводили в порядок улицы, набережную Гауи.

На просторном дворе по-прежнему работала кузница. Недовольный латыш-кузнец на родном языке ругал освободителей. Среди вернувшихся домой женщин распространился слух, что с немцами ушли в западном направлении наиболее состоятельные латышские семьи.

По прибытии на старое место жительства нас ожидали большие перемены. Наше жильё было занято новыми постояльцами, и мама обратилась в тот же день в комендатуру с жалобой. К вечеру того же дня по распоряжению военного коменданта г. Валмиеры все русские беженцы, вновь возвратившиеся в город, были расселены в домах латышей, ушедших вместе с немцами.

Вся наша многочисленная компания к вечеру была определена в двухэтажной дом местного фотографа. Нас с мамой поселили на втором этаже в просторной комнате с видом на Гаую. До нас здесь уже побывали грабители, но кое-что из мебели осталось, а главное — на застеклённой веранде стояла металлическая кровать. Такое большое количество фотографий в ящичках шкафа меня чрезвычайно обрадовало, и я днями наслаждался местными красотами, запечатлёнными на этих прекрасных черно-белых снимках. Дом, где нам пришлось жить, был словно игрушечный, покрашенный в светло-жёлтую краску.

В мае 1945 года мы возвратились на родину в г. Остров, оставив навсегда Валмиеру.

Ровно через 25 лет мы приехали к маминой подруге в гости. Вспоминали лихое лето 1944 года. Зашли в «дом фотографа», где мы прожили восемь с половиной месяцев. Нам рассказали, что приезжал фотограф, владелец игрушечного жёлтого дома. Жильцы дома отдали принадлежащую ему керосиновую лампу. Фотограф целый день ходил по дому, заглядывая во все углы, плакал. А после, поблагодарив женщин и попрощавшись, уехал навсегда.

* * *

Мой дед остался на войне,
Под Ленинградом, в сорок третьем,
И долго бабушка во сне
Его звала, но только ветер
Стучался в окна, года, старость
Сжигали жизнь, и по утрам
Напрасно сердце с болью рвалось,
Внимая в такт чужим шагам.
Стареют дети, внуки старше,
Чем дед в те дальние года,
И безымянно возле пашни
Горит могильная звезда.
Пред ней прошли пять поколений —
Ведь только ими жизнь светла…
Дед не пришёл, но в день последний
Всё так же бабушка ждала.

* * *

Моему деду Никифору Ильичу Ляшенко
и многим-многим другим, не вернувшимся с войны

Если едешь от Москвы до Берлина
По дорогам минувшей войны,
Ты увидишь братские могилы
Безымянных героев страны.

Моисеенко Геннадий Константинович. Родился в 1959 году в Великих Луках. Автор книг «Под цвет обоев», «История в пурпурных тонах», «В тихом омуте», «Венера Грэйтбоузская», «В тени». Печатался в журналах «Встреча» (Москва), «Наша улица» (Москва), альманахе «Московский Парнас» и др. Живет в городе Великие Луки. Член Союза писателей РФ.

Ты увидишь — приспущены флаги,
Обелиски взметнулись ввысь,
Благодарность вашей отваге
От страны, где вы родились.
Вся Россия изрыта окопами —
Печальным наследьем войны.
Над могилами головы склонены,
Полные чувства вины.
Вся Россия костями вымощена
И засеяна слоем свинца,
На пожарищах молодость выросла,
Что росла в основном без отца.
Всё дождями вымыто, смыто,
Проросла на полях трава, —
Только память о вас не забыта,
Хоть давно отшумела война.

ДИТЯ ВОЙНЫ

(песня из цикла «3-го июня»)

Свет переломлен
Каплей дождя,
Прошлое помня,
Плачет дитя,
Тише, малыш,
Плакать не надо,
Ты ведь стоишь
У преддверия ада.
Скоро война, скоро война,
Скоро война, скоро война.
Ночь над Землёй
Будет страшней,
Пестуют боль
Взорванных дней,
Смейся дитя,
Мир пылает в огне,

Искры, летя,
Жгут по стране
Наши дома, наши дома,
Наши дома, наши дома.
Любовь спасёт безумный мир,
Расправит крылья над планетой,
Роман, зачитанный до дыр,
Вдруг станет явью. Боже, где ты?
Останови, останови,
Останови, останови.
Рассыпь по небу краски дня,
Зажги в ночи свою звезду.
В твои глаза, судьбу кляня,
Я словно в омут упаду…
Только любовь, только любовь,
Только любовь, только любовь.

ПОБЕДИТЕЛИ

Погибшим всем поклон земной,
Пускай земля им будет пухом.
Солдаты ехали домой
Теперь расправиться с разрухой.

Вновь трудовая кутерьма —
От ранней зорьки до заката...
Им было важно, чтоб страна
Жила привольно и богато.

И возродились города,
И в космос люди полетели...
Но лучше сделать жизнь тогда
В деревне так и не сумели.

Единой здравствуя страной,
Родной, счастливою и дружной,
Власть делит всех... Затем войной
Террор развязан в ней ненужный...

Под дых давно «реформы» бьют,
Всех удивляя тем, что живы...
Оценка та ль за ратный труд,
Которым вытянуты жилы?

Так что же скажешь, старина,
Пройдя военные метели:
«Из той ли чаши пьёшь сполна?!
И жизни — этой ли хотели?»

Иванов Николай Иванович. Родился в 1944 году в деревне Сопки Палкинского района Псковской области. Окончил Пашское строительное училище в Ленинградской области. Служил в армии, 36 лет отработал водителем. Стихи пишет с 1995 года. Автор шести поэтических сборников, среди них «Кстати», «Рокот вечности», «Вопреки» и другие. Живёт в Пскове.

ВЕТЕРАНАМ

Великий праздник — День Победы!
Но с каждым днём всё меньше их —
Кто перенёс войны той беды
И хоронил друзей своих...

И в Лету канула Держава,
За что сражались на войне...
И тризны видеть больно, право,
По внукам, сгинувшим в Чечне...

Да и в республиках — тех, бывших, —
Подняли голову из тьмы...
Как много прихвостней фашистских
Вы не добили в дни войны!

Так дай же Бог всегда здоровья
Вам, пережившим всю напасть...
И не грешно ль России новой
Опять людей под пули класть?!

КОМАНДИРУ БАТАРЕИ

Участнице Великой Отечественной войны,
командиру артиллерийской батареи,
старшему лейтенанту в отставке
Антонине Ивановне Зуевой посвящается

Девчонку хрупкую комбатом
Представить можно ль на войне?
А Антонина в бой когда-то
Шла с мужиками наравне!

Гудит, гремит передовая,
Убитых, раненых не счесть.
И за солдат, как мать родная,
Несёт ответственность и честь.

В любом бою не подкачают
Солдаты-братья, молодцы!
А где успех, её качают
От всей души бойцы-отцы!

И не одна взята высотка,
Посёлок, город не один...
Познала голод, что не тётка,
И холод — лютый господин.

Раненье, госпиталь... Победа!!!
Разруха, голод и тюрьма...
Этапов жизненные беды
Здоровьем познаны сполна.

Пережила, не обозлилась!
Позднее встретила любовь,
Не вечно, жалко, счастье длилось...
Но светит, вспыхнувшее вновь!

Тебе здоровья, счастья много!
Крепись, Ивановна, мужай...
Живи, родная, долго-долго!
Жить за погибших продолжай!

МЕДАЛЬ

Быль

Закрыв за собой обитую дерматином массивную дверь, Василий Акимов зашёл в отдел льгот и социальной защиты.

— Что вы хотите? — спросила сотрудница, обложенная кипами бумаг.

— Я насчёт льгот. — Акимов протянул паспорт и удостоверение о награждении медалью «За отвагу».

Работница долго рассматривала удостоверение, дважды заглянула в паспорт.

— Не пойму... Сколько же вам лет было, когда наградили?

— Почти пять, — и робко добавил: — Я и ранение, и контузию имею.

— Господи!.. Да вы же, извините, в то время пешком под стол ходили.

— Ну ходил, — загорячился Василий, — а медалью награждён.

— Вот если бы вы имели, к примеру, «За доблестный труд», — сказала сотрудница, раскрыв папку, — то льготами пользовались бы... А так, — развела она руками, — ни в одном постановлении медаль «За отвагу» не фигурирует, вы же были несовершеннолетним.

Зажав в руке паспорт и удостоверение, Акимов неторопливо шёл по тротуару.

— И какого чёрта понесло? Здоров ведь... льгот, вишь, захотел, — полушепотом срывалось с губ, — а вообще-то!..

В сумбуре ясно и туманно начало припоминаться Василию давно ушедшее.

... До изнеможения душно. Мать прижимает Васятку к себе так крепко, что слышен глухой стук её сердца. При каждом взрыве, как люлька, вскачивается погреб. Немцы бомбили станцию. А пасмурным утром они видели наших: небритые щёки… виноватые взгляды воспалённых глаз...

Васильев Виктор Иванович (Виктор Торопчанин) (1939—2004). Родился в селе Покровское Андреапольского района Калининской области. Окончил Даугавпилсское военное авиационное училище. Автор нескольких книг прозы и стихов, в том числе «Проклятая радость», «Аорта», «Пути-дороги» и других. Член Союза писателей России.

разорванные грязные полы шинелей, отодранные рукава… отступали... И опять погреб. Взрывы, грохот, пальба. Васятка, обхватив трясущимися ручонками потную шею матери, кричит: «Мамочка, пойдём, где не стляляют!..»

Вспрыгнув в автобус, Акимов проехал до нужной остановки, даже забыв прокомпостировать билет.

Ещё больше наседали воспоминания.

...Мамка осторожно открыла дебелую дверь погреба. Чем-то кислопрогорклым, палёным ударило в нос. Возле сельсовета они увидели зелёную, с большими колёсами телегу. Около неё стояли две упитанные лошади с коротко остриженными хвостами. Откуда-то на улице появилось несколько солдат с автоматами.

— Немцы! — охнула мать.

Носатый чужеземец подошёл к калитке соседей Егоровых, ударил в неё ногой и заорал:

— Матка, яйки и яйкину матку!

Схватив сынишку, мать забежала в дом.

Вскоре немцы пришли и на Васяткино подворье. Явился и тот, носатый.

Он железякой сбил замок с двери хлева — после ухода отца на фронт мать стала замыкать хлев.

Четверо громил, громко разговаривая, будто по-собачьи лая, кинулись к раскрытой двери.

Выведенная корова никак не хотела идти дальше: пятилась, мотала головой, раздувала ноздри, шумно выдыхала. Носатый ударил её в бок окованным сапогом и заорал:

— Шайзе... шайзе...

Пеструха, взбрыкнув, кинулась вперёд... да куда денешься от немца.

Мать, держа Васятку на руках, закричала:

— Ребятёнок ведь... ему... ему!.. люди вы или изверги!..

Увидев катившиеся по лицу матери слёзы, сынишка тоже заревел:

— Дяденьки немцы, отдайте нашу коровку, Васятка молочко любит!

Носатый показывал на него пальцем и хохотал.

— У-у, ты, немчура проклятущая! — простонала мать.

С тех пор она стала молчаливой, лицо её вытянулось, побледнело, под глазами появились красно-синие отёки. Она часто глядела на заречную даль и глубоко вздыхала: где-то там далеко был фронт...

Акимов сел на скамейку, расслабился, полузакрыл глаза.

Позднее ему рассказали, что в оккупированном их посёлке размещалась рота охраны железной дороги. Квартировали немцы в избе-читальне и лесничестве. В добротном амбар-сарае лесничества находилась кухня и столовая. Сюда по очереди оккупанты приводили работать поселковых женщин.

...Запомнился Васятке один из немцев. Всегда в каске, жирный и неуклюжий, грузно топая, он заходил в дом и басил:

— Фрау, ауф ден кюхе!.. шнель!.. — и протягивал Васятке леденец.

Однажды Васятка сидел возле времянки и строил домик из ольховых круглячков. В избу зашёл носатый. Васятка что было прыти на четвереньках нырнул под широкую скамью. Носатый захихикал, принялся шлёпать ладонью о коленку и вскрикивать:

— Киндер, киндер, цу мир! Цу мир!

Затем с силой пнул собранный домик.

Васятка с испугу напрудил в штанишки и, прижавшись к стене, выпучил на него глаза.

— Зоба-ачка, — ощерившись, процедил немец.

После этого случая Васятка стал заикаться. Во сне часто вскакивал, что-то искал ручонками, метался и стонал.

Но вот наступил долгожданный час — освобождение.

В ночном бою среди наших — семнадцать убитых. Похоронили их в воронке от разорвавшейся авиабомбы. Сразу же к ним в дом зашёл солдат. Васятка по привычке забрался под скамью.

— Мне бы, в распоряжение, на десяток минут вашего мальчугана, — сказал вошедший матери, — нужно открыть дверь пакгауза. Заперто изнутри... Понимаете, хозяюшка, маленькое оконце — и наши комплекции.

— Что притих, вылезай, свои же, — спокойно промолвила мать.

Обогнув разбомбленный вокзал, они приблизились к станционному хранилищу. Под его окошком стояла металлическая бочка, возле неё их поджидал солдат в полушубке.

Просунув Васяткины ноги в проём, они бережно опустили его вовнутрь здания.

— Что видишь? — послышалось за дверью хранилища.

— Закрывашка, как на нашей калитке.

— Поднимай!

Васятка встал на цыпочки и с усилием сдвинул щеколду. Ахнуло!.. В голове у Васятки закружилось, в глазах потемнело...

Очнулся он от разговора, доносившегося словно из-под земли. Посилился открыть глаза — ресницы будто склеены. Напряг слух.

— ...заминированной оказалась дверь, тем двоим ордена Красной Звезды, посмертно. А вашему, Акимову Василию Тимофеевичу, медаль «За отвагу», так распорядилось командование. Как сынишка?

Васятка уже чётче услыхал голос матери:

— Военврач вынул из ноги два осколка и сказал, что потеря сознания от контузии ненадолго.

С особой остротой и горечью вспоминал Акимов случай утраты медали.

...Был у Васятки закадычный друг — Петька Егоров, годом старше. У обоих не было отцов: о Васяткином — похоронное известие, а Петькин вернулся домой в конце войны без руки и ноги, два года проболев, умер. Петька имел прозвище Пузан — за большой живот. Среди поселковой ребятни шли пересуды: мол, это из-за того, что лопает много «тошнотиков», «аж за ушами пищит». Жили они с Петькой напротив, через улицу. Вели дружбу по традиции тверских «козлов». Из-за пустяка вечером дрались, утром дружелюбно мирились, вечером опять потасовка. Ранней весной поселковые пацаны, прячась от глаз взрослых, с неописуемым азартом начинали играть в пристенок. Шиком считалась игра медалями. Петька с Васькой играли тоже, но не на деньги, а на пестыши, которых собирали по железнодорожным откосам. У Васьки своя медаль, у Петьки отцовская — «За боевые заслуги». Петька бил о сучок ребром. Медаль ложилась точно, иногда с «накрывашкой». Васька же шлёпал со всего маху банную стенку и всегда проигрывал.

— Знаешь, почему тебе всё время не везёт? — сказал однажды Петька. — У меня медаль главнее.

— Ну-у, удивил! — взъерошился Васька. На, смотри: на моей три самолёта и танк, а на твоей винтовка и сабля.

— Ну и что?

— А то, что самолёт и танк грознее винтовки и сабли, значит, моя медаль главней.

— Ой-ой, посмотрите-ка, — прищуря глаза и кривя рот, нарочито пискляво промолвил Петька.

— Ах, твоя главней! — вскрикнул Васька и бросился с кулаками на обидчика.

Петька цепким движением вырвал медаль у Васьки и, не раздумывая, бросил её в прудок.

— Пузан... стерьва... Пузан! — застонал Васька.

Значение слова «стерьва» он не знал, но так вопил, тяня «рь», изрядно подвыпивший сосед дед Митрофан на свою жену Фроську — сварливую старуху и первую балаболку в посёлке.

На другой день на улице Петька подошёл к Ваське и протянул медаль «За победу над Германией».

— Пойдём, сыграем.

Васька, насупившись, посмотрел на ладонь с поблескивающей медалью.

— Ты уж того, не сердись, — сказал виновато Петька, — самолёт и танк, ясно, главнее, а твою летом найдём.

Но напрасно в жаркие дни цедили они сквозь решето жижу на дне прудка — медали так и не нашли...

Вздрогнув, Акимов открыл глаза. Сунул в боковой карман пиджака удостоверение и паспорт.

— А я думала — ты пьян, — сказала остановившаяся соседка.

— Да нет, с головой что-то, — повертел он пальцами возле лба, — последствия контузии.

В прихожей, сев на скамеечку, он начал медленно расшнуровывать кроссовки.

— Ну, дали льготы? — спросила жена.

— Дали... догнали и добавили...

НАД ВЕЛИКОЙ

Посвящается землякам-пушкиногорцам

Всё в окопах и траншеях,
В дотах, дзотах, блиндажах.
Дно траншей в солдатских шеях,
Небо в дымных виражах.
Сколько раненых, убитых.
Сколько горя, сколько слёз.
На Великой — лёд разбитый,
Кровью пахнущий мороз.
Слякоть, дождь, в окопах сырость,
Смерть кружит у головы...
Дай же отдых, сделай милость,
Там, вверху, поговори.
Расскажи, как неохота
На рассвете умирать,
Нету тягостней работы —
Трупы с поля убирать.

Выпить стопку фронтовую
Да забыться хоть на час.
Да гармонь, да плясовую —
Жизнь один даётся раз!
Дай же, Боже, дай же силы
И успех военный нам…
Эх вы, сопки чертовские,
Крепкий «стрежневский плацдарм».

Трофимов Евгений Павлович. Родился в деревне Беляково Пушкиногорского района, и вся его жизнь связана с Псковщиной. Печатался в местной газете, региональных, областных сборниках, был активным участником поэтических вечеров. Автор книги стихов «Судьбы каленые орешки».

НА МОГИЛЕ ОТЦА

Слышишь, папа, сын к тебе приехал
Через будни промелькнувших лет.
Я теперь и сам как дважды папа,
Ну а ты — неоднократный дед.
Папа, папа, как тебя мы ждали,
Как нам всем хотелось, чтоб ты жил…
Ну а ты в далёком Приепулье
Дорогую голову сложил.
Ну а мама — как же тебя ждала,
Не могла поверить в смерть твою.
У цыганок на тебя гадала,
Доверяя им судьбу свою.
Тяжело пришлось любимой маме.
Много ртов, да мало крепких плеч,
По зиме, себя запрягши в сани,
Чтоб согреть нас, дров тащила в печь.
Не волнуйся, спи вдали спокойно.
Будем помнить, будем навещать,
Если надо, то умрём достойно,
Как и ты, за Родину, за мать.

ПОКЛОНИМСЯ ПРАХУ СОЛДАТА

Останки нашёл поисковый отряд
В траншее жестокого боя.
Бойца схоронил, разорвавшись, снаряд,
В броске на врага под горою.
Расскажет о нём боевая медаль.
Откуда был призван когда-то...
На лица у всех набегает печаль.
Поклонимся праху солдата.
Прости, если сможешь, прости нас, боец,
За то, что ты не был известен…
Для нас навсегда — ты наш дед и отец.
И, жизнь отдавая, был честен.

Дороги мужества

История русского подвига на поле брани и на поле трудовом

Игорь Изборцев

ЧЕСТИ МОЕЙ НИКОМУ НЕ ОТДАМ, ИЛИ МЕЧ КНЯЗЯ ДОВМОНТА

Honorem meum nemini dabo — «Чести моей никому не отдам». Слова эти составляют девиз, помещенный на меч св. князя Всеволода Гавриила, созидателя первого каменного храма во имя Святой Троицы. Но, наверное, смыслом этих слов можно объять славные деяния целых столетий. Здесь кроется энергия воинской доблести, тайна подвига во имя Отечества, во имя родной святыни. Зададимся вопросом, возможно ли было русскому народу, обществу, государству без владения этими великими тайнами — безкорыстного служения, постоянной готовности к подвигу, самопожертвованию — выжить в жесточайших условиях средневековья? Нет. В этом коротком ответе суть реалий тех веков огня и меча. А вот чуть подробнее о них на страницах сокращенной Псковской летописи Митрополита Евгения (Болховитинова):

1148 — По приглашению великого князя Изяслава псковичи ходили с новгородцами на Суздальского князя Юрья Владимировича войною.

1158 — Поход новгородцев и псковичей на Смоленск и Литву до Минска по приглашению Полотского князя Рогвольда.

1170 — Поход новгородцев и псковичей на Полотск и Смоленскую область к Торопцу.

1176 — Сильное нападение естляндской чуди на Псковскую область до самого города.

1179 — Поход новгородцев и псковичей на естляндскую чудь до моря и опустошение их селений под предводительством Новгородского князя Мстислава.

1183 — Литва, выбегая из лесов своих на пограничные псковские села, производила разорения. Почему псковичи послали на них свое войско под предводительством тысяцкого Будилы, который взаимно произвел в литовских землях много разорения. Папроцкий в книге своей, из-

Смолькин Игорь Александрович (творческий псевдоним Игорь Изборцев). Родился в 1961 году в Пскове. Прозаик, публицист, председатель правления Псковского регионального отделения Союза писателей России. Автор семнадцати книг прозы и публицистики. Живет в г. Пскове.

данной в Кракове в 1584 году под названием Herby Rycerstwa Polskiego, пишет, что россияне, усмирив тогда литовцев, заставили их платить себе дань даже банными вениками, а Стрыковский и Грубер пишут, что литовцы и до того платили Руси дань шкурами и лыками.

1190 — Нападение поморских чудей, естляндцев, на Псковские около озера земли, но псковичи, поймав их на озере семь шнек, или судов, побили всех пловцов и суда привели во Псков.

1191 — Поход Новгородского князя Ярослава Владимировича с новгородцами и псковичами на естляндцев к Юрьеву городу и взятие с них дани.

1192 — Поход его же с теми же войсками на Лифляндию и зимеголов мимо Юрьева и взятие города Медвежьей Головы (Одемпе).

1198 — Поход его же с новгородцами и псковичами зимою к Полотску за то, что Полотские князья вместе с литвою обижали пограничных псковских жителей.

1213 — Поход одних псковичей на Лифляндию, а в отсутствие их напала литва на Псковскую область даже до города Пскова и выжгла оный. Гадебуш пишет, что тогда же нападали на Псков и саккалане и унганнийцы.

1214 — Поход князей Мстислава Новгородского и Всеволода Псковского и Торопецкого Давида с новгородцами и псковичами в числе 15000 войска на лифляндскую и естляндскую чудь в Унганнию к городам Одемпе, Ерве и Герсику, или Воробьиному, и по взятии с них 700 гривен ногатами дани заключен мир. Несмотря на то, вывели они много пленных жен и детей, а мужчин больше убивали. Из взятой дани Мстислав две доли дал новгородцам, а третью разделил на свою дружину; а что взяли псковичи и торопчане с князем своим Давидом, то им оставил…

1216 — Поход 900 псковичей с князем своим Владимиром в помощь Новгородскому князю Мстиславу Мстиславичу на князей Яростава, зятя Мстиставова, и Георгия к Переставлю; а между тем унганнийцы с войском Рижского епископа и братьями рыцарства доходили даже до Новагорода и со многою добычею возвратились в Одемпе.

1217 — Поход псковичей с князем своим Владимиром на унганнийских чудей к городу их Медвежьей Голове (Одемпе) за набеги от них. В сем походе с ними ходили новгородцы, естляндцы, езельцы, гариенцы и саккаланы, возмутившиеся тогда против лифляндских рыцарей, которые помогали унганнийцам. Всего сего войска было до 20000. Псковичи с естляндцами и проч. произвели много разорении, а Дидрих, брат Рижского епископа Алберта и зять Владимиров, новгородцами взят в плен и

увезен. Новгородцы получили в добычу 700 коней. Потом заключен мир и торговый договор. В следующем году Владимир опять ходил воевать на реку Ембах. или Амовжу, потом вторгся в Лифляндию и доходил до Одемпе, но, услышав, что литовцы подступили под Псков, поспешил возвратиться и с ними заключил мир…

1225 — Литва нападала на Торопец и на земли Новгородские и Смоленские; но Ярослав, Новгородский князь, со Владимиром Псковским и братом его Давидом Торопецким догнали их близ Усвята и побили до 2000.

1234 — Поход Новгородского князя Ярослава с новгородцами и псковичами на лифляндцев к Юрьеву и перемирие с ними на три года.

1240 — Новгородцы и псковичи готовилися в поход на Германа, епископа Дерптского, но он призвал на помощь лифлянского орденмайстера Германа Балка и датского воеводу, которых ушедший к лифляндцам бывший Псковский князь Ярослав привел на Псковскую область. Они осадили и взяли Изборск, побили там до 600 псковичей и потом, подступив под Псков, выжгли посад, а наконец предательством одного именитого гражданина Твердила, или Твердислава, взяли и город. Рыцари уставили тогда во Пскове своих тиунов и двух правителей, и в числе их определен изменник Твердислав. По сказанию Гиерна и Келха, якобы сам вожатый лифляндцев Ярослав (по-их Герполт) заключил с ними во Пскове мир и уступил им лучшие земли[1].

Вот так все и было: военные походы, отражение вражеских набегов и атак, бряцанье мечей и секир, гудение пламени, плачь женщин, детей, звон кольчуг, лошадиное ржание, воинский клич… И все это — из года в год, из десятилетия в десятилетие… «Чести моей никому не отдам» — только так, с таким устремлением сердца можно было прожить и князю, и воеводе, и дружиннику, и любому мужчине, готовому защитить свой дом, свой город, свою страну. «Чести моей никому не отдам!»

Итак, мы подошли к важнейшему этапу истории земли Псковской, связанной с благоверным князем Довмонтом, во святом Крещении Тимофеем, который был посажен псковичами на столе св. Всеволода и тридцать три года защищал славный град Псков от всех бед и напастей, благоустраивал его и благоукрашал, а после своей блаженной кончины нашел место последнего упокоения в храме Святой Живоначальной Троицы…

[1] *Митрополит Евгений (Болховитинов).* Сокращенная Псковская летопись. Псков: Отчина, 1993. С. 6—12.

В XIII веке Литвой правил князь Миндовг, прослывший собирателем земли Литовской, язычник, имевший, по воспоминаниям современников, свирепый нрав. У него было два сына — Воишелк и Довмонт. Первый был князем Новгородка Литовского (Новогрудека), а последний Нальшанским. Воишелк (Вышелк), согласно некоторым историческим источникам, отличался крайне жестоким характером и в этом даже превосходил отца. Кровопролитие, убийство были для него нормой жизни, и, как про него говорили, он был весел лишь тогда, когда забавлялся убийством. Но и над ним свершилось чудо Божие, он принял христианство, и жестокий нрав его тут же переложился на смирение и кротость. Он оставил княжение и принял монашеский постриг под именем Давида в Полонинской обители у игумена Григория, известного благочестием. Известно, что он ходил потом в Иерусалим и на Афонскую гору и, возвратившись, построил себе обитель на берегу Немана между Литвою и Новогрудеком, принадлежавшим в 1255 г. Роману, сыну Короля Даниила Галицкого.

В 1263 г. Литовские князья Тренята, князь Жмудский и другие, выведенные из терпения жестокостью Миндовга, убили его и начали кровопролитное междоусобие, в котором погиб и Тренята. Тогда Воишелк-Давид, сняв с себя иноческую одежду, начал боевые действия против убийц своего отца. Литва облилась кровью, и многие мятежники пали от мечей его воинов. Впоследствии Воишел вернулся к монашескому чину, возвратился в свой монастырь и там окончил свою жизнь.

Другой же сын Миндовга, Довмонт (иначе Домонт или Домант), во время этой междоусобицы в 1266 году с дружиною и всем своим родом удалился в Псков, где крестился под именем Тимофея, и был посажен псковичами на столе св. Всеволода. Следует отметить, что это решение псковичей было не совсем обычным и выпадало из обыденного порядка вещей. Чужеземец становится князем русского города — не потомок св. князя Владимира, не принадлежащий к роду рюриковичей, а пришелец-литвин. Не чудо ли? Но был, безусловно, во всем этом промысел Божий, который из чужестранца воздвиг истинного сына нового русского отечества. Князь Довмонт, во святом Крещении Тимофей, своими великими подвигами и трудами с лихвой оправдал доверие псковичей.

Первым подвигом Довмонта стал поход на Литву, совпавший по времени с местью Воишелка убийцам Миндовга. Новый князь Псковский разорил Литву, разбил князя Герденя (от которого претерпел прежде много бед) на берегах Двины, взял в плен его жену и двух сыновей и смиренно

приписал успех своего оружия заступлению св. Леонтия, в день памяти которого он одержал эту победу.

С того дня славный меч Довмонта в течение тридцати трех лет служил защитой не только Пскову, но и Новгороду и всей северной Руси от всех ее врагов — от Литвы, Чуди, Корелы и Ливонских Рыцарей.

Женатый на Марии, дочери Великого Князя Димитрия Александровича, Довмонт готов был положить за последнего свою голову, а по смерти тестя свято соблюдал обязанности удельного Князя по отношению к новому Великому Князю Андрею, брату Димитрия. Жители Пскова любили Довмонта более всех других князей. Воины, которых водил он в бой, не боялись смерти. В час опасности и кровопролития девизом его были слова: «Братья мужи Псковичи! Кто стар, тот мне отец, а кто молод, тот брат! Слышал я мужество ваше во всех странах: постоим за Святые церкви и за свое отечество!» Прибегая во всех опасностях с пламенной молитвой к Богу, он полагал меч свой пред Его алтарем в соборе Святой Троицы и снова препоясывался им из рук служителей алтаря.

Длинный ряд блистательных подвигов князя Довмонтова завершился 4 марта 1299 г. победой у самого Пскова на берегу реки Великой. Здесь доблестный вождь Псковичей, уже маститый старец, в последний раз разбил Немцев и в том же году 20 мая преставился. Благодарные Псковичи горько плакали, погребая его под храмом Святой Троицы.

Вскоре по кончине доблестного Князя благодарные Псковичи стали чтить намять его как своего заступника пред Богом, молитвенно охраняющего земную свою отчину. В августе 1480 г., когда Немцы, в числе 100 тысяч, осаждали Псков, Св. князь Довмонт явился во сне некоторому благочестивому мужу и сказал ему: «Возьмите одеяние (покров) гроба моего, обнесите его три раза вокруг города с крестами и не бойтесь!» Псковитяне, ободряемые этим видением, смело вступили в бой с врагами и принудили их снять осаду. И в страшное время осады Баториевой удостоенный дивного видения старец Дорофей в числе других угодников Божиих видел и сего благоверного Князя, молящегося о спасений града.

Первый храм в честь Св. Довмонта был построен в 1574 году. Память его празднуется 20 майя. Служба отправляется по рукописи, составленной уже после нашествия Батория. Ныне сохраняющаяся в соборе рукопись очень не давняя. Неизвестно, когда перенесены мощи благоверного

Князя из нижней в верхнюю церковь, но полагают, что не ранее построения нынешнего собора[1].

За свои христианские подвиги князь Довмонт-Тимофей причислен к лику святых Русской Православной Церкви. А на памятнике в Великом Новгороде «1000-летия России» он увековечен в бронзовом горельефе.

Святой благоверный князь Довмонт-Тимофей и его супруга, в схиме преподобная Марфа (память 8 ноября), удостоились особой почести быть изображенными на чудотворной Мирожской иконе Божией Матери (празднование 24 сентября): «Благоизволися пречистому образу чудотворныя иконы Твоея, Богородице, написатися зрака подобию нашего в бранех твердаго заступника князя Доманта со благочестивою супружницею» (седален службы святому благоверному князю Довмонту-Тимофею).

В русской истории сохранился интересный эпизод: близ границы с Китаем летом 1679 года, в Петров пост, отряд казаков во главе с Гаврилой Фроловым отправился из Албазина на разведку в долину Зеи, и повстречали казаки двух всадников на белых конях, вооруженных луками и мечами. Это были святые Всеволод-Гавриил (Псковский князь) и Довмонт-Тимофей, которые сказали: «И паки придут китайцы, будут приступы и бои великие, и мы в тех боях будем в помощь русским людям. А града китайцы не возьмут».

Таков был святой благоверный князь Довмонт-Тимофей… И есть по сей день — по-прежнему доблестный, но теперь уж небесный, защитник и милостивый ходатай за всех православных христиан…

Граф Михаил Владимирович Толстой рассказывает нам о почитаемой псковичами святыне — мече святого покровителя града Пскова, который в описываемое историком время находился в Свято-Троицком соборе.

«В простенке близ гробницы, — пишет Толстой, — висит знаменитый меч, долго служивший защитою Пскову и предметом особенного уважения Псковитян, которые вручали его Князьям, возводимым на престол в храме Святой Троицы; так, например, он был вручен в 1460 году сыну Темного, Князю Юрию Васильевичу, присланному родителем по просьбе жителей Пскова. Этот меч, так же как и меч св. Князя Всеволода, имеет форму креста, но несравненно менее первого, и отделка его не так изящна. Длина его 1,5 аршина; обложенная деревом рукоять меча обвита серебреною проволокою. Ефес серебряный позолоченный; посреди его

[1] См.: Святыни и древности Пскова. Сочинение графа М. Толстого, 1861 г. Репринтное издание 1993 г. ТОО издательства АРС. С. 32—34.

находится дощечка, украшения посредине двумя лавровыми ветками. Клинок меча стальной, обоюдоострый с выпуклою посредине гранью. Ножны обделаны в зеленый бархат, с серебряным позолоченным оконечником, на котором изображены лавровые ветки и другие украшения. Вес меча 6,5 фунтов»[1].

Сегодня эта святыня находится в Псковском музее-заповеднике на экспозиции, посвященной воинской славе древнего Пскова. Экскурсоводы о личном оружии св. князя Довмонта, в частности, рассказывают следующее:

«Такое оружие, применявшееся как для рубки, так и для колющих ударов, характерно для XIV и XV веков, но крайне редко встречаются образцы, относящиеся ко второй половине XIII века — времени жизни Довмонта. Известна точная аналогия нашему мечу на одном рыцарском изображении 1299 года. Упоминания о клейме на оружии в виде волка, которым украшен меч, начинаются около 1260 года. Конечно, полностью ручаться за принадлежность дошедшего меча именно Довмонту нельзя, но совокупность датировки, украшений, боевого и почетного значения, а также сходство с мечом на ранних изображениях князя позволяет достаточно уверенно предполагать, что до нас дошел подлинный меч святого покровителя Пскова — оружие, которым он одерживал свои знаменитые победы, которым «уязви в лице» орденского магистра, а может быть, этот меч — тот самый, которым был убит великий Миндовг.

В каждом государстве, имеющем историю, в каждой древней столице есть предметы, являющиеся его символами и главными святынями. Часто это религиозные реликвии либо атрибуты государственной власти. Величию древнего Московского царства приличествует шапка Мономаха и Владимирская икона Богородицы, блеску Санкт-Петербургского двора — усыпанная бриллиантами корона Российской империи.

В древнем Пскове, рыцарственном городе-воителе, стоявшем на страже рубежей Святой Руси, такими реликвиями, сочетавшими функции знаков княжеского достоинства и религиозных святынь, хранившихся в главном соборе города, являются драгоценные мечи святых защитников и покровителей города, князей Довмонта и Всеволода»[2].

Меч князя Довмонта за всю свою историю покидал пределы Пскова лишь два раза. И это не случайно. Ведь этот меч, как говорилось выше,

[1] Святыни и древности Пскова. Сочинение графа М. Толстого, 1861 г. Репринтное издание 1993 г. ТОО издательства АРС. С. 31.

[2] По материалам сайта *http://www.museum.pskov.ru.*

не просто оружие, но символ единства духовной и светской власти. Существует даже некое поверье, согласно которому при ком этот меч покинет город — тот потеряет власть. В 1941 году эту реликвию вывезли из Пскова, так как фашисты подступали к городу. После этого в Пскове установилась власть немецко-фашистских оккупантов. Второй раз меч попытались вывезти в 2004 году для выставки в Швецию. Против этого выступили ветераны Великой Отечественной войны, православная общественность, научные сотрудники музея… Но святыня все-таки покинула Псков. Когда реликвия прибыла в Москву, губернатор Михайлов изменил свое прежнее решение и распорядился вернуть меч обратно. Но какое-то мистическое равновесие, установленное свыше, он наверное нарушил. Потому что в том же году на выборах неожиданно проиграл сопернику, у которого, по общему мнению, вообще не было никаких шансов прийти к власти. Рискнет ли еще кто-нибудь из власть предержащих испытывать судьбы Божии?

Во всяком случае, пусть помнят, что без промысла Божия ничего в жизни не свершается. А отношение к святыне — это главный показатель духовного здоровья народа, общества. И чем выше, благоговейнее это отношение, тем менее поводов у Небесного Судии пробуждать совесть нашу и душу бедствиями и скорбями. Но, слава Богу, есть у нас еще святыни, которые мы почитаем и храним. Есть у нас небесные покровители, святые Божии человеки, которые прежде, в земной жизни, прославили свои имена грандиозными подвигами и трудами…

У каждого народа есть великие герои, великие имена, звучащие столь благозвучно и величественно, что царственную гармонию этого звучания бессильно умалить и само время. Имена эти вписаны в небесные скрижали, и каждый человек произносит их с благоговением, преклонив главу… Не будем говорить о героях древнего языческого мира, потому что и на нашей святой Русской земле их вполне достаточно. Святой благоверный князь Довмонт-Тимофей — один из таких героев. Мужественный воин, замечательный военачальник, из всякого сражения выходивший победителем. Вот где урок для сегодняшнего защитника Отечества, высокий образец для подражания русскому воину, и не только воину, но и всякому русскому человеку. А вот добрый помысел, заключающийся в словах сего благоверного князя, добрый посыл к действию, спасительный и для каждого христианина и для всего народа в целом: «Постоим за Святые церкви и за свое отечество!»

Валерий Мухин

ПСКОВУ

Как древо жизни мощными корнями
Уходит прочно в глубину земли
И вверх растёт могучими ветвями,
Неся в простор извилины свои,
Так величаво, древними годами
Обнявшись крепко с бездною веков,
Задумавшись седыми куполами,
Стоит старинный русский город Псков.

Как русский витязь и меча, и слова —
Сражался, защищал и побеждал...
И поднял грудь вдоль берега крутого
Стены кремлёвской неприступный вал.
Ты помнишь, как кровавые былины
Тебе несли истории ветра,
Как Невского победные дружины
У врат кричали дружное «Ура».

И молодое солнце над тобою
Взошло и льёт сияние своё,
И смотришь ты историей живою
На озорное жизни бытиё.
И, просветлев разбуженной душою,
Седой не опуская головы,
Ты радуешься миру и покою
На берегах Великой и Псковы.

Мухин Валерий Михайлович. Родился в 1942 году в пос. Кесьма Весьегонского района Калининской (ныне Тверской) области. Образование высшее. Автор более десяти поэтических сборников. Член Союза писателей России. Живёт в Пскове.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Давно вокруг другая жизнь кипит,
Наполненная песнями и смехом...
На пьедестале мирный танк стоит
Войны ушедшей неумолкшим эхом.

По-над рекой Великою привстав,
О мужестве отцов напоминает.
С утра его гранитный пьедестал
Букетами живыми расцветает.

Невдалеке грохочут поезда, —
Встревоженные вздрагивают траки,
И вспоминает танк про те года,
Когда он богом был крутой атаки.

Когда вставали в бой за взводом взвод,
Гремели взрывов ближние раскаты;
Под твёрдое и хриплое «Вперёд!»
К Победе шли безусые солдаты.

И наполнялись мужеством ветра,
В крови кипела ненависть и сила,
Под яростное дружное «Ура»
Уже Звезда Победная всходила...

ЛИЦО ВОЙНЫ

Нет, я не воевал на той войне —
Душа ещё не вызрела для битвы,
Но слышал я в тревожной тишине
Рыдания и бабкины молитвы.

Нет, я фашистов кровь не проливал
И целился пока что из рогаток.

Но я уже до боли понимал
Над похоронкой плачущих солдаток.

Лица войны, звериного лица,
Боялся я и прятался в сусеке,
Когда узнал, что моего отца
Она себе присвоила навеки.

Вот потому во сне и наяву —
И днём и ночью — это твёрдо знаю:
Пока я помню, верю и живу —
Войну я, как убийцу, проклинаю!

УХОДИТ ВЕТЕРАН

Он был как потухший вулкан —
Таким же суровым и мрачным,
Великой войны ветеран,
Пропитанный дымом табачным.

Волос непрочёсанный лес,
Седая щетина по скулам,
Отстёгнутый чёрный протез
Валялся под сломанным стулом.

Какой обжигающей тьмы
Коснулся он: раз — и навеки!
И плечи как будто холмы,
И руки стекали, как реки.

А в пристальных серых глазах
Таилась забытая сила…
И только душа в небесах,
Казалось, о чём-то просила.

РУССКАЯ БАБА

Великую Отечественную войну
в России выиграла русская баба.
Фёдор Абрамов

Не жалеют русской бабы,
И она, как лошадь, прёт
Через кочки да ухабы —
Сколько может, столь везёт.

В зной ли, в холод леденящий,
В молотьбу, в косьбу, в жнивьё...
Чем сильнее баба тащит —
Больше валят на неё.

Был, наверно, прав Абрамов
(Мужику не будь в вину)
В том, что выиграла баба —
Баба русская войну.

Как и раньше, так и ноне
Всю страну на Божий суд,
Как породистые кони,
Бабы русские несут.

ПСКОВСКАЯ МЕТЕЛЬ

По-февральски ветренен и влажен,
Засыпает город снегопад
И сегодня, и вчера, и даже
Тысячестолетие назад.

Тысячестолетие промчало...
Тысячестолетие прошло...
Было здесь всея Руси начало.
Боже, сколько снегу намело!

Над Псковой мело и над Великой...
Но слышны в метелях голоса,
И видны задумчивые лики
И такие чистые глаза.

И такие песни люди пели,
Что сегодня за сердце берут,
И такие слышали метели...
Впрочем, и сейчас они метут.

Город зачарован. В белом чуде
Небо, и дома, и тополя...
И сейчас живут на свете люди,
На которых держится земля!

Я В МИР ПРИШЁЛ

Я в мир пришёл, не ждан и не обласкан,
И, не желая сущего понять,
Я слышал в орудийном громе сказку
И в плаче — песню, ту, что пела мать.

Казалось, мир не помнил о великом
Спокойствии…
И вдоль дорог окрест,
Куда ни глянь, — безмолвным скорбным ликом
Мне каждый оборачивался крест.

Пусть я не захлебнулся горем общим,
Но стали мне понятней и видней
Бескровные улыбки безотцовщин
И вдовьи слёзы матери моей.

И понял я, что буду, буду, буду
Тянуться к свету —
Как живой росток!
И вот живу, почти не веря чуду,
Боясь забыть, как этот мир жесток.

Ирена Панченко

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

1999. Сербам, братьям по вере и крови
2014—2015. Жителям Донбасса

На зелень леса хлынули снега —
И вновь черёмуха пред всеми виновата!
Цветы и снег! Всё белизной объято.
Тепло опять ударилось в бега.

Как много обещало солнце нам:
Раскрылись почки, и сердца раскрылись,
И над землёю запахи клубились,
Ликующий стоял над лесом гам!

Но смолкло всё. Скукожилась трава,
А в душу хлынули свои, чужие беды…
И в тостах праздничных во славу Той Победы
Молитв вплетались горькие слова.

«Спаси, Господь, страдающих, больных,
Прозренье дай воинственным и ражим!
Да будет брат наш славянин отважен,
Спаси, Господь, по крови нам родных!»

Панченко Ирена Язеповна. Драматург, поэт, художник. Родилась в 1938 году в городе Краслава в Латвии. Война заставила семью на долгие четыре года переселиться в лесную землянку. Публиковалась в местных и республиканских газетах. В 1968 году переехала в город Псков. Имеет звания почетного работника общего образования РФ и заслуженного работника культуры РФ. Член Союза писателей РФ. Автор десяти пьес, трех поэтических сборников, книг для детей и юношества. Живет в Пскове.

Прошли года. Теперь горит Донбасс.
К нам ближе подступает вражья сила!
И время снова испытует нас —
Чтоб Русь по крови братьев не забыла.

А день Победы близок, и цветы
Уж вскоре повернут головки к свету.
Ужель дадим мы погубить планету
И сжечь дадим последние мосты?!

ПРОЗРЕНИЕ

Не возвышай себя перед другими,
Но свой язык и веру сохраняй.
Не предавай ни Родину, ни имя —
Люби свой древнерусский тихий край.

Но, как слепец, не разобрав дороги,
Брела Россия годы наугад
И обивала грязные пороги,
Чтоб милостыню брать у всех подряд.

Не испросив на путь благословенья,
Вручив себя чужим поводырям,
Духовное в пути утратив зренье,
Она брела, познав позор и срам.

Но срок настал. Страна, поднявши вежды,
Всё ж осознала гибельность пути.
Ведь небо посылает луч надежды,
Чтоб свой исконно русский путь пройти,

Не потрафляя чужеземным вкусам,
Общинный свой не разрушая дух.
О Всеблагой наш Господи Иисусе,
Верни России зрение и слух!

Верни нам гордость за свою Отчизну,
Верни уверенность, что Богом дан нам путь!
Хоть недруги по нас справляют нынче тризну,
Но живы мы и расправляем грудь!

СОЛДАТАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ

А по земле опять рассвет струится,
Заря в объятия взяла полнеба.
Мальчишкам сладко на рассвете спится,
Им снится, снится то ли быль, то ль небыль.

Им рано пробуждаться по побудке,
Движеньям придавая обороты.
Уже включили строгий счётчик сутки,
И в чёткие шеренги встали роты.

Солдатами мальчишки не рождаются —
По долгу перед Родиной становятся.
Они за правду и за нас сражаются,
И матери за них всенощно молятся:
«Спаси их, Господи, спаси от смерти,
Сыночкам рано уходить в бессмертье!»

А по земле опять рассвет струится,
Заря в объятия взяла полнеба.
Мальчишкам сладко на рассвете спится,
В снах — жар любви и спелый запах хлеба.

В ИЗБОРСКЕ

Легко плывут над Мальским облака.
То — отражение: взгляни — по водной глади
Две гордых птицы в свадебном наряде
Скользят, волнуя тишь воды слегка.

Журчанье струй, отрада и простор —
Как в час Божественного мира сотворенья!
Но не единожды в веках здесь шли сраженья,
А тишина — как прошлому укор.

Тропою торной к крепости иду —
Как мощно взмыли в высоту руины!
Возникнут зримо прошлого картины,
Когда к стене, что в ранах, припаду…

Звон с колокольни церкви, звон мечей,
И стоны, и команды, гром орудий...
Здесь смертный подвиг совершали люди,
Чтоб не отдать врагам земли своей.

А мы туристами идём вдоль древних стен,
Здесь тихо так, волшебно и прекрасно,
И мнится: будет в мире безопасно,
И от судьбы не ждём мы перемен.

Уж так ли благостно у западных границ?
Европа предавала не однажды —
История Изборска нам расскажет,
Какие ветры мчат заморских птиц.

На страже быть, чтобы сберечь свой дом,
И дух крепить нам завещали предки,
А раны стен — истории пометки.
Изборск в дозоре. Вечном и святом.

Анатолий Александров

ВСПОМИНАЯ ИСТОРИЮ

Псковская околица —
Не гони коней,
Да гора Сокольница
Значится при ней.

Зори ходят пламенно
К западу играть —
Тут застыла каменно
Кованая рать.

Это люди верные,
Если что не так —
Копья долгомерные
Для лихих атак.

Чтобы те не клацали
О гранит плиты,
Древки сжали пальцами
Аж до ломоты.

Щит из полукружия
Как волны прибой,
Всё своё оружие
На смертельный бой

Александров Анатолий Алексеевич. Родился в 1953 г. в Локнянском районе Псковской области. Кандидат исторических наук. Автор трех научных монографий и более ста научно-популярных статей. Стихи печатались во многих сборниках псковских поэтов. Автор сборника стихов «...И Пскова вечная дорога». Член Союза писателей РФ.

Долгими зарницами
Держат на виду
Для ливонских рыцарей
На апрельском льду.

Избы под соломами,
Многоцветье льна,
А за их шеломами
Псковская стена.

Там, за перелесками,
Иней на плече,
Александра Невского
Пальцы на мече.

За дома да выселки
Рубятся сплеча,
Ярко-красны высверки
Русского меча!

Тут уже не сменишься!
Гладь озёр пуста.
Никуда не денешься
С этого поста…

* * *

Глухой неслышный ропот,
Жестокая тоска.
Уходят из Европы
Советские войска.

У края, замирая,
Вагонов шум затих.
Вторая мировая
Закончилась для них.

Под небом серо-синим
Закрытые глаза.
А их зовет Россия
Назад, назад, назад.

А дома будут дети,
А дома ночь из звезд.
Ушли на полстолетья
Атаки в полный рост.

Но снятся сны лихие
Для тех, кто стар и сед,
Где их друзья живые
В неполных двадцать лет.

Где счастье и несчастье
Решают скорый спор.
И бьет трофейный «шмайссер»
В упор, в упор, в упор.

* * *

Гремел снаряд, летели доски,
И боевой звучал приказ —
Войны великой отголоски
Дошли преданием до нас

И гарь порохового мига
Кипящей Западной Двины.
Пусть будет людям эта книга
Суровой памятью войны

Без запятых и междометий.
Лежал в золе сожжённый край.
Минуло семь десятилетий,
И вот опять победный май.

Опять поют на ветках птицы,
Сиянье капель дождевых…
Листая книжные страницы,
Помянем мёртвых и живых!

* * *

Не нам и не вам оглянуться назад —
Дорогу мостят палачи,
Планета гремит под ногами солдат,
Набат не стихает в ночи.

Их ветер восточный уносит назад —
Ах, призрак, уймись и остынь! —
И дремлет вполглаза исламский джихад
В глуши палестинских пустынь.

Кому в этом мире дано превозмочь
Наследье Берлинской стены?
И кузницы скрытно куют день и ночь
Оружие третьей войны.

* * *

Своё отсвистели осколки,
И смерть преподала урок.
Прижались лохматые ёлки
К обочинам сонных дорог.

Удачи всего полпроцента —
Лесная дорога на склон,
А танки из армии «Центр»
Давно обошли батальон.

А вроде бы дрались жестоко
И вот оказались в глуши.
Ползут большаками к востоку
Колонны зелёных машин.

И эта дорога до фронта
Нескорых четырнадцать дней —
Нечёткая зыбь горизонта
И редкая россыпь огней.

ЕВРОПА

Границ рисованый картон,
И вот оттуда в три притопа
Грозит России сквозь кордон
Объединённая Европа.

Не материк и не страна,
А что-то среднее, по сути, —
В эпоху викингов она
Была раздёргана в лоскутья.

И суд без всякого судьи,
И графства плавали на ме́ли,
Когда норманнские ладьи
Её громили, как умели.

Её исток сейчас забыт;
Звенела старая посуда —
Средневековый старый быт, —
Всё это вылилось оттуда.

А вот сейчас — закрытый слот,
И в моде горькие напитки:
Заокенский кукловод
Умело дёргает за нитки.

Потом идти, куда пошлют,
А дальше — всякие напасти.
Европой правит абсолют
В полугримасе жёсткой власти.

* * *

Заросший луг и речка Веста,
И кровью капает вино…
Россия — сумрачное место,
Понять Россию не дано!

Уж сколько раз враги пытались
Переиначить русский лад,
И те, что после оставались,
Катились с ужасом назад.

Круша препоны и границы,
Войска ломили напролом,
Летали огненные птицы
На чёрном небе грозовом.

Дороги вскопаны и мглисты,
Война бывала тут не раз:
И вот теперь, когда нацисты
Долбят ракетами Донбасс,

Когда, казалось бы, по силе
Им всё смести в огне и зле,
Мы вспомним миссию России
Во имя мира на Земле.

И сколько б ни было протеста,
Вреда и воя — всё одно:
Россия — солнечное место,
Догнать Россию не дано!

Валентина Николаева

ТРУДНО ЗАБЫТЬ…

Сколько вёсен, лет прошло, сколько раз сменилась трава на солдатских могилах, и на местах былых боёв краснела брусника, и голубели незабудки. А если бы собрать материнские слёзы за эти годы, появилось бы море скорби по погибшим сыновьям. Но нет уже тех скорбящих матерей! А нам, семнадцатилетним к началу войны, тоже не даёт покоя память о них, не пришедших…

Обо всех написать невозможно, но чувство величайшей благодарности к ним, защитившим нашу русскую землю и отдавшим ей самое дорогое — жизнь, не покидает нас. Мы ничего не забыли! Помним целые события, эпизоды, лица.

Однажды к нам в землянку (а жила я в то время в деревне Леонково Пушкиногорского района) постучали семь молодых солдат.

Они были совсем юные, ещё ни разу не участвовали в сражениях, это им предстояло через несколько часов. Безусые мальчики были серьёзны не по годам. Они понимали и опасность, и ответственность. Об этом поминутно напоминали рвущиеся снаряды, небо, озарённое пожаром.

Увидев в землянке девушку, оживились. Вскипятили чай, разговорились. Были они из разных краёв: из Прибалтики, с Волги, из Сибири. Щедрые, добрые до бесконечности. Пытались шутить, улыбаться. Недолгой была наша беседа. Приказ: «На выход!» Простились за руку со всей семьёй, оставив на столе сахар, сухари, бумагу, адреса. На мой молчаливый вопрос один из них сказал: «В память о нас. И напишите нам!» Они не плакали, прощаясь. А просто ушли, чтобы защитить нас, и не вернулись. Я увидела их раненого сержанта в госпитале, который находился в соседней деревне Циботово. Он сообщил мне, что они все погибли…

Мне 83-й год, но я не забыла их. Рассказывала о них своим ученикам, сыну, внуку. Расскажу и правнукам, коль доживу. Разве такое забудешь!

Николаева Валентина Федоровна. Родилась в Пушкиногорском районе Псковской области. Окончила в 1941 году Псковский педагогический техникум. Работала учителем русского языка и литературы. Сотрудничала с изданиями центральной и местной прессы. Автор книг «Гостеновские байки», «А Шумелиха шумит».

О МИШЕ МИХАЙЛОВЕ

Я стою на врёвском кладбище у небольшого зелёного холмика. Особых примет нет. Ни памятника, ни оградки, но сюда часто заходят люди старшего поколения. Кто здесь покоится и откуда он? Почему о нём помнят и стоят с обнажёнными головами?

Жила вдова в глухой деревушке Кузовиха с тремя ребятишками. Несладко живётся одиноким женщинам, да ещё с ребятнёй. Но как-то надо выходить из положения. И выходили. Зимой дети школу посещали, а летом пасли деревенский скот. Зарабатывали на хлеб насущный.

Был у Пелагеи сынок-мечтатель. Лежит Мишенька на зелёной травушке и мечтает: «Эх, кабы стать лётчиком, взлететь на небо и появиться над своей деревушкой. Вот позавидовали бы!» Кто знает, может, и случилось бы это чудо. Все детские мечты разлетелись в прах. Проклятая война! «Что здесь надо непрошенным гостям? Ну, мы им покажем Кузькину мать!» — грозит мальчик.

Приехал в их деревушку бывший директор школы Александр Григорьевич, чтобы собрать старших ребятишек в партизанский отряд. А Мише говорят: «Слишком молод!» Миша со слезами: «Я буду хорошим разведчиком, каждый кустик знаю, от меня никакой враг не укроется!» Сдался Александр Григорьевич: «Идём, Миша, раз ты такой отчаянный». И действительно, не по-детски серьёзный паренёк бывал в самых опасных местах. Гордился им командир, восхищались товарищи.

Однажды Миша говорит командиру: «Отпустите меня, пожалуйста, навестить мать!» Отпустить-то, конечно, можно, но опасно. Везде враги. Отпустили. Обрадовался. Сел на лошадь. Помчался. Уже совсем близка деревня. Оглянулся. Погоня. Догоняют полицейские. «Живым не сдамся!» — мелькнуло в голове у мальчика. Когда они были в нескольких шагах, Миша выхватил гранату. Не стало юного героя. Рядом лежали мёртвые враги.

По-прежнему летят птицы над головой. Шумят берёзы. Я уверена, они шумят о нём, бесстрашном мечтателе-разведчике Мише Михайлове. Стоим, не шевелясь, боясь нарушить сон вечности.

Мы помним тебя, Миша!

ТРИ РУСИ

Приходят горестные вести —
Разлада бедствия остры.
А мы недавно жили вместе —
Все три Руси, как три сестры.

Нам в одиночку хуже стало.
Надёжней было нам, пока
Большая Русь роднилась с Малой,
Роднилась с Белой на века.

Кому-то вместе стало тесно,
А почему — поди спроси…
Бог любит Троицу, известно,
А значит, любит три Руси.

И наш разлад — как злое дело,
По одному труднее жить.
И воля высшая велела —
Нам вместе быть,
Нам вместе быть!

ВЕТЕРАНУ

Ветерану ещё рано
Уходить совсем-совсем,
Хоть на сердце его рана
До сих пор видна не всем.

Федотова Ларина Викторовна. Родилась в 1936 году в Череповецком районе Ленинградской области. Во время войны была в оккупации в Невельском районе. Первый сборник стихов, «Аленушка», вышел в 1981 году в Москве. Автор 14 сборников стихов, печаталась в псковских и центральных газетах и журналах. Член Союза писателей РФ.

Как-то школьники спросили,
Где на фронте он дерзал,
Как теперь живёт в России?
Он им правду рассказал.

Нам без этой правды плохо,
Зло диктует свой устав —
Вновь с ума сошла эпоха,
Нам победу оболгав.

Кто бы думал, что найдутся
Самостийные вруны.
Только стоит оглянуться —
Вот они в рядах шпаны.

Ложь их слышится с экрана,
Это западный посыл.
Я же славлю ветерана,
Только дольше бы он жил.

РОДИНА МОЯ

Родина моя, твой свет неугасимый,
Словно дар небесный, в сердце берегу.
В памяти сроднились — солнцем опалимый
Берег у реки и кони на лугу.

Родина моя, ты обликом другая,
Мохом заросла тропиночка моя.
Ноги не дошли до невельского края,
Кто тебя забросил, может, это — я!

Родственный настрой не кажется мне лишним,
Мне с тобой легко и дышится вольней.
Родина моя, а мы друг друга слышим,
Потому что мы с тобой одних корней.

Если что не так в моих поступках было,
Я тебя теперь ни в чём не посрамлю.
Родина моя, а ты меня простила,
Я тебя любую, Родина, люблю.

ЕПИСТИНЬЯ

В степь ведёт полевая дорога,
Рядом хата — единственный кров.
Отдохни, Епистинья, немного,
На подхвате все девять сынов.

Поглядишь — за столом их орава,
Отвратят от несчастий и бед.
В них играющей силищи лава,
Все при деле, и лодырей нет.

Даст судьба Епистинье отрады,
И она выпьет радость до дна.
На коне скачет хлопец у хаты,
Восклицает истошно — война!

Сколько слёз у детишек и жинок,
Холостым утешение — мать.
Собрались её девять кровинок
И ушли — кто куда воевать.

Закрутились смертельно воронки,
И уже рядом бездна видна,
Как пошли чередой похоронки,
Много их, Епистинья одна.

Её разум в смятении бился,
Каждый сын для спасения дан.
Лишь один Николай воротился —
Умереть всё же дома от ран.

ПОБЕДА НАША

Пока мы живы, спрашивайте нас,
Каким он был, тот самый страшный час,
Когда на всю огромную страну
Сказали в репродуктор про войну.

И объявила нам сурово власть —
Фашистская лавина поднялась.
Бомбят их самолеты города,
Грохочут танки, движется орда.

Когда прошел первоначальный шок,
Подумать каждый об отпоре мог.
Чем армии немедленно помочь?
В строй — патриоты, паникеры — прочь!

И всколыхнулся весь большой Союз,
Взвалил на плечи непомерный груз,
И выдержал четыре года он
Огонь и натиск — смерть со всех сторон.

И всё же наша сила верх взяла
И наперед врагам урок дала,
Чтоб на земле знал каждый человек —
Победа наша — присно и навек.

Пока мы живы, спрашивайте нас…

РУССКИЕ ДЕРЕВНИ

Они непритязательны и древни,
Похожестью от дерева пошли.
Не умирайте, русские деревни,
Держитесь за бессмертие земли.

А избы протянулись возле речки,
И улица пускай всего одна…
У берега лежат мосты-дощечки,
Вода под ними светится до дна.

За полем бор, разросшийся пространно,
В лесу таится райский уголок —
Густая многоцветная поляна
И муравьиный маленький стожок.

В деревне — достоверная стыдливость,
Которую не жалуют сейчас.
А с деревенским духом справедливость
Ещё живёт пока в сердцах у нас.

Грусть о былом с тоской переплетется —
У памяти, наверно, есть глаза.
Ударит гром, рассудок встрепенётся,
И грянет очистительно гроза.

Метутся за околицей деревья,
И в святочной тиши лежит простор.
А в памяти моей живёт деревня —
Поляна детства, речка и костёр.

* * *

Мне понятен их слог, эта рідна,
Хоть различны с моими слова.
Запад снова вредит, это видно,
Разве их человечны права?

Что за право рулить там, где хочешь
Применить лишь понятье своё?
Ты о чём, Украина, хлопочешь,
Как не чувствуешь кривду-враньё?

Виноваты мы — к вам не успели,
У самих не мала чехарда.
Мы крестились в единой купели,
А теперь разногласий беда.

Где наш мир изначальный и дивный?
Может, правит сознанием бес?
Красно Солнышко, мудрый Владимир,
Погрози нам с высоких небес.

ДЕТСТВО МОЁ

Дом разграбленный наш…
Боль по хлебу остра…
«Ты, родимый, приляжь», —
Бабка просит с утра.

Жил в фугасном дыму
Лишним горем и ртом
И глаза потому
Натирал кулаком.

Верил в силу судьбы,
Ненавидел свой страх,
Собирая грибы
В смутных минных лесах.

Был непрост, с гонорком —
Словно я воевал.
…В детстве был стариком,
Пацаном — не бывал.

СВАДЬБА

Весёлой была только с виду
За стенкой свадьба у нас,
Сидели в углу инвалиды,
Не пряча отчаянных глаз.

Борисов Евгений Андреевич (1932—2004). Родился в Палкинском районе Псковской области. Был малолетним узником в фашистских лагерях. Учился в литературном институте им. А. М. Горького. Член Союза писателей РФ. Автор поэтических книг «Срочный груз», «Каменистое поле», «Гостинец» и книги прозы «Ольгинский мост».

Родные, друзья по работе,
Но не было этой порой
Отцов, убитых на фронте,
У нашей четы молодой.

А люди о том забывали —
Всю боль убивало вино,
И яростно «горько!» кричали,
Хоть горечи было полно!

Никто на судьбу не в обиде,
Лишь вдовы вздыхали: «Дела!..»
Чтоб слёзы никто их не видел,
На кухню прошли от стола.

Лишь к ночи закончились страсти.
А после заботы, труды…

Союз заключили на счастье
Две слитые вместе беды.

* * *

Я не снимаю, а сдираю
Клеймёные лохмотья с плеч.
И в День Победы примеряю
Шикарный не по росту френч.

Хоть всяк поймёт, что сиротина,
Но я не хмурюсь, оголец.
Не зря и горькая осина
Рядится осенью в багрец.

Через колючку лезу дерзко,
Рвусь из барака в яркость трав,
Не лагерь жизни пионерской,
А лагерь смерти испытав.

* * *

Неля мечтала быть летчицей,
А прослыла юлой-переводчицей.
Надевала
Платье из ситчика,
Объяснялась у дома
С зенитчиками.
И дивились
Девчонке-подростку:
«Как лопочет
По-ихнему просто!»
Но дразнили
Её ребята:
«Ты изменница,
Не вожатая».
Но откуда мы знали,
Что Неля —
Героиня, не пустомеля.
Что, играя
Словцом иноземным,
Помогает
Вырваться пленным.
Говорили —
Была расстреляна.
Пулей жизнь
Отсчитана Нелина.
Но не слушай
Речей пустомелей,
Не погибла,
Жива наша Неля!
В каждой дочке
И в каждой матери,
В нашем русском
Геройском характере.

* * *

Мы возвратились из неволи
На пепелища в поздний час.
Поклон старушке-колокольне,
Что первой приютила нас.

Сама едва жива стояла —
Израненная до креста.
Снарядом колокол сорвало,
Мертвели звонницы уста.

Вверху — пробоины в шеломе,
Внизу — спалённая земля.
Но нам — под лестницей, в проломе —
Нашлось местечко для жилья.

И верится: навек за далью
Военная пропала мгла.
Но нам, измученным, с печалью
Гудят в ночи колокола.

* * *

Александру Бологову

Был край войною оставлен,
Но след беды не исчез:
Смертельно язык мой изранен
Фугасом не наших словес.
Как город, разрушен он, грустно:
Чужой в нём и возглас, и стон.
Немецкими минами густо
Был также и лес начинён.
Не сразу изжил я уродство,
До русских поднялся стихов.
Как матери в горьком сиротстве,
Родных не хватало мне слов.

Но жаждой ученья отмечен,
Стою я, как нищий, в окне:
Подайте родительской речи,
Как хлеба насущного, мне!
И долго учитель минёром
Из слов моих тол вырывал.
А ты говоришь, что нескоро
Поэтом я всё-таки стал…
Среди одногодков не сильный,
Сильнее других обожжён…
Мой город в России старинной
Последним освобождён.

ПСКОВСКИЙ ЛЕС

Голубеет вокруг голубица,
На полянке осинник зачах.
Очень просто в лесу заблудиться,
Закружиться во клюквенных мхах.

Хоть чащоба страшит непролазная,
Нам тропинка сумеет помочь.
И коварная рысь быстроглазая
Не ударит, бросится прочь…

Но вступающим в лес фашистам
Страшен был каждый шорох и хруст,
И палил во врага ненавистного
Каждый пень трухлявый и куст.

Заросли медуницею доты,
Зеленеет на бункерах мох,
И порою вздыхает болото, —
Это словно о Родине вздох.

* * *

Видишь, Родина, как в мирном небе играют зарницы?
Слышишь, Родина, как величальная песня звучит?
На заре псковичи в храм идут за тебя помолиться.
И горят купола язычками свечи.

Приезжайте на миг белолицым церквям поклониться,
Чтоб рассвет не погас — посетите святые места.
Приезжайте на день, чтобы в город навеки влюбиться.
Тут молитву святым шепчут сами уста.

По заслугам и честь: город орденом Славы отмечен.
И десант, и спецназ множат подвиги славных отцов.
Здесь ведут под венец самых верных и преданных женщин,
И венчает союз перезвон бубенцов.

Спи спокойно, страна, если древнему Пскову не спится.
У Отчизны родной есть надежный и сильный оплот.
Над Великой рекой упиваются синью синицы.
По заветам отцов славный город живет.

Я ВЕРНУСЬ

На пороге дома, провожая сына,
Не хотела думать о разлуке мать.
Только почему-то горькая осина
Стала, как кликуша, ветками качать.

Гореликова Татьяна Викторовна. Родилась в 1958 году в м. Киверево Псковской области; с 1960 года живёт в Пскове. Образование среднее профессиональное. Автор более десяти поэтических сборников, публиковалась во многих коллективных сборниках. Член Союза писателей России.

Мать перекрестилась: не к беде ли это?
Сердце замирает, рвется из груди.
Только б не к худому старая примета.
«Подожди, мой мальчик, стой, не уходи».

Рассмеялся парень: «Успокойся, мама.
Обещаю, скоро я вернусь домой».
Ну а в дом влетела птицей телеграмма —
Сын на поле брани принял смертный бой.

Мать кричала в голос, плакала о сыне.
Горе так огромно, сердцем не объять.
Заглянула в окна горькая осина:
Будем горе горькое вместе горевать!

СОН

Над землею нависла мгла.
Исподлобья глядело небо.
Сына мать у крыльца ждала
Не с вином, а с краюшкой хлеба…
Потемнели ее глаза,
На лице ни одной кровинки —
Богоматерь, что на образах:
Тот же взгляд и те же морщинки.
Шли солдаты за рядом ряд
По глубокому снегу босые, —
Провожала своих ребят
На войну родная Россия.
Я тревожно молилась во сне:
«Сохрани их и дай им силы».
А огонь, что светился во мне,
Разгорался на небе синем…
Вспышка яркая, и вокруг
Расступились снежные дали:
Из ковша материнских рук
Потекли золотые медали…

Я проснулась, словно в бреду,
Повторяя слова молитвы
За солдат, что, шепча: «Иду-у-у…» —
Оставались на поле битвы…

ВДОВЬИ РАССВЕТЫ

В саду деревья шепчутся таинственно,
Во мгле роса тяжёлая легла.
Прости меня, прости меня, единственный,
Что от беды лихой не сберегла.
Рассветы вдовьи — что дороги длинные.
С надеждой вечною смотрю в окно…
Не улететь со стаей журавлиною,
Коль встретиться с тобой не суждено.
Не возвратить мне зори соловьиные,
А вспомнишь их, так снова не до сна.
Рассветы вдовьи — что дороги длинные,
Когда в душе глухая тишина.

Владимир Клевцов

ВЫСОТА 776.0

Сначала мир для маленького Саши Гердта ограничивался только домом. Еще в этой начальной жизни были отец и мать. Они всегда появлялись вовремя: чтобы покормить, когда хотелось есть, или взять на руки, если он плакал от своих еще не осмысленных обид. Тогда отец подбрасывал его в воздух, и он заливался счастливым смехом.

Иногда мелькали рядом лица старших сестрёнок Оли и Гали, которые только что научились ходить и теперь, исследуя пространство вокруг себя, заглядывали в его кроватку. И он, чувствуя к ним родственную и возрастную близость, радостно улыбался.

Потом он стал ходить сам, и окружающий мир вырастал вместе с ним. Сначала до крыльца, до забора во дворе, до улицы и поселка, за которым начиналась широкая кустанайская степь, с пылившими от ветра дорогами. А когда пошел в школу, то узнал, что мир — это ещё большие города, океаны, вся огромная земля, летящая в безмолвном, теряющемся в бесконечности космосе. Но это будет позже. Пока же мир был таким, каким он видел перед собой и осмысливал. Он не заметил, как исчез из его жизни отец. Ему не было года, когда Александр Адольфович, из семьи поволжский немцев, переселенных в войну в Казахстан, погиб в автомобильной аварии. Но чуткое детское сердчишко не оставило без внимания, как переменилось настроение в семье. В доме поселилась та напряженная, острожная тишина, что всегда сопутствует горю. Когда любое желание пошутить или засмеяться пресекается внутренним запретом. Никто не играл с ним, все говорили вполголоса, ходили неслышно.

Сначала Саша кричал и плакал чаще обычного, требуя к себе внимания, ему казалось, что о нём забыли. Но ничего не помогало, и он смирился, неосознанно решив, что надо ждать лучших времен. Этих лучших времен он потом будет ждать всю свою недолгую жизнь. После смерти мужа мама Анна Васильевна с четырьмя дочерьми и сыном переехала в

Клевцов Владимир Васильевич. Родился в г. Великие Луки Псковской области. В 1986 г. в московском издательстве «Современник» вышла первая книга — «Дельта». Книга «Шаг в бессмертие» удостоена звания (совместно с О. Дементьевым) в номинации «Событие года». Живет в Пскове.

Брянскую область, в село с красивым названием Синий Колодец. В лесном краю, совсем не похожем на пустую казахскую степь, Саша и вырос. Здесь он в полной мере обучился этому важному ремеслу — ждать. Произошло это после того, как он, подрастая, осознал себя единственным мужчиной в доме и, согласно мужскому званию, поставил себя, как защитника, на передний край, впереди матери и сестёр. Но чем он мог помочь в семь или десять лет, кроме работы по хозяйству? И он стал ждать. Сначала — когда вырастет и пойдет работать, потом армия. Он словно установил внутри себя часы, и они отмеривали важные вехи: школа, работа, служба. Знал, что и после армии станет работать, пока мать и сестренки будут в нём нуждаться. Дальнейшее виделось неопределенно. Для себя он пока не нашел места в этом будущем. Война тоже не отодвинула планы, только добавила новое препятствие, которое надо переждать. А через несколько дней после прибытия в Чечню он принял первый бой. Их отделение тогда заняло выгодную позицию — высотку, круто спускавшуюся к дороге, и, наспех закрепившись, повело огонь по бегущим боевикам. Боевики бежали стороной, выполняя, наверное, поставленную перед ними задачу, но, встретив огневой заслон сбоку, повернули в их сторону. От дороги по ним сразу же стала бить наша БМД, и от её выстрелов в сумерках всякий раз освещалась броня.

Первую очередь он дал нерасчетливо, веером поверх голов, привычно прицеливаясь на нормальный рост, а боевики лезли в гору пригибаясь, почти ползком. Сдерживая в руках дрожь, Саша вжился в приклад автомата, словно сделал его своим продолжением, главным и единственным на сегодняшний день органом.

И только когда бой закончился и выстрелы стихли, к нему, ошеломленному, снова вернулись зрение и слух. Тогда всё обошлось. «Чехи» потеряли несколько человек убитыми и отошли.

Сейчас, на 776-й высотке, дело было, говоря по-немецки, швах. Бой шел уже несколько часов, и конца ему не предвиделось. Сначала казалось, что боевики, не выдержав, быстро исчезнут. Но они появлялись снова, мелькая между деревьями, появлялись настойчиво. В их непрерывном движении был какой-то закон, своя логика, что-то беспощадное, тупое и железное, и они, подчиняясь этой логике, лезли под пули, не считаясь с потерями. Он был уже ранен, но, кажется, не серьезно, пуля прошла по касательной, и под мышкой скопилась кровь. В теплом уюте бушлата она сочилась толчками, потом присохла, и только когда он стрелял или неосторожно дергал рукой, рана открывалась. После очередной передышки

снова началась стрельба, и было непонятно, кто и откуда стреляет. Он не мог оценить ход боя, и оставалось только в ответ стрелять самому.

...Пуля попала ему в грудь при вздохе. Дыхание прервалось, и, когда он наконец выдохнул, на губах пузырями вздулась кровь. «Легкие задело», — подумал он, но подумал отрешенно, как о чем-то постороннем, не имеющем к нему отношения. Хуже было другое: тело налилось чугунной болью, превратилось в одну огромную рану, а руки и ноги немели. Он испугался, что они уже не подчиняются ему, и им овладела та пугающая истома, от которой слабеют тело и душа. Чтобы испытать себя, он сжал кулак. С трудом это удалось, и он успокоился. Он старался лежать без движения, чтобы скопить силы. Он знал, что боевики пока не подошли, и мысленно торопил их, боясь потерять сознание раньше времени. Он всю жизнь ждал, он привык ждать, теперь осталось немного. Потом он метнул гранату, собрав в это движение всё, что сохранил в своём умирающем теле. Но самого разрыва, ярким и мгновенным пятном осветившего изрытую землю, стволы деревьев и бегущих на него людей, Александр Гердт уже не видел.

* * *

Первого марта семья Рязанцевых получила первое письмо от сына Александра — долгожданное, из Чечни. Их деревню Воиново почтальонша навещала от случая к случаю: писали сюда редко, газет не получали, да и сама деревня, после развала колхоза, считалась почти заброшенной — ни автобуса, ни телефона. Передавая письмо выбежавшей на улицу в халате младшей Сашиной сестре Ленке, почтальонша подумала: «Хорошо, что не приходится похоронки носить» — и устало пошла по хрустящей ледком дороге, представляя, какой радостный переполох начнется у Рязанцевых.

Взяв в руки конверт, мать разволновалась и расплакалась. Отец и Ленка с жалостью смотрели на неё, ожидая, когда она начнет читать. Но мать не разворачивала письмо, для неё хватало и того, что оно наконец-то пришло.

Все последние недели она проживала как бы две жизни и была одновременно в двух местах — здесь, в деревне, привычно и оттого незаметно занимаясь хозяйством, и в далекой горной стороне, где воевал сын. И то, второе место было даже реальнее. Когда показывали по телевизору Чечню, ей казалось, что она может увидеть среди мелькавших лиц че-

ченских и русских женщин и своё лицо. И вот сейчас всё стало на место: полученное письмо словно соединяло в матери разрозненные половинки, и тревога сменилась слезами.

Письмо читали все утро, сначала мать, потом отец. Как и все военные послания домой, оно было коротким, бодрым и успокаивающим: живу нормально, настроение хорошее, «духи» особенно не беспокоят, если порой стреляют, то где-то далеко.

Родители были недовольны такой простотой. Ничего не написано ни о здоровье, ни о питании, ни о погоде, они понимали, что всё обстоит не так, как пишет Саша, может быть, совсем не так, и вглядывались в строки, пытаясь разгадать их обратный смысл, который и поведает настоящую правду. Но от волнения привычные слова не давались пониманию, и они досадовали, что не могут проникнуть в их тайну.

Младшая сестра Ленка крутилась здесь же, заглядывая в написанное через плечи родителей. Если бы ей удалось заполучить блокнотный листок в единоличное пользование, она отлично бы поняла, о чем пишет брат. И когда в доме понемногу успокоились, она тайком изъяла письмецо из шкатулки и отправилась на бывшую центральную усадьбу, где была школа-интернат, показывать подругам.

— Не уходи надолго, — крикнула вдогонку мать. — Скоро будем обедать.

Собрались у одной из подружек. Разглядывали письмо на свет, нюхали его, дурёхи, пытаясь уловить запах пороха. Ленка глядела на подруг торжествующе: она привыкла гордиться братом, и теперь эта гордость нашла новое подтверждение. Саша был красивым и сильным парнем, Ленка знала, что подружки чуть ли не с начальных классов были в него влюблены и, малолетки, отчаянно ревновали, когда он стал провожать девушек с танцев. Свет братовой значимости падал и на неё, и среди подруг у неё было особое место, как у сестры недоступного Сани Рязанцева. Боясь опоздать на обеду домой, она чуть ли не бежала. Первый день марта не прибавил тепла, не разогрел солнца по-настоящему, но уже одним своим званием приблизил весну, и оставалось только ждать, когда заискрятся вдоль дорог ручьи, сойдет снег и запоют в молодой листве птицы. Весной приедет в отпуск Саша, они на пару пойдут на танцы, она будет держать его под руку, что ни одна девушка, какой бы любимой она ни была, не заменит её и за ней навсегда останется право называться его сестрой. Дома за столом снова говорили о Саше, о войне, надеясь, что она скоро закончится, и слава Богу, что Саня сумел осенью, перед Чечней, отпроситься

у командиров и приехать помочь копать картошку, а то нынешней зимой пришлось бы туго. Обедая, Ленка слушала вполуха, всё поглядывала на стену, где среди почетных грамот и старых календарей висели семейные фотографии. Её, кажется, впервые удивило, как мало с годами меняется брат. Первоклассник Саша Рязанцев был удивительно похож на молодого лейтенанта Александра Рязанцева. Только на детской фотографии лицо у него было серьезное, с твердой решимостью в глазах, а на взрослой неожиданно смягчилось, стало нежнее. Они сидели еще долго. И если бы их сейчас увидел сторонний наблюдатель, он заметил бы общее в их лицах — и у отца, бывшего тракториста, и у матери, бывшей доярки, и у совсем молоденькой девушки, — какую-то роднившую их светлую и тайную радость. У всех действительно было хорошее настроение.

И никто из них не знал, что несколько часов назад, перед самым рассветом, погиб их сын и брат, гвардии лейтенант Александр Николаевич Рязанцев. Узнают они об этом позже, когда испуганная почтальонша принесет телеграмму. Как узнают и то, что стрелять он будет до последнего вздоха и успокоится навеки, как и воевал, головой к противнику.

ДУШИ БЕССМЕРТНЫ

В даль синезвёздную, в небо бездонное
Падаю.
И замирает душа, сознавая миров
Бесконечность...
Светят бессчётные, светят далёкие,
Радуют!
Души тоскуют по звёздам и падают
В вечность.

Может, потом, сквозь столетья, в далёком
Грядущем,
Вновь возвратятся они из просторов
Вселенной
Ласковой нежностью звёзд, синий свет свой
Дающих...
Смертны все люди на свете, но души —
Нетленны!

МИР ПРОСТ

Я буду хранить в душе
ладошек твоих тепло,
пока на Земле живёт,
существует Любовь,
и в бесконечность, через неба
нежно-синее стекло,
убегают минуты, текут века
и возрождаются вновь!

Павлов Александр Михайлович (Александр Себежанин). Родился в 1950 г. Автор двух поэтических сборников, участник многих коллективных сборников, изданных в разных городах России. Член Союза писателей РФ. Живет в г. Пскове.

Нам хорошо вдвоём,
в бесконечной россыпи звёзд,
пролетать над миром, наблюдая,
каким он стал...
Мне от твоих ладоней тепло,
а мир прост:
он очень хочет любить,
и он от войн — устал!

РОССИЯ

Предзакатное, нежное, синее небо России
И лазурной воды озерная, зеркальная гладь...
Бесконечно люблю этот мир торжествующей сини —
Мою отчую, тихую, мою нежную Родину-мать!

Вечерами рассыпаны пу́рпуром по небу зори,
А за алой калиной оранжевый бродит закат...
Много бед испытала Россия, и крови, и горя!
Сколько ж ей одолеть ещё надо и бед, и преград?..

Тьма теснится от жемчуга тёплого лунного света,
Разбредаясь по тайным, крапивой заросшим углам.
Птица синяя счастья России, ну где же ты, где ты?
Прилетай поскорее к родимым, заветным местам!

ИЗБУШКА ДЕТСТВА

Едва приметная в кустах сирени,
грустит избушка детства моего.
И от ветвей узорчатые тени
на стенах дома. В доме — никого...

А вечер летний — тихий, как мечтание,
лишь плач кукушки будит тишину.

Я помню, как давно, в те годы ранние,
мне надарила лет, не обманув.

Как быстро же промчалось время краткое!
Ищу травой заросшие следы...
Слезу из глаз своих смахну украдкою —
умчалась юность ручейком воды.

Вдаль улетела сумасшедшей птицею
от косогоров родины моей.
Не возвратиться ей, не возвратиться...
Но здесь, у дома, всё же грусть светлей.

КРОМ

Псковский Кром, древний Кром…
Каждой башни шелом
Поседел под напором столетий,
Но стоит, словно кряж,
Не слабеющий страж
В дни побед и часы лихолетий.

Как на вечный причал,
Божий перст указал
На слиянье Псковы и Великой:
Словно крепость-утёс,
В берега крепко врос,
Охраняя наш град светлоликий.

Не однажды уже
На святом рубеже
Был испытан Дети́нец врагами,
И вставала земля,
И горела земля
У пришельцев огнём под ногами.

Он набегов врага
Он хранит берега.
Где — покой по лугам, перелескам.
Все пусть помнят, зачем
Держит длань на мече
Мудрый князь, называемый Невским.

Фокин Виктор Иванович (1939—2014). Родился в г. Рудня Волгоградской области. С 1997 г. издал более десятка сборников прозы и поэзии. Внесен в «Золотую летопись славных дел г. Пскова», награжден медалью «За заслуги перед Псковом».

ВОЗВРАЩЕНИЕ…

Моему дяде, Пушкину Алексею Егоровичу, не вернувшемуся с Великой Отечественной, и его однополчанам

Они вернулись! Журавли…
Летела в небо гордо стая,
Как победители с войны, —
Шёл клин, порядок соблюдая.

Они держали ровно строй,
Как будто был он боевой,
Как будто рота шла солдат
Победным маршем на парад…

И трепетали, как знамёна,
Их крылья в складках небосклона.
А город, словно генерал,
Своих сынов у врат встречал…

Так, благовестом по земле,
Летела стая по весне.
Крылатых душ летел отряд —
Погибших на войне солдат.

Зверев Виктор Алексеевич. Родился в 1955 году в городе Дно Псковской области. Служил на флоте. Публиковал стихи в коллективных сборниках. Живёт в Пскове.

ПСКОВ

О вольный город на Пскове!
Ты русским витязем зовёшься,
Следы боёв хранишь в траве,
Заставой грозной остаёшься.

Княгини Ольги отчий дом!
Она, как вешняя зарница,
В твоей судьбе своим перстом
Открыла первую страницу.

Седого неба три луча
Ей место храма указали —
И храм, как Ольгина свеча,
Небесных сфер раздвинул дали.

Того, кто шёл на Русь с мечом,
Встречал наш город грозной сечей,
Разил Довмонтовым мечом —
Грядущих подвигов предтечей.

Их было много — тех боёв:
Как волны, шли на город беды,
Но Псков десницами сынов
Ковал великие победы.

Твои кольчуги и мечи,
Твои израненные стены:
Они — истории ключи,
Тобой нам отданные гены.

Горды наследием таким!
Храним обычаи и нравы!
И пусть звучит в веках, как гимн,
Твой статус — Город ратной славы!

Валерий Павлов

ГЕНЕРАЛЫ КУЛЬТУРНОГО ФРОНТА

Человек и его имя. В народе говорят: «Каким именем при рождении младенец будет наречён, так и век свой проживёт».

Есть люди, чьи имена быстро стираются из памяти современников. По делам и честь, говорят в народе. А уж коли прошёл человек достойно жизненный путь — останется надолго в благодарной памяти тех, кто знал его при жизни.

По долгу своей трудовой деятельности мне довелось общаться с бесчисленным множеством людей, видеть их успехи и знать беды, наблюдать за их продвижением по служебной лестнице и вообще — быть, как говорят, их современником. Спустя годы в памяти всплывают имена и судьбы людей незаурядных, оставивших заметный след в послевоенной культурной жизни Пскова. Этих людей объединяет одно: они были генералами культурного фронта нашей земли. Все они — люди того поколения, которое не понаслышке знало, что значит слово «война», — их детство было озарено её сполохами. Они вышли на широкую жизненную дорогу в послевоенные годы шаг за шагом — шли к признанию их умения быть руководителем, быть двигателем прогресса в той широкой отрасли, которая называется «культура», которая формирует нравственный облик гражданина нашей страны.

На некоторых судьбах псковских генералов культурного фронта я и хочу остановиться.

Павлов Валерий Федорович. Родился в 1947 г. в Пскове. Окончил филологический факультет Псковского педагогического института имени С. М. Кирова. Работал директором Псковского областного драматического театра им. А. С. Пушкина до 2009 года. Доцент кафедры культурологии ПсковГУ. В 2011 году избран секретарём Общественной палаты Псковской области. Автор более 100 научно-популярных публикаций в театральной и местной периодической печати. Член Союза писателей РФ.

На вторых ролях

Мне доводилось читать множество публикаций о представителях профессий самых разных отраслей псковской культуры и искусства — о писателях, артистах, режиссёрах, художниках, музыкантах. Но почти ничего не написано о людях, которые возглавляли эти отрасли, — о начальниках областного управления культуры. А ведь именно они определяли магистральные направления развития культуры и искусства в области на годы вперёд, они решали, какие проекты и предложения финансировать и в какой мере. Они, в конечном счёте, несли ответственность за результаты работы тысяч людей. От их профессиональных и человеческих качеств, умения работать с кадрами, их опыта и интуиции зависело многое.

Однако начать воспоминания об этих людях мне хочется с неординарной женщины, которая долгие годы пребывала в областном комитете по культуре, но, несмотря на немалые её заслуги, всегда была, как говорится, «на вторых ролях».

Речь идёт о Евгении Ивановне Сойгиной, долгие годы пребывавшей в должности заместителя начальника областного управления культуры по искусству. В её кабинете всегда было полно людей. Художники, артисты, писатели, режиссёры приходили сюда, чтобы решить насущные свои проблемы: надо продать картину, выхлопотать мастерскую, поставить в театре пьесу, выехать на гастроли по области.

К Евгении Ивановне запросто приходили на разведку («как там начальство думает, что будет решать по моему вопросу, какие новости в «верхах»). Она всем старалась помочь, ей можно было поплакаться и попенять на несправедливую обиду коллеги или начальника, для каждого она находила слова утешения и очень многим помогала в трудную минуту.

Её любили за лёгкий характер, добросердечие, ответственность за многочисленные дела, текущие и перспективные, которые она одновременно выполняла, и для начальника — А.А. Разумовского — была как надёжная каменная стена. Её не надо было перепроверять, ей не надо было напоминать, подталкивать к принятию решений. Всё она делала аккуратно, в срок и надёжно. За результаты своих усилий в душе всегда переживала, волновалась и нервничала. Но внешне это было почти незаметно.

Она знала о людях культуры и искусства то, что другим начальникам никогда бы не открыли. Ей доверяли личные тайны, зная её исключи-

тельную порядочность и щепетильность. Беспокойная богемная пёстрая толпа в её кабинете как-то умиротворялась, расслаблялась, все получали свои дозы психотерапии. К тому же она организовывала выезды на уборку урожая в подшефный колхоз, была секретарём парторганизации, возглавляла различные общественные организации, комиссии, и всё это требовало неустанного внимания и времени.

А ещё нужно было присутствовать на совещаниях и часто ездить в командировки по области. Эту ношу она несла на себе без жалоб на трудности и большой объём работы. Отличительными чертами её характера стали трудолюбие, ответственность за порученное дело. Наверное, такую душевную закалку она получила в семье.

Война воспитывала её невзгодами эвакуации, тяжёлым трудом, полуголодным существованием в годы восстановления и разрухи. Всю жизнь военное эхо отзывается в её душе.

Псковской культуре она отдала более трёх десятков лет. За свою плодотворную работу она награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», а в 1985 году удостоена почётного звания «Заслуженный работник культуры РСФСР».

В 1979 году мы с Евгенией Ивановной Сойгиной в составе творческой делегации были в округе-побратиме Пскова — городе Гера. Программа была насыщена многочисленными концертами и встречами. Мы заметили, что немцы деликатно обходят военную тему. Однако кладбища советских воинов, погибших на территории Германии, были в порядке, произошло перезахоронение советских воинов с разных мест. У центрального обелиска на Аллее павших в борьбе с фашистами советских воинов собрался президиум.

Надо начинать торжественный церемониал, а Е.И. Сойгина надолго задержалась у одной из могил. Я подошёл ближе и увидел, что она плачет. На обелиске надпись: «Лейтенант Евсеев». Выяснилось, что это брат Евгении Ивановны. После 10-го класса школы он ушёл добровольцем на фронт, окончил краткий курс в военном училище, затем воевал, хорошо знал немецкий язык. Последние письма пришли из Германии победной весной. А потом поступила похоронка. После окончания войны из воинской части советской оккупационной зоны пришла посылка — платья, туфли.

Написали в часть, благодарили, что помнят родных погибшего офицера. Военные ответили: лейтенант Евсеев у нас никогда не служил. Посылку не отправляли…

Потом, как в те годы часто бывало, приезжал человек, представился однополчанином, говорил, что знал её брата. Он переночевал, чем могли, покормили… Через несколько дней после отъезда гостя обнаружили, что все фотографии и рисунки брата из альбома исчезли…

Многие годы Евгения Ивановна упорно отправляла в разные инстанции запросы. Из архива Министерства обороны СССР в Подольске сообщили: лейтенант Евсеев погребён в воинском братском захоронении в г. Веймаре (ГДР). И вот могильная плита с данными брата в Грайце. Снова запросы. На этот раз, в 1979 году, быстро пришёл ответ: действительно, лейтенант Евсеев похоронен в Грайце. Евгения Ивановна ездила в ГДР поклониться праху близкого человека. Но в душе осталась надежда…

В дни той же поездки в округ Гера мы были в гостях у работника библиотеки, пожилого немца. Говорили о профессиональных проблемах, шутили, пели. Когда изрядно выпили и шнапса, и «Столичной», хозяин, увидев на руке А.Ш. Селитринникова, руководителя Дома культуры из Невеля, наколку в виде морского якоря, спросил:

— Моряк?

— Моряк, — ответил Алексей Шабанович.

Тогда хозяин поднялся с бокалом и сказал:

— Я, капитан-лейтенант Гюнтер Штолле, в годы Второй мировой войны ходил на миноносце по Балтике, ставил мины и уничтожал вражеские корабли. Я пью за то, чтобы это никогда не повторилось…

А.Ш. Селитринников побагровел и выступил с ответным тостом, выделяя каждое слово:

— Я, старшина второй статьи Алексей Селитринников, в годы Великой Отечественной на своём боевом корабле глубинными бомбами топил подводные лодки немецко-фашистских захватчиков. И, если агрессия повторится, готов вновь это делать.

Встал А.А. Разумовский:

— Я, младший лейтенант ВВС Разумовский, в годы войны уничтожал живую силу и технику противника и пью за то, чтобы это не повторилось…

Переводчица нервничала. Хозяин принимал в кресле валидол. Мы мрачно откланялись и отправились в отель. Дети войны не любили, когда кто бы то ни было касался тонких тем и задевал их сокровенные чувства.

Как поведут себя наши дети, нынешняя молодёжь, как будут жить и работать в третьем тысячелетии, после войны, которую ведёт сегодня с Россией чуть ли не весь мир, когда внутренние враги рвут её на части? Время покажет…

Хранитель культурных традиций

Об Иване Егоровиче Калинине говорят: «работник культуры от Бога». Так бывает, когда в одном человеке совпадают талант, знание любимого дела и профессиональный опыт. Всего этого Ивану Егоровичу не занимать.

Сын погибшего на фронте в 1942 г. председателя колхоза, Иван Калинин родился в Калужской области всего за два года до гибели отца. Девяти лет переехал в Воронеж к сестре и поступил в местное культурно-просветительное училище. Увлёкся общественной работой, был секретарём студенческой комсомольской организации, инструктором райкома ВЛКСМ.

Однако, окончив экстерном училище и получив диплом с отличием, пошёл работать заведующим сельским клубом в селе Орловка Тамбовской области. Но его снова приглашают на работу в райком комсомола. В нём постоянно боролись две тяги — к общественной и профессиональной деятельности.

Пришла пора отдать свой гражданский долг Родине — армейская служба. И здесь проявился его организаторский талант, его устремление к активной общественной и комсомольской работе. А после трёхлетней службы в армии он поступил в Ленинградский институт культуры им. Н.К. Крупской. Его избирают председателем профкома. Неуёмный характер зовёт испытать в жизни всё новое, и летом 1963 г. он уже мастер целинного студенческого строительного отряда. Его успехи в работе были отмечены первыми наградами — медалью «За освоение целинных земель» и грамотой ЦК ВЛКСМ.

Но в полной мере профессиональный талант и лучшие душевные качества Ивана Егоровича Калинина раскрылись на псковской земле, которой он служил не одно десятилетие. Директор областного Дома народного творчества, инструктор горкома КПСС, заведующий отделом культуры Псковского горисполкома (более 10 лет), директор научно-методического центра народного творчества и культпросветработы — на всех этих должностях он с творческим подъёмом и энтузиазмом, с полной отдачей физических и нравственных сил, по существу, занимался формированием подлинно культурной среды, воспитанием в людях культуры в самом широком смысле этого слова — культуры труда, быта, человеческих отношений.

С 1983 г. работал заместителем председателя Псковского горисполкома, заместителем мэра Пскова. Курировал вопросы культуры, социальный блок, как теперь говорят.

Многое из того, что составляет честь и славу культуры нашего города, было начато и организовано И.Е. Калининым. За многие годы подтвердила свою жизнеспособность плановая досуговая система «Что? Где? Когда?». Он был выдумщиком в самом хорошем значении этого слова. Его идеи увлекали, подхватывались работниками учреждений культуры.

На памяти жителей города, чья юность и зрелость совпали с 80—90-ми годами, такие яркие мероприятия, воодушевлявшие людей, как театрализованные праздники и зонг-митинги, фестиваль «Псковская весна». С его именем связано строительство детских музыкальных школ на базе общеобразовательных, строительство зданий музыкальных школ и библиотек. В эти годы создаётся городской народный хор, растёт сеть дискотек и клубов по интересам, открывается танцевальная площадка в парке культуры и отдыха.

Не без его участия открывается единственный в России театр в исторических памятниках на открытом воздухе «Карусель». Куда ни повернись в городской культуре — всюду И.Е. Калинин: либо начинал, либо помогал, либо возрождал из пепла.

Когда я вижу сегодня на ТВ «новую» передачу «Слушается дело», улыбаюсь: И.Е. Калинин проводил в Пскове такие публичные действа под названием «Суд идёт!» 20 лет назад! А разветвлённая сеть самодеятельных кружков и народных коллективов? А кадры библиотекарей, руководителей клубов, народных театров, библиотек? Многие из них сегодня носят почётное звание «Заслуженный работник культуры РФ» и гордятся тем, что работали с Иваном Егоровичем и многому научились у него.

Я знакомился с глубокими аналитическими материалами по главным направлениям культпросветработы в годы, когда он возглавлял областной научно-методический центр. Начальство относилось к И.Е. Калинину пристально-настороженно. Он всегда будоражил сановных руководителей беспокойными проектами, настойчивыми предложениями и новшествами. Это вызывало досаду, раздражая, и его «слегка придерживали». Он тоже не очень скрывал своё отношение к посредственности и к «твёрдости тугих канонов».

В конечном счёте — устал от ударов лбом в бетонные стены, но живости воображения, мысли, жажды творческого поиска не утратил. Это нашло выход в его многочисленных публикациях в центральной и

местной прессе и в серии книг, которые он в последние годы написал. Их стоит прочесть даже спустя годы после их написания. Начинающий работник культуры найдёт там немало ценных практических советов, а ровесник автора поймёт, что в этих книгах по крупицам отражено наше хорошее и плохое, тяжёлое, но зажигательное время, в которое мы все жили. И описано оно честно и справедливо, как может это сделать умный, талантливый человек, немного уставший доказывать современникам, что белое — это белое. Но уже не осуждающий, не обличающий и многое простивший нам.

Иван Егорович Калинин награждён орденами «Знак Почёта», Дружбы, медалями, имеет звание «Заслуженный работник культуры РСФСР». Он — член Союза писателей и Союза театральных деятелей России, Почётный гражданин города Пскова.

Но разве в этом дело? Своей жизнью и своей творческой — да-да, творческой, хотя он был в чиновничьих должностях! — деятельностью он стал для современников, в первую очередь для работников культурного фронта, легендой. И не счесть числа людей, кому за годы своей деятельности он не только помог житейским советом, но и протянул руку помощи, принял участие в судьбе. На таких людях и держится наша земля.

Всегда в поиске

Вадим Радун родился в здании Сталинградского театра драмы. Скоро началась война. В полтора года он от голода не мог двигаться и говорить, перенёс три пневмонии, но врачи и в тех условиях сумели выходить мальчонку. «Курить меня в шутку учили Михаил Жаров и Павел Кадочников, которые в Сталинграде тогда снимались в кинофильме «Танкисты», — смеётся, вспоминая, В.И. Радун. Командующий 62-й армией генерал В.И. Чуйков часто приходил в театр и этим молча подтверждал, что положение в городе стабильно. Спектакли смотрели раненые и воины, которые после представления занимали свои места в окопах на переднем крае. Фашисты театр не бомбили, потому что в подвале сидел вражеский разведчик и корректировал огонь немецкой артиллерии и авиации. Но немцы не знали, что лазутчик работает под контролем контрразведки «Смерш», а снаряды и бомбы летят мимо цели.

Детские воспоминания Вадима причудливо переплетаются с поздними рассказами родителей и неожиданно яркими ассоциациями. Немецкие самолёты с нарисованными на крыльях красными звёздами низко летят

и бросают бомбы, а дети, да и взрослые не понимают: почему наши бомбят? Горящая Волга, немцы на тракторном заводе, эвакуация театра последним пароходом. Вадима нёс на руках почти ослепший отец, рядом шла его девятнадцатилетняя мать. Взрывной волной всех опрокинуло, мальчик упал в воду. Молоденький лейтенант, прыгнувший следом, подхватил его, подал в лодку. Здесь же он застрелил паникёра, поднявшего крик и призывавшего солдат разбежаться…

Ульяновск, Елец, поезда, теплушки. «Майданщик», вырвавший через окно чемодан у спящей женщины из-под головы. Другая женщина, с бумажным треугольником в руках, вся в слезах, вдруг дико захохотавшая. А кругом говорят: «Похоронку получила». Чего же она смеётся? Первая пощёчина от матери — он наотрез отказался есть белый хлеб. Не понял, что это такое… Когда мы были в Шотландии, в городе-побратиме Перте, на постановке спектакля «Человек со связями», с английскими актёрами на одной вечеринке заговорили о войне. Нам рассказывали, что в 1942 году над рекой пролетал фашистский самолёт и уронил бомбу, которая, к счастью, не взорвалась. Это всё, что наши шотландские друзья знали о войне. Потом предложили выпить «за вашего музыкального президента» (по телевизору показывали, как Б.Н. Ельцин дирижирует немецким духовым оркестром на официальной встрече), В. Радун вдруг вспылил и сказал: «Ну любит он музыку, а что вам за дело? Зато вы не видели настоящей бомбёжки и войны. Это мы вас от неё отгородили. И ваше благополучие появилось за счёт колоний и нашей крови на войнах…» Его стали успокаивать, уверять, что шутят. «Вы не голодали, не жили в развалинах, вам меня не понять», — ответил Вадим.

Он с большой теплотой вспоминал детство и юность в Ташкенте, и чувствуется, что он до конца своих дней любил этот город. Мать — директор хореографического училища, затем директор республиканской филармонии. Отец — один из создателей Ташкентского театрального института, профессор. У него было трудно учиться: с сына спрашивал вдвойне. Многие друзья, известные сегодня деятели театра и кино, вспоминают ныне ташкентскую юность: В. Рецептер, Л. Броневой, И. Ледогоров, Ю. Мироненко.

Радун прошёл нелёгкий путь в своей профессии в театрах Уфы, Челябинска, Воронежа, Новокузнецка, Красноярска. Говорят, что он входил в десятку лучших режиссёров российской театральной провинции. Четверть века работал в Пскове. Трудился истово, на износ, как будто завтра уже не будет времени. Репетиции утром и вечером каждый день. В

работе был беспощаден к себе и окружающим. Но, может быть, именно поэтому удавалось удержать на плаву театр, двигаться вперёд с уставшими от невзгод, безденежья и неопределённости артистами. Он верил в своих актёров, считал, что они ещё многое могут сделать, ставил спектакль с учётом индивидуальных особенностей и возможностей каждого из исполнителей, умудрялся когда убедить, когда и обмануть артиста и добивался нужного результата во что бы то ни стало. Недоброжелатели, которых он нажил честно, злословили по поводу его призов, отличий и наград, неудачных спектаклей, отрицательных черт характера, успехов на гастролях, фестивалях в России и за рубежом. Были энтузиасты, которые не раз пытались организовать травлю и вывести Радуна из равновесия, что сосем было нетрудно при его взрывном характере и южном темпераменте. Но нет худа без добра. Всё это, как ни странно, укрепило его веру в свою творческую звезду, не ожесточило, побудило к новым постановкам без лишних затрат. Он был уверен: если режиссёру есть что сказать зрителю и он знает, как это сделать в художественной форме, тогда наверняка родится интересный спектакль.

Радун бывал разный. Болезненно ранимый, по-детски обидчивый, младенчески наивный, по-юношески игривый, задорно-хулиганистый, влюбчивый, ревнивый. Но вдруг задумчиво погружённый в себя, мучительно раздумывающий, сомневающийся, полный суеверных, необоснованных страхов. А то вдруг спокойно и уверенно мудрый, как будто поднявшийся над суетой и понявший главное. Оно для него было в том, чтобы упорно трудиться, отдаваться работе целиком и безраздельно. Это в течение многих лет опустошало, изнуряло его и окружающих. Но он по-другому не умел. Придумывание, мысленное проигрывание в голове, а затем воплощение на репетициях своих режиссёрских комбинаций и замыслов — таким был способ его существования в реальном мире и в той виртуальной среде, которую он ежеминутно создавал в своём богатом воображении. Он был совсем не приспособлен к бытовому существованию. Многим условностям, которые мешали его делу, не придавал никакого значения. Дважды оформлял документы на выезд в Германию, но вдруг наотрез отказался, чем вызвал недоумение официальных немецких инстанций и пересуды обывателей. В последний момент обострённая творческая интуиция, которая вела линию его судьбы, сказала ему: «Это не твоё, останься, неси свой крест…» Поэтому сегодня, когда сместились ценностные ориентиры, подорваны основы прежней идеологии и веры, он руководствовался совестью и интуицией творческого человека. Они

побуждали его к постановке спектаклей, обращённых к душе зрителя, к его нравственным идеалам.

Когда его в чём-то обвиняли многочисленные оппоненты, он говорил, что легко проехать со скоростью 150 км в час короткий отрезок дороги. «А я еду на такой скорости более 25 лет. А это нелегко, ребята, в театре маленького города. Вы ещё полюбите меня, друзья!» — шутил грустно он. В 2010 году ему исполнилось семьдесят. Определенный жизненный итог. 120 поставленных спектаклей. «Театр Радуна», — говорят теперь члены жюри на всероссийских конкурсах и фестивалях. И он, этот театр, был. Нравится это кому-то или нет, единственный в России театр под открытым небом «Карусель», знаменитый в России и за рубежом, — тоже дело его рук. Что же дальше? В последнее время он много работал то с молодыми артистами, то со студентами политехнического института, которые понимали его с полуслова, иногда намного лучше, чем зрелые, опытные актёры. Он ставил спектакли для молодёжи. Точнее, все его спектакли были обращены к ней. Отрадно и то, что зал заполняли в основном молодые зрители. Им он хотел успеть рассказать всё, что он пережил в жизни, а ему было что сказать. Может, это не всегда и не всем было понятно или не совпадало с личными представлениями о театре и действительности. Но ведь В. Радун никому и ничего не навязывал и надеялся, что когда-нибудь его поймут и простят. Он ушёл из жизни не в лучшее для театра время, растерянный, поверженный обстоятельствами, человек проживший нелёгкую, но полную высоких творческих взлётов, глубоких душевных переживаний жизнь.

РОССИЯ

Как же тебя ненавидят
Недруги разных мастей.
Сколько ты знала обиды,
Сколько взяла крепостей.

Сколько врагов остудила,
Сколько друзей сберегла.
Есть в тебе слабость и сила,
Подлости нету и зла.

* * *

Люблю Украину, Россию люблю.
Ну как я их в сердце своём разделю?
Ну как я могу эту связь разорвать?
Одни у нас корни, одна у нас Мать.

У всех у нас доля и вера одна,
И нам не нужны ни вражда, ни война.
Не нужен майдан и бандеровский клич,
Мне друг киевлянин, я — брат твой, москвич.

Нам вместе идти по дороге одной,
Мы против насилия встанем стеной.
И Западу нас никогда не стравить.
Мы дружбу сумеем навек сохранить.

Иванов Анатолий Федорович. Родился в 1943 году. С 1978 года является актером Великолукского драматического театра. Заслуженный артист РСФСР. Поэт и автор-исполнитель. Выпустил в свет книгу «Разнотравье» (стихи и поэтические сказки) и др.

У нас ни фашизм, ни нацизм не пройдёт,
Не примет его наш великий народ.
Украине быть, и России стоять,
И Киев с Москвою подружат опять.

Куда друг от друга нам деться?
Едины душой мы и сердцем.

Заокеанский Шершень

Любого разбомбит,
Покуда сам не бит.

Читая чтиво

Обо всём у нас печать,
Только… нечего читать.

Резервы ещё есть

Наши власти взяли моду
Брать за землю и за воду.
Не дошло до их ума:
Мы же дышим задарма.

Итоги перестройки

Хапуги стали боссами,
Мы — голыми и босыми.

Нашли причину

— С чего бы, — ропщет люд вокруг, —
Подорожала баня вдруг?
Удобства те же — на копейки,
Вода всё та же и парок… —
А там поставили скамейки
Теперь не вдоль, а поперёк.

Афанасьев Евгений Михайлович (1926—2002). Поэт, сатирик, баснописец, член Союза писателей РФ. Родился в деревне Машутино (ныне Струго-Красненского района). Окончил литературный институт им. А. М. Горького. Работал строителем, киномехаником, журналистом. Автор сборников басен «Прошу обижаться», «Барсучья мозоль», «Басни». Печатался в местной и центральной прессе.

Глупый Баран

Баран доволен был судьбой:
Его кормили на убой.

Третий лишний

В третьи не спеши пока.
Там сидят два дурака.

С первым апреля

Купил бутылку зелья,
Откупорил — вода.
Ах, первое апреля!
Поздравьте, господа!

Камень преткновения

Мы по Марксу жизнь листали
И застряли… в «Капитале».

Трутень-правдоискатель

Жужжит про непорядки:
Берут-де пчёлы взятки.

Дорогой подарок

Принёс подружке розы Боря,
Тому букету нет цены:
Из-за него он на заборе
Оставил модные штаны.

Вопрос

Какой у Волка замысел,
Коль он к Барану в замы сел?

Завет потомкам

Нам хлеба́ — на фига?
Лес — готовая деньга!
Не зевай, потомки, —
Запасай котомки!

* * *

Уж не одно тысячелетье длится…
(О, муза Клио, ты не дашь солгать!)
Всё бьются лбами тысячи амбиций
За право мучить, грабить, убивать.

Уж переполнена ладья Харона,
И шар земной уж не вмещает прах,
Гудит набат, и катятся короны
С окровавлённых плах.

Забава всех владык — уничтоженье.
Людской гордыне всё подвластно,
Но…
Лишь Бога да земное притяжение
Ни отменить, ни свергнуть
Не дано.

Хоть пыжатся иные властелины.

* * *

Редеет строй. Как мало их осталось…
Цветы алеют, майский воздух чист.
Но целит в грудь жестокий снайпер — старость,
Последний недобитый их фашист.
Весенний гром — как той войны раскаты,
И облака — как поля битвы дым…
Уходят поседевшие солдаты
К своим однополчанам молодым.

Алексеева Валентина Александровна. Прозаик, поэт. Родилась в 1948 г. в г. Шадринске Курганской области Публиковалась в журналах «Нева», «Север», «Молодая гвардия», «Наш современник» и др. Вышли две книги прозы — «Утро Тихона Васильевича» и «Возвращение к себе», а также три поэтических сборника. Член Союза писателей РФ с 1994 г.

МУЗЫ РОССИИ

Когда пушки стреляют,
музы молчат.

Таков исторический опыт:
Коль пушки усердно палят,
Пугливые музы Европы
Стихают под гул канонад.

Но странно: лишь стоит насилью
Жестоко взвести курок,
Слетаются музы в Россию,
Как бабочки на огонёк.

Какая такая приманка
На русской земле? В чём секрет,
Что даже конструкторы танков
Рождают поэтов на свет?[1]

Гремит «бэтээр» на ухабах,
Снарядами пушки плюют.
И музы, как русские бабы,
На крыльях Россию несут.

* * *

Увы, нет мира под луною.
Террор введя на пьедестал,
Давно ль Чеченскою войною
Двадцатый век отгрохотал…

[1] Известная российская поэтесса Лариса Васильева — дочь конструктора, создателя танка Т-34.

Но снова свастика на касках
И слезы матерей седых,
И снова пушечное мясо
Из тел мальчишек молодых.
И бой кипит на поле бранном,
Ликует смерть, Донбасс горит.
И кукловод за океаном
Диктует правила свои.

Борис Ильин

ФРАНЦУЗЫ НА СЛУЖБЕ В РОССИЙСКОМ ФЛОТЕ

Море... Оно всегда привлекает романтикой, суровостью и просторами. О нём всегда помнят те, кто посвятил свою жизнь морской службе. А мальчишки мечтают о том, как поступить в военно-морские заведения и затем пойти на службу во флот.

Многие прославленные флотоводцы, как ни странно, происходили родом из сухопутных губерний, далеко отстоящих от океанов и морей. Адмирал Нахимов родился в Пензенской губернии, Федор Ушаков в Тамбовской, Владимир Корнилов в Тверской, командир легендарного крейсера «Варяг» Руднев Всеволод Фёдорович в Тульской. Этот список можно продолжить и дальше.

Не исключением является и Псковская земля. Она стала родиной многих адмиралов и морских офицеров. Их именами названы моря, острова, проливы. Палкинский район в Псковской области занимает в ней совсем небольшую территорию. В нём хорошо знают о морской службе и уже сложились свои традиции. Если соблюдать историю и основываться на её фактах, то на первое место нужно поставить Эдварда Штакельберга из немецких баронов, присягнувших России четыре или пять веков назад. Он посвятил себя флоту, дослужился до чина вице-адмирала. Его служба проходила на Тихокеанском флоте, участвовал в русско-японской войне 1904—1905 годов.

Заслуженную славу и особую гордость району принесли два моряка, живших на рубеже XIX и XX веков. Оба из одной местности, ныне Васильевской волости. Один родом из деревни Опарино, другой из деревни Олохово. Первый — это Иван Афанасьевич Афанасьев, второй — Яков Константинович Константинов.

Расстояние между их деревнями по прямой не более пяти километров.

Ильин Борис Тимофеевич. Родился в 1940 году в Ленинградской области. Окончил литературный институт им. А. М. Горького. Член Союза писателей РФ. Автор девяти книг прозы. Живет в пос. Палкино Псковской области.

Возможно, Иван и Яков знали друг друга, разница в возрасте не так и велика — 17 лет. Во всяком случае, Яков, помладше, наверняка слышал, а может, и видел своего земляка Ивана Афанасьева, когда тот после службы вернулся домой в 1913 году, перед Первой мировой войной. Он служил на легендарном крейсере «Варяг», участвовал в знаменитом бою 9 февраля 1904 года под Чемульпо с японской эскадрой из 14 кораблей.

А Якова Константинова призвали на службу уже в 1914 году. Его зачислили в Лейб-гвардейский флотский экипаж матросом 3-го взвода 4-й роты отдельного батальона. Это войсковое соединение принимало участие в боевых действиях на румынском и австрийском направлениях.

В марте 1917 года батальон сняли с фронта и отправили в Петроград на подавление восстания народа. Однако моряки отказались стрелять в восставших. 18 октября того же года Якова Константинова списали с флотского экипажа и отправили матросом на крейсер «Аврора», что подтверждено архивной справкой. Значит, 25 октября 1917 года он находился на «Авроре» во время её выстрела по Зимнему дворцу. Хотя сейчас не модно говорить о Великой Октябрьской революции, но факт остается фактом. Есть одно известное и верное определение: «Трудно попасть в историю, но выйти из нее невозможно».

В 1918 году в связи с ремонтом корабля и постановкой его на консервацию Якову Константинову дали две недели отпуска, и он поехал домой на побывку. Надо же такому случиться, эту местность заняли и оккупировали немецкие войска. Они захватили моряка-авроровца и по принуждению зачислили в эстонский отряд, входящий в армию полковника Булак-Балаховича.

Моряк после всех передряг на допросах объяснял, что в военных операциях не участвовал, а работал в ободо-пошивочной мастерской. Вместе со всеми под напором Красной Армии отступил в Эстонию, где после расформирования отряда остался не у дел, перебивался случайными заработками. Надоело скитаться на чужбине, и вернулся на Родину, для чего пришлось тайно переходить границу.

А что с Иваном Афанасьевым? Он, обласканный, как и все моряки «Варяга», царскими наградами и милостынями, с самыми радостными мечтаниями после 16 лет службы вернулся в родное Опарино. Женился и обзавелся своим хозяйством, по тем временам, немалым. Имел 20 десятин земли, 3 лошади, 5 коров, мелкий скот, птицу, сельхозинвентарь.

Когда установилась Советская власть, неожиданно арестовали матроса. За что? По дошедшим отрывочным сведениям — за отказ служить

в новом рабоче-крестьянском флоте. Тому служит некоторое подтверждение. Вернувшись после двухлетнего пребывания в тюрьме, он не раз бесстрашно заявлял односельчанам:

— Я присягал царю и Отечеству, не собираюсь их предавать. Воевал за них и православную веру!..

Аналогичная судьба преследовала и Якова Константинова. За службу у белых тоже попал под следствие. Просидел в тюрьме г. Свердловска более трех месяцев и был отпущен. Видимо, сыграло смягчающее обстоятельство: вернулся добровольно из Эстонии, для чего нелегально пересек границу.

Однако в 1929 году его арестовали вторично и провели новое расследование по поводу участия в белогвардейском движении. На этот раз осудили на три года с отбыванием в Северном крае. Удалось установить — в Кандалакше, откуда приехал с женой Дарьей.

Второй раз Иван Афанасьев подвергся репрессиям в 1937 году, в самый разгар коллективизации. Создавали колхоз и одновременно раскулачивали кулаков и зажиточных крестьян. Под этот каток и попал моряк. Он служил в царском флоте, отказался идти в новое хозяйство, имел приличное собственное, ругал колхоз, называл его бардаком, — чем не готовый враг Советской власти?

Особая тройка УНКВД по Ленинградской области постановила: «Афанасьева Ивана Афанасьевича заключить в исправтрудлагерь на 10 лет». Отбыл наказание полный срок, от звонка до звонка. Вернулся домой в 1947 году. Дом и хозяйство в Опарине были полностью разрушены, можно сказать, до основания.

После ареста хозяина все его вещи, одежду, скот, сельхозинвентарь поделили между собой бедняки. Дом раскатали на бревна, разобрали на дрова и мелкие постройки.

Моряк уже ни о чем не жалел, только одно саднило душу: пропали бесследно награды за бой у Чемульпо. По дошедшим воспоминаниям, при разборке дома видели также серебряную ложку из царского столового набора, но куда она подевалась, теперь уже никто не скажет и не найдет.

Приютили моряка его родная сестра Мария и её сын Сашка, что жили неподалеку в деревне Самухново. На руках племянника герой-матрос и скончался. Все трое похоронены на одном месте на кладбище у деревни Бобъяково. По инициативе районного совета ветеранов на могиле моряка установлен памятник.

Яков Константинов после отбытия наказания в Северном крае устроился в городе Пскове в одной из строительных организаций, где дали ему с женой небольшое жилье. Как вспоминали соседи, Яков ни разу не обмолвился о службе на «Авроре», о работе у белых, о пребывании в Эстонии. Об этом они узнали после нашего расследования.

Все-таки радует, что в конце концов справедливость восторжествовала, оба моряка реабилитированы судами, их добрые имена восстановлены. Через 50 лет после подвига крейсера «Варяг», 9 февраля 1954 года, по инициативе адмирала Н. Г. Кузнецова советское правительство наградило оставшихся в живых варяжцев боевой медалью «За отвагу». Наш земляк Иван Афанасьев не мог из-за болезни поехать в Москву за наградой. Он скончался в том же году в символическую дату — 7 ноября.

Все трагические, поломанные судьбы можно списать на эпоху великих потрясений: Первая мировая война, революционные события 1917 года, гражданская война, коллективизация. Однако историю совершают конкретные люди. Не все они оказались справедливыми к своим землякам-матросам. Оба были честными, трудолюбивыми, настоящими защитниками своего Отечества. Если что и нажили, то собственным трудом и своим горбом.

Но с какими ненавистью и злорадством односельчане разрушали хозяйство уже арестованного Ивана Афанасьева, тащили бревна дома на свои подворья, женщины тут же хватали и примеряли на себе наряды и платья жены, с которой они разошлись еще до ареста!

Посмотрели бы на сегодняшнюю деревенскую жизнь наши герои-моряки!.. Не слышно рокота тракторов и голосов людей на полях. Всё заросло кустами, чертополохом, сорняками. Лучшие мелиорированные земли заболачиваются.

На некоторых участках уже шумит болотная осока. В деревне Опарино не осталось ни одного жителя, в деревне Олохово стоят еще несколько домов, но в них все жители преклонного возраста.

В некогда двух преуспевающих колхозах ныне Васильевской волости не осталось ни одной хозяйственной постройки, будь то животноводческая ферма, зерносклад или мастерская. О «тучных бродящих стадах», о «следах довольства и труда», о которых ещё писал Александр Пушкин, не осталось и воспоминаний.

Многие бывшие крестьяне за бесценок (по 8—12 тысяч рублей за 10 гектаров) продали свои земельные паи. Было крепостное право, потом крохотные уделы и наделы, затем колхозы и совхозы, теперь ничего

и от этого не осталось. Земельная реформа окончательно завершилась. Крестьяне навсегда лишись своего основного богатства — земли. А ведь какие страсти кипели в эпоху героев-моряков за каждый клочок?!.

Не спешат новые латифундисты возрождать утерянную жизнь на селе и начинать обрабатывать захваченные почти даром земли. Видимо, ждут удобного момента, когда можно будет заложить земли в банках или продать иностранцам.

Не случайно бывшие сельсоветы с чьей-то «легкой» руки переименовали в сельские поселения. В словаре русского языка Ожегова поселению дается такое определение: «Принудительное выдворение на жительство в отдаленное место в наказание за что-нибудь».

Но вернемся снова к флоту. Обоих моряков хорошо знал их земляк Василий Васильевич Егоров, участник Великой Отечественной войны. После нее служил в морской авиации и в звании инженера — старшего лейтенанта уволился в запас.

Он — уроженец деревни Опарино, откуда родом и моряк Иван Афанасьев. Как рассказывал ветеран, их дома стояли напротив друг друга, окна в окна. Он, будучи мальчишкой, хорошо запомнил знаменитого соседа, с качающейся походкой и в тельняшке. Его в деревне так и называли — «Матрос».

А Якова Константинова Василий Васильевич знал даже лучше, чем моряка-варяжца. Их семьи жили в одном доме после войны в городе Пскове и ходили друг к другу в гости. Сохранилась фотография: на ней в один из праздников Яков играет на гармони, а Василий с женой и другими женщинами приплясывает перед гармонистом.

Символично, что ветеран хоронил земляка и даже обустраивал впоследствии его могилу. Пришлось устанавливать надгробие с памятником Ивану Афанасьеву.

Не менее символичным оказалось и то, что после ухода на пенсию Василий Васильевич построил дачный домик в деревне Олохово — на родине Якова Константинова.

Несмотря на всякие сложности, боевые традиции и высокий патриотический дух передаются от поколения к поколению. Неувядаемой славой покрыл себя Военно-Морской флот в годы Великой Отечественной войны. На боевых кораблях сражалось немало палкинцев, на каждом флоте воевали наши земляки.

Война на море особая. Погибают все с кораблям или все становятся победителями. Каково было родителям прочитать похоронку: «Ваш сын

Васильев Александр Васильевич, 1915 года рождения, уроженец деревни Крюково, погиб 24 августа 1945 года. Тело предано морю».

Старшина воевал с Японией на Тихом океане в составе экипажа подводной лодки Л-19. После того как уничтожили крупный вражеский транспорт и повредили ещё один, получили боевой приказ: обеспечить высадку морского десанта на Сахалине. В проливе Лаперуза на пути оказалось минное заграждение. Командир принял решение: форсировать минную преграду. Конкретную причину гибели лодки никто не знает. Такова суровость подводной войны. Несомненно, от столкновения с морской миной. Подлодка не вышла на связь, и её объявили погибшей. Всех матросов и офицеров наградили орденами Отечественной войны.

На флотах погибли из района 11 краснофлотцев. Вот их имена и фамилии:

— Александров Алексей Александрович, матрос, Новоуситовский сельсовет, дер. Бараново, умер от ран 18 января 1942 года, похоронен в Кронштадте;

— Васильев Александр Васильевич, 1915 года рождения, уроженец деревни Крюково, старшина 1-й статьи, погиб 24 августа 1945 года, тело предано морю;

— Зверев Николай Дмитриевич, краснофлотец, погиб 14 февраля 1841 года, захоронен: Ленинградская область, Ораниенбаумский район, дер. Керново;

— Игнатьев Павел Владимирович, краснофлотец, погиб 10 апреля 1943 года, похоронен: г. Новая Ладога;

— Нестеров Павел Иванович, 1919 года рождения, Качановский сельсовет, дер. Сергино, краснофлотец, пропал без вести 3 июля 1942 года;

— Николаев Василий Дмитриевич, Новоуситовский сельсовет, дер. Медведево, краснофлотец, пропал без вести в августе 1942 года;

— Осипов Тимофей Афанасьевич, Васильевский сельсовет, дер. Лучихино, матрос, пропал без вести в октябре 1941 года;

— Павлов Николай Иванович, Черский сельсовет, дер. Вернявино, краснофлотец, погиб 31 декабря 1941 года, похоронен в г. Новая Ладога;

— Павлов Павел Николаевич, Черский сельсовет, дер. Оленино, краснофлотец, погиб в сентябре 1942 года, тело предано морю;

— Сергеев Сергей Кириллович, Палкинский сельсовет, дер. Базары, краснофлотец, пропал без вести в июне 1941 года;

— Тихонов Федор Тихонович, 1918 года рождения, Новоуситовский сельсовет, дер. Батьково, краснофлотец, пропал без вести в августе 1941 года.

Погибли не все сражавшиеся на море. На Балтике совершал подвиги матрос Виктор Николаевич Михайлов. Прежде чем попасть на флот, он в рядах народных мстителей прошёл партизанскую школу борьбы с фашистами в лесах Псковщины. Для начала направили в учебный отряд для приобретения корабельной специальности.

Постигать науки пришлось на практике. Курсантов включили в штурмовую группу десанта и поставили задачу броском с моря захватить хорошо укреплённый немцами остров Эзель. Сняв с себя бушлаты и побросав их на колючую проволоку, молодые моряки, впервые вступив в бой, не подкачали. Сражались наравне с опытными и бывалыми бойцами. Не устоял враг перед «Черной смертью» и «Полосатыми дьяволами», как называли немцы наших моряков.

Многие товарищи Михайлова по отряду и десанту геройски погибли. Сам он лишь получил царапины и ссадины, хотя тельняшка висела на теле клочьями. И он, единственный из моряков-участников войны, был удостоен высокой морской награды — медали Нахимова.

После десанта служил на тральщике и тоже занимался опасным делом — тралением мин на Балтийском море. После демобилизации из флота поступил на службу в милицию и многие годы возглавлял местный райотдел.

Николая Петровича Егорова из села Качаново призвали на Северный флот перед самой войной. Ему, как имеющему десятиклассное образование, военкомат не раз предлагал поступить в кавалерийское училище. Но деревенского парня тянула морская романтика. Учли желание — призвали на флот. В учебном отряде, в Архангельске, получил специальность корабельного радиста.

Для него война началась 19 июня 1941 года. В тот день немецкие самолеты нарушили воздушное пространство над Баренцевым морем. По ним наши корабли открыли зенитный огонь. С 22 июня пришлось вести борьбу не только с вражескими самолетами, но и с надводными кораблями и подводными лодками. Переключались и на охрану союзнических конвоев.

Николай Петрович всю войну прослужил радистом на эсминце «Громкий». У моряков-североморцев есть любимая песня «Прощайте, скалистые горы». Она о грусти расставания и радости встречи, о морской

судьбе. В песне есть замечательные слова: «Радостно встретит Рыбачий — родимая наша земля». Эту веру пронёс в сердце все годы войны матрос Егоров. После победы прослужил ещё более года и только потом вернулся домой. Шесть лет отдано родному Северному флоту.

Однако на этом морская служба не закончилась. В 1952 году присваивают звание лейтенанта и призывают на флот на три года. На этот раз служба оказалась необычной. Его, имеющего тягу к художественной самодеятельности, назначили начальником одного из флотских клубов на Балтике.

С Северным флотом также связана судьба Павла Афанасьевича Данилова из деревни Сухлово. Точкой отсчета его службы стала осень 1940 года. Он попал в команду дальномерщиков и после учебы был направлен на остров Кильдин в зенитную батарею.

22 июня 1941 года над островом закружили шесть самолетов с чёрной свастикой на крыльях. Они стали бомбить береговые позиции флота. Всю войну матрос Данилов прослужил в зенитной батарее. 13 июля 1944-го её перебросили на военно-морскую базу Иоконьга в поселок Гремиха. Там же и встретил долгожданную весть о конце войны. В небе появились наши самолеты и, на первый взгляд, стали описывать странные виражи. Скоро всем стало понятно: на небе появилось огромное слово: «Победа». Ради неё и воевал матрос-дальномерщик. За боевые заслуги награждён орденами и медалями, среди них «За оборону Советского Заполярья».

На Северном флоте сражался и Евгений Степанович Степанов, а на Черноморском — Михаил Григорьевич Григорьев.

Есть в районе и такие, кто участвовал в Великой Отечественной войне, а после неё перешел на службу во флот. Сразу надо отметить носителя фамилии, имени и отчества вождя мирового пролетариата Ульянова Владимира Ильича. Он никогда не гордился этим, а на частые расспросы вежливо отвечал:

— Я — Ульянов, но не Ленин.

Наследовал такое громкое триединство по своей родословной. Деда звали Ульяном (отчего и фамилия Ульянов), отцу дали имя Илья, а его сыну — Владимир. Так и появился на свет палкинский Ульянов Владимир Ильич.

После войны он попросился на службу во флот и решил продолжить семейную традицию. Его родной брат служил на тральщике и воевал на Северном флоте, а троюродный брат Алексей Самсонов — на минном

заградителе. Более далекий предок ходил на паруснике, а упоминаемый дед Ульян тоже посвятил свою жизнь морю.

Владимира Ильича послали служить на лидер «Прочный», что достался Советскому Союзу от Германии после раздела её военного имущества. Лидер имел ртутные успокоители качки и специально выходил в море во время шторма. А море всегда непредсказуемо, надо быть готовым ко всему. Владимир Ильич служил исправно, предотвратил пожар на корабле и аварию во время буксировки другого судна. Случались и другие происшествия, но, как и в любой команде, матрос Ульянов был начеку. Кроме участия в войне, шесть лет отдано морю.

Ещё один ветеран Великой Отечественной войны, участник разминирования немецкой оборонительной линии «Пантера» Анатолий Иванович Михайлов из деревни Ягодкино, по комсомольскому набору отслужил в ВМФ 8 лет, из них три года в Польше. После освобождения района выполнял обязанности командира отделения 2-й роты 231-го отдельного отряда разминирования.

А вот послужной список во время пребывания на флоте: ученик-матрос учебного отряда, электрик — старший матрос 24-й группы теплосиловых установок, секретарь комсомольского бюро — старшина 2-й статьи; слушатель курсов политработников и заместитель командира батареи по политчасти — младший лейтенант; заместитель командира прожекторной роты по политчасти — лейтенант.

На гражданке длительное время работал секретарем райисполкома, председателем районного комитета народного контроля. Заочно окончил исторический факультет Ленинградского госуниверситета. По сути, первый в районе стал заниматься изучением истории района.

Далеко от Псковщины катит свои бурные волны Тихий океан. Как уже упоминалось, на нём воевал старшина 1-й статьи Александр Васильев. Михаил Семенович Минин — сейчас единственный живой из ветеранов-моряков района — служил на плавучей батарее, охранял небо на Дальнем Востоке. Неоднократно батарея вступала в схватку с японскими самолетами, управляемыми смертниками. Участвовал в охране десанта в Северной Корее.

Закончилась Великая Отечественная война. Возвращались моряки домой. На смену им стали приходить их дети, внуки и уже правнуки. Немало тех, кто служил на атомных подводных лодках. К ним относится и нынешний житель поселка Палкино Олег Александрович Абрагам. Службу закончил на АПЛ в должности командира электротехнической

боевой части, коротко БЧ-5, в звании инженера — капитана третьего ранга.

Тоже капитан третьего ранга, Георгий Анатольевич Кайдалов с детства посвятил себя морю. После 4 классов школы, как сына погибшего солдата, приняли в Тбилисское нахимовское училище, затем окончил и военно-морское. 39 лет — таков стаж морской службы, из них большая часть на подводных лодках. Выйдя на гражданку, вернулся на прежнее место жительства в Грузии. Но из-за гонений на русских покинул её и поселился в нашем Палкино.

Моряк нашёл себе занятие по душе и на суше. С сестрой Инной Анатольевной выпустили немало изданий по истории Палкинского района. Они являются авторами и уникальных миниатюрных книг. К сожалению, Георгий Анатольевич рано ушёл из жизни. В память о нём ежегодно проводятся Кайдаловские краеведческие чтения.

Те, кто прошёл испытание морем, и на гражданке стали надежными в работе и товарищами в дружбе. Служили на флоте уже и более молодые по возрасту: главным корабельным старшиной на Черноморском флоте Павел Изотов, старшиной 2-й статьи на Северном флоте Владимир Ильин и многие палкинцы.

Когда в районном центре проводился праздник в честь 300-летия Российского флота, то собралось более 100 матросов, старшин и офицеров. Из их числа вполне можно было составить экипаж корабля.

С 2004 года, когда отмечалось 100-летие подвига крейсера «Варяг», началась под руководством районного совета ветеранов целенаправленная работа по военно-патриотическому воспитанию молодёжи. Регулярно в школах организуются встречи с моряками, с их участием проводятся уроки мужества — дважды в год: в годовщину подвига «Варяга» в дату создания Российского флота. Приезжали к нам заместитель председателя Псковского Морского собрания, контр-адмирал Алексей Григорьевич Красников, командир атомной подлодки «Псков» В.А. Ковалёв, капитаны 1-го ранга В.В. Иванов, В.А. Михайлов, И.В. Косяк и другие офицеры.

Особая дружба сложилась на протяжении более десяти лет с Центром боевого применения и переучивания летного состава ВМФ. Однажды на урок мужества в Палкинскую среднюю школу приехало 18 офицеров и 50 матросов. Они считают своим долгом бывать в районе и направлять туда офицеров. Приезжали на уроки мужества полковник Альберт Гейнетзянович Нуретдинов, затем генерал-майор Алексей Игоревич Сердюк, полковники морской авиации Валерий Викторович Тюрин, Андрей

Миллятович Шамсуяров, подполковники Анатолий Николаевич Уланов, Валерий Николаевич Коваленко, Александр Викторович Кандауров, в последнее время — начальник Центральных офицерских курсов, полковник Андрей Михайлович Алексеенко, его заместитель, подполковник Евгений Евгеньевич Якушев, преподаватель курсов, полковник Николай Лаврентьевич Кошель.

И последнее. Может возникнуть недоумение: а причём тут французы? Так в шутку называют местных жителей, а район — Францией. Говорят, что это пошло со времени отступления наполеоновских войск из Москвы по здешней местности. Наши смиренномудрые и боголюбивые крестьяне проявляли милость к побеждённым. Отставших от своих частей и больных нередко принимали в семьи. И даже выдавали замуж за них своих дочерей. Рождённые от таких браков получали прозвища «французы».

Есть и более правдоподобная версия. В здешней округе до Октябрьской революции жил богатый немецкий помещик по имени Франц. Когда жители приходили на приём к властям, то обычно представлялись: «Мы от такого-то», в данном случае: «Мы от Франца». Возможно, так и появились на Палкинской земле французы. По прозвищу — французы, а по жизни — настоящие русские мужики.

Людмила Тишаева

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Снова дочь умчалась на свиданье,
Сын с отцом сражаются в «бою»,
Том, что на компьютерном экране:
«Мышкой» вверх — и все опять в строю.

Как же просто и ничуть не страшно —
«Жизнь» в игре воротится не раз.
В «бой» они бросаются отважно,
Чтоб набрать тех «жизней» про запас.

В нашу жизнь ворвались игры-войны,
Где не страшно даже умирать.
В них не ранит горе ближних больно,
Здесь привычно «жизнями» играть.

А вчера — на этом же экране —
Шли солдаты в свой последний бой.
Был там сын смертельно чей-то ранен,
Стала там жена бойца вдовой…

И, не удержавшись на ресницах,
По мужской щеке сползла слеза.
…На минуту смолкли в мае птицы,
И салютом грянула гроза.

Тишаева Людмила Георгиевна. Родилась в 1954 году в г. Чугуеве Харьковской области на Украине. С 1990 г. живет в Пскове, работает учителем изобразительного искусства. Публиковалась в коллективных сборниках: «Пскова негасимый свет», «На берегах Великой и Псковы», «Весенние ростки», «Опаленные войной». В 2006 году вышел персональный сборник стихов «В росинке — мира отраженье».

ПЛАЧ ПО УКРАИНЕ

Уста мои сомкнуты — не разомкнуть,
Душой овладела кручина.
Дай волю слезам — можно в них утонуть,
Ведь сердце — плохая плотина.

Нахлынут, плеснув на виски седину,
Бедой, заостряя морщины.
И вырвется крик, расколов тишину:
«Что сталось с тобой, Украина?!

Неужто не ведаешь ты, что творишь,
Когда, как безумная, скачешь?
Замри… вон убитый тобою малыш, —
Пусть мать над ребёнком поплачет…»

Мне горечь потерь разомкнула уста.
«Спаси Украину», — молю я Христа.

ПАМЯТИ ПОДЛОДКИ «КУРСК»

Минута дольше тянется, чем час,
Дни в дымке проплывают мутно-серой,
И Баренцеву морю в такт сейчас
Стучат сердца — с надеждою и верой.

Гонг слабо отбивает: «SOS! Вода!
Спасите, умоляем, наши души!»
Им эхом вторит шторм: «Беда! Беда!» —
Девятым валом падая на сушу.

Мы в этот миг — единый нервный ком:
Готовы хлынуть слёзы, как лавина;
Отчаянье охватит нас потом,
Когда норвежцы люк на лодке сдвинут…

Ну а пока страна родная ждёт,
На чудо, как обычно, уповая,
Они надеются: Отчизна их спасёт, —
Хоть правду горькую уже, наверно, знают…

Оплачет сыновей Россия-мать,
Кляня за всё бездушную стихию,
А мы в душе им будем отправлять
Ответ на SOS: «Простите, дорогие…»

ВЕЧЕР НА ВЕЛИКОЙ

Затихло всё на пляже городском —
Ни гомона детей, ни чаек крика.
Тобой любуюсь, православный Псков —
Плескавы тёзка, сын Руси великой.

Ни гомона детей, ни чаек крика
Не слышно над Великою рекой.
И солнце, погасив на волнах блики,
За монастырь скатилось на покой.

Тобой любуюсь, православный Псков —
Часовенками, башнями, церквами…
Коснётся сердца звон колоколов,
Очистив грязь с души моей слезами.

Плескавы тёзка, сын Руси великой —
Свидетель и участник ратных дел,
Изведал ты не раз, почём фунт лиха,
Но не поник главой — лишь поседел.

ЗАБЫТЫЙ ПОДВИГ

Такой войны Земля ещё не знала:
Не реки — море крови на фронтах.
Поля боёв усеяны металлом,
Баллоны с едким газом ждут атак.

С блицкригом граф фон Шлиффен просчитался,
Идея «двух фронтов» трещит по швам.
В окопах пехотинец оказался,
Чтоб «кровным братом» стать тифозным вшам.

На западе наметилось затишье,
Немецкий штык направлен на восток, —
Не удалось «позавтракать в Париже»,
В России пообедать ганс готов.

Но преградила крепость путь германцам,
Что на реке Бобры возведена.
Уверен враг — у россиян нет шансов
И через пару дней падёт она.

Ошибся немец — больше полугода
Держался осаждённый Осовец!
Не одолели русского народа
Ни хлорный газ, ни пушки, ни свинец.

На штурм бросают тысячи ландверов —
Победа долгожданная близка,
Но встали за Отечество и Веру
Пехотные Землянского полка.

Шли на врага из пекла шесть десятков
Кровоточащих язвами бойцов —
Бежал германец, лишь сверкали пятки…
Страшна была «атака мертвецов»!

ЗНАМЕНОСЕЦ ПОБЕДЫ

Памяти Михаила Петровича Минина,
Почетного гражданина г. Пскова,
первым водрузившего Знамя Победы
над рейхстагом.

Жил на псковской земле ветеран,
Повезло: без контузий и ран
Он прошёл до конца всю войну,
Приближая Победы весну.

В сердце добрые чувства храня,
Бил врагов, не жалея огня.
В сорок пятом, ворвавшись в рейхстаг,
Первым он водрузил красный флаг.

Как и все, в годы мирные жил,
Беззаветно Отчизне служил,
Лишь обида осколочком льда
Холодила его иногда.

Разобраться пытался не раз:
Почему прячут правду от нас?
Для чего её нужно скрывать?
Взялся правду солдат отыскать.

Он искал её, где только мог,
Исходил много разных дорог,
Но на каждой дороге — стена:
За стеной разве правда видна?

…У могилы Героя — салют,
Ветерану гвоздики несут,
Чтоб к подножью цветы возложить
И уже только правдою жить!

УХОДЯТ МАЛЬЧИКИ

Вот поезд московский, последний вагон;
Мальчишки уходят в солдаты.
И пусть гимнастёрки пока без погон,
И так непривычны бушлаты,

Ещё в сапогах не портянки — носки,
Ещё без кокард ваши шапки,
Но всё ж за плечами у всех — вещмешки,
И рукопожатия жарки.

Пока улыбаются матери вслед,
Стараясь удерживать слёзы,
Но детства на лицах у вас уже нет,
И такт отбивают колёса…

Служите, мальчишки, России сыны,
А мы будем вами гордиться!
Дай Бог никогда не узнать вам войны!
Дай Бог всем домой возвратиться!

ПСКОВСКАЯ ЧЕРЁМУХА

Смотри, отец, черёмуха вскипела
И пенным цветом заливает Псков;
У нас всегда так, испокон веков,
И буйству этому как будто нет предела.

Смотри, отец, Победы день священный
Салютами сегодня прогремел;
Скорблю о том: дожить ты не сумел,
Но знаю я: отдал ты долг военный.

Смотри, отец, твой правнук подрастает,
И правнучке восьмой минует год...
На Псковщине черёмуха цветёт
И землю лепестками осыпает.

Прозрачен воздух этих майских дней;
Тебе всё сверху, верится, видней.

ДАРУЙ ИМ НЕБЕСА

Подвигу 6-й роты псковских десантников

Я просыпаюсь с пламенем в глазах:
Мне снова снились огненные маки,
Растущие на выжженных камнях, —
Свидетели психической атаки.

Савинов Владимир Борисович. Родился в 1952 году. Поэт, автор шести сборников стихотворений, изданных в Пскове с 2006 по 2015 год. Живет в Пскове.

На склонах самой страшной высоты,
Что вспорота разрывами снарядов,
Являются мне алые цветы,
А среди них все девяносто взглядов.

— Ну вот и славно, — говорю, — сынки,
Опять вы вместе, как тогда, до боя.
И до чего ж вы молоды, крепки,
Хоть каждому давай Звезду Героя!..

Нет, нет, не слёзы это, милуй Бог!
Наверное, туман ползёт в ущелье...
Я вам слова какие-то берёг
И попросить хотел у вас прощенья,

Да только вам оно уж ни к чему —
И даже тем из вас, кто жив поныне...
Позвольте, помолюсь тогда Ему,
Как молится в душе отец о сыне...

О Господи! Даруй им небеса!
И память светлую им сотвори навечно!
И пусть мне снятся маки, а слеза
И горькой будет пусть, и быстротечной...

НЕИЗВЕСТНОСТИ НЕТ, ЕСЛИ ПАМЯТЬ ХРАНИТ

Ты не слышишь меня, неизвестный солдат,
В глубине-тишине безымянного леса.
Между мной и тобой поколенья стоят
И беспамятных лет дымовая завеса.

Здесь могила твоя меж сосновых корней,
Где засыпан ты был после взрыва снаряда.
Полегла, может, рота таких же парней,
Никому не дошли ни письмо, ни награда.

Так сложилась судьба, небосвод потемнел,
Это чёрная гарь белый свет заслонила.
Или мины осколок смертельно задел,
Или пуля нашла и пронзила... убила.

Ничего не известно. И лес не узнать.
И не лес был тогда — обгоревшее поле.
Похоронка... Убиты — кто должен писать.
Чья-то, может, вина. И солдатская доля.

Так зачем я пришёл? Просто вспомнил отца.
Повезло лейтенанту под Ржевом когда-то:
Откопали друзья, смерть отёрли с лица.
Слава Богу, не стал неизвестным солдатом.

Там, где Вечный огонь греет камень-гранит,
Нашим внукам понять очень важное надо:
Неизвестности нет, если память хранит
Неизвестных солдат синь последнего взгляда.

ЖЕНЩИНАМ НОВОРОССИИ

О женщины пылающей земли,
Донбасские, луганские мадонны!
Вы в страшном сне представить не могли:
Мир в одночасье станет прокаженным.

Разрушено все вдребезги войной,
Коричневой чумою, к вам пришедшей
Под взрывы мин и самолётный вой, —
Поверить в это мог лишь сумасшедший.

Вам, вместо роз, объятий, и любви,
И красоты украинского неба,
Швырнули — ненависть, безумство на крови
И смерть детей! Жизнь без воды, без хлеба...

Простите, женщины, мужчин, — они ушли
На блокпосты, взяв в руки автоматы!
А если защитить вас не смогли —
Неравный бой. Они не виноваты.

В чаду развалин и в пылу огня
Свою любовь вы к ним усильте втрое!
Их крепнет мужество в бою день ото дня!
Вернутся к вам донбасские герои!

Алексей Болдин

ГЕРОЙ ОЧЕРКА

Газетчик тучный весел и речист,
Он задает серьезные вопросы.
Ефим — седой бывалый тракторист —
Усердно курит третью папиросу.
«Ефим Петрович!
В чем же ваш секрет?» —
Газетчик спросит,
Целясь объективом.
«Работаем.
Секретов, братец, нет.
Уход хороший любит наша нива».
Гремит газетный очерк от похвал.
Жена прочтет Ефиму
Слово в слово.
Заметит:
«Про войну не рассказал».
Ефим вздохнет
И бровь взметнет сурово.

Жестка Ефиму жаркая постель.
«Не дай-то Бог!» —
Прошепчет он губами.
И в душном танке смотровая щель
Всю ночь стоит
Перед его глазами.

Болдин Алексей Алексеевич (1941—1990). Родился в дер. Орша Новоржевского района Псковской области. Много лет отдал журналистике, публикуя в местной газете как статьи, так и стихи. Произведения А. Болдина напечатаны в коллективных сборниках «Рассветы над Великой», «Встречи», «Звенья». Автор книги стихов «Жаркий апрель» (Ленинград, 1989).

ОТЦУ

Отец, почему ты являешься в сны
В матросской шинели с минувшей войны,
Пропахший сырою окопной землей?
Ведь мы не видались ни разу с тобой.

Храню я, отец мой, с младенческих лет
Совсем пожелтевший твой фотопортрет.
Успела спасти его мать из огня.
И ты на портрете
Моложе меня.

ДВА ОГНЯ

Ржаное зерно я кладу на ладонь.
В нем спит согревающий душу огонь,

Дошедший ко мне сквозь столетий обвал,
Чтоб внукам своим я его передал.

О голоде вспомню —
И видятся мне
Деревни родимые в черном огне.

В подвале сыром притаилась беда,
И в ступе хрустит не зерно — лебеда.

Душе кипятком не согреться пустым.
Кружат над пожарищем пепел и дым.

Смеюсь или плачу —
Два разных огня
Горят по соседству в душе у меня.

Любовь Никитина

ВОЕННЫЕ ДОРОГИ АРТИСТОВ ПСКОВСКОГО ТЕАТРА

За полгода до начала Великой Отечественной войны Псковский драматический театр принимал участие в смотре театрально-музыкального искусства Ленинградской области. На суд зрителей и жюри был представлен спектакль «Фельдмаршал Кутузов» по пьесе В. Соловьева. Для областного театра, ограниченного в технических средствах и актерских кадрах, это был смелый шаг, тем более что пьеса об эпопее 1812 года шла в обеих столицах — в театре Ленинского комсомола, в театре им. Е. Вахтангова. Однако патриотический спектакль о замечательном полководце и подвиге русского народа получил высокую оценку жюри, отмечавшего «высокую культуру актерской игры», «содержательность режиссерского замысла», «глубокое понимание событий эпохи». По итогам смотра Псковский театр занял 1-е место среди театров Ленинградской области, а его художественный руководитель В.Н. Лебедев, актеры Н. Леонтьев (Кутузов) и В. Богданова были удостоены звания «Заслуженный артист РСФСР».

Окрылённая успехом, труппа театра в июне 1941 года выехала на гастроли в Вологду. Театр показывал свой репертуар: спектакли «Фельдмаршал Кутузов», «Полководец Суворов», «Обрыв», «Таня». «Звезда Севильи»… Известие о войне застало врасплох. Художественный руководитель театра и часть актеров прямо из Вологды отправились на фронт. В.Н. Лебедев записался в ряды ленинградского народного ополчения и сразу получил контузию.

По-разному сложились судьбы псковских артистов.

Из воспоминаний Лебедева: «17 сентября 1941 года. Я командую батальоном, который занял позиции в Екатерининском парке города Пушкина. В этот день я был тяжело ранен. Сознание вернулось только через три дня. Ленинград. Эвакогоспиталь на улице Плеханова. Это бывшая школа. После многих дней отступления с непрерывными боями, грохо-

Никитина Любовь Алексеевна. Театровед, публицист. Работала заведующей литературной частью Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина. Публиковалась в региональной и центральной прессе. В 2005 году вышла в свет ее книга «Театральные портреты». Живет в Пскове.

том снарядов, бессонных ночей, постоянных контратак поражает госпитальная тишина. Она везде и во всём. Я плохо слышу. Голова по-прежнему тяжелая. На глазах чёрная повязка, не могу смотреть, всё двоится. Как только приподнимаюсь, начинает тошнить. Мне предписан полный покой, никаких движений. Я наслаждаюсь этой странной, необычайной для меня тишиной. Однообразие хорошо организованной жизни госпиталя нарушают воздушные тревоги. Тогда все, кто может ходить, спускаются в бомбоубежище. Меня не трогают. Я продолжаю лежать, прислушиваясь к отдаленным разрывам зенитных снарядов. Кажется, это было 22 сентября. В плате какая-то девушка читала «Полтаву». Она читала по-школьному звонким, почти детским голосом, «с выражением». Опять тревога! В этот день уже четвертая или пятая. Девушка продолжала читать:

В огне, под градом раскаленным,
Стеной живою отражённым,
Над павшим строем свежий строй…

В стихию пушкинских стихов врывается страшный грохот и треск. Пол дрогнул, как во время землетрясения. Чувствую острую боль в плече. Срываю повязку. Койка моя наполовину засыпана кирпичами и извёсткой от отвалившейся части стены и потолка. Пыль и дым. Вижу нормально. Бомба взорвалась где-то рядом. Сосед по койке засыпан совсем, только одна рука его с пальцами, собранными в кулак, кому-то угрожает. Стол опрокинут. Около него лежит хорошенькая девушка, почти еще девочка. Подхожу к ней и старюсь улыбнуться, говорю глупую фразу: «Вот вам и товарищ Пушкин…» Она смотрит на меня полными ужаса глазами. Тут же томик Пушкина. Несколько страниц судорожно зажаты маленькими пальчиками. На страницах кровь. Не знаю, как её звать и кто она. Просто читала раненым бойцам Пушкина и погибла, как солдат. Смерть и на этот раз обошла меня. Томик Пушкина я взял себе и до сих пор храню».

Выписавшись из госпиталя, режиссер В.Н. Лебедев поступил в Театр народного ополчения. Жизнь этого театра была непродолжительной, но по-военному активной. Впоследствии он был передан в ведение Дома Советской Армии и назывался «Фронтовым агитвзводом». Лебедев стал режиссёром этого театра. В короткие сроки была выпущена пьеса Н. Симонова «Русские люди», только что напечатанная в газете «Правда». Патриотизм и высокое мастерство актёров ни у кого не вызывали сомнений. Играли В. Вадимов, В. Усков, Е. Копелян, Н. Корн, С. Коваль и другие актеры. Театры эвакуировались. Из оставшихся артистов и режиссеров в 1943 году в Ленинграде был создан «Блокадный театр». Лебедев

с группой артистов «Фронтового агитвзвода» активно включился в работу по созданию нового репертуара: «Олеко Дундич», «Обрыв», пьесы Н. Островского, новые советские авторы. В 1946 году Лебедев вернулся в восстановленный Псковский театр главным режиссёром.

Интересна военная судьба артиста А.И. Алексеева, в 50—70-е годы игравшего на псковской сцене. В 1942 году Алексея Ивановича, умиравшего от голода, вывезли из блокадного Ленинграда по льду Ладожского озера. Потом он оказался в театре Ленсовета, который возглавлял известный советский режиссёр С.Э. Радлов. Они играли в Пятигорске, пока город не заняли немцы. Измождённые блокадой артисты не смогли уйти из города пешком, а другой возможности не было. Им пришлось работать и в оккупации. Потом немцы перевезли их в Запорожье. Алексей Иванович сочинил стихи о тех годах:

Всюду слышишь «данке», «бите»,
Подступает к горлу ком.
Все любимое забыто?
Полетело кувырком?
Заревёшь от боли, братцы,
Если прошлое любил.
Долго ль нам еще скитаться
Без руля и без ветрил?

А скитаться артистам пришлось долго. Отступая, немцы увезли с собой и «драгоценный трофей» — радловский театр. В октябре 1943 года они оказываются в Берлине, разбившись на группы, играют спектакли в Германии и Франции. Алексей Иванович был в одной из французских групп, потом он работал в Париже на радио и даже снялся в фильме. Радлова обманным путем вызывают в Москву и тут же арестовывают, остальных «отлавливают» и тоже переправляют в Россию. В 45-м и Алексей Иванович вернулся в Ленинград, но оставаться здесь он уже не имел права. Ленинградский режиссер В.Н. Лебедев позвал его в Псковский театр, где он с 46-го по 49-й год играл на нашей сцене. Военное «европейское турне» и работа в оккупации не сошли с рук артисту: в 50-м его арестовали и сослали в Каргополлаг МВД Архангельской области. Такая же судьба постигла многих артистов и самого Радлова. Алексей Иванович на судьбу не роптал, имел даже «лагерные грамоты» за достижения в работе завклубом. Был освобождён в 1957 году по амнистии со снятием судимости. В 54 года он начал новую жизнь опять в псковском театре, где и работал до самой смерти в 1980 году.

Сыгравший на псковской сцене более ста ролей, заслуженный артист РСФСР В.Д. Лукин войну встретил в Выборге, с концертной бригадой выступал на Ленинградском фронте.

Артист И.И. Голышев призвался на военную службу в 1939 году и до 1946-го не снимал шинель. Лейтенант Голышев воевал на передовой и за боевые заслуги награжден тремя орденами и пятью медалями.

Героиня псковской сцены 50—60-х годов, заслуженная артистка РСФСР Л.П. Деримарко, в военные годы, работая на Дальнем Востоке, много выступала в концертах, исполняла романсы. Незабываемыми остались концерты на военных кораблях перед моряками, уходившими в бой. Маленькая изящная артистка вдохновляла и наполняла любовью сотни мужских сердец. Огромная её популярность в те годы сродни была той, что имела К.И. Шульженко. Кстати, Любовь Петровна была с ней знакома, а с её мужем, известным куплетистом В. Коралли, неоднократно работала в сборных концертах.

Возглавлявший псковский театр в 60-е годы режиссёр Л.В. Луккер прославился своим спектаклем «Дочь России», в котором действовали вожди пролетариата Маркс и Энгельс, успешно воплощённые псковскими артистами. В военные годы он руководил Николаевским театром. Следуя патриотическому почину, коллектив театра на личные сбережения и средства, заработанные дополнительными спектаклями, построил самолет «Николаевского театра Чкалова». Было собрано 120 тысяч рублей, лично Луккер внес 2 тысячи рублей.

Заслуженный артист РСФСР Ю.В. Пресняков в годы войны танцевал в балете и в оперетте, участвовал в театре миниатюр во фронтовых бригадах. Потом немцы угнали его в Германию, где Юрий выступал в концертной бригаде по обслуживанию трудовых лагерей русских рабочих, пока не освободили советские войска.

«Псковский Карл Маркс», заслуженный артист РСФСР Н.С. Крицкий, играл в Воронежском театре, в войну с бригадой артистов выступал перед бойцами в полевых госпиталях. Его зрители порой не могли аплодировать из-за своих ранений и стучали алюминиевой кружкой или костылями, выражая свою благодарность.

Артист Б.А. Фомичев на войне был сапером. В сентябре 1941 года ранен под Смоленском. Наши с боями отступали, последние зенитки проскочили через мост, который подрывная команда должна была уничтожить. Все проверив, майор Захарченко и солдат Фомичев возвращались на свою позицию, как вдруг блеснуло под ногами, и Борис уже не помнил,

как тащил его майор, как оперировали, как немцы бомбили госпиталь. Очнулся молодой сапер уже в палате. Прошло больше года, прежде чем бесчувственные ноги научились ходить. Осколок в позвоночнике остался навсегда. Так в 41-м началась и закончилась для солдата Фомичева война.

Вспоминает артист М.С. Иванов: «Когда началась война, мы думали — временно, а оказалось… Помню как сейчас, 18 февраля была страшная бомбежка. Наши бомбили город, жуть эта длилась сутки, думали, что не выживем, потом отсиживались в подвалах Мирожского монастыря. Немцы случайно наткнулись на нас и поставили к стенке церкви. Уже взвели курки, да один солдат отвернулся прикурить, а тут на крыльцо вышел офицер, посмотрел на весеннее небо, вдохнул мартовского воздуха и решил, что не надо кровь проливать в такой чудесный день. Я понимал по-немецки. Так мы попали в лагерь. На литовском хуторе, где батрачили, отец умер от разрыва сердца. Вырыл я яму под большой сосной, обложил её снопами и похоронил отца… А меня повезли дальше. За сутки перекинули от Балтики к снежным Альпам. Батрачил в Австрии, пока не освободили американцы, перебежал к нашим, попал в лагерь. Начальнику лагеря нравилось, как я на аккордеоне играл, за это и домой побыстрее отпустили. Аккордеон помог и в Пскове устроиться в молодежный ансамбль песни и танца. На первых же гастролях познакомился с будущей женой — артисткой Миррой Горской. В начале 50-х нашу семью пригласили в труппу Псковского театра».

МАЙСКОЕ УТРО

Тихо в жактовской нашей квартире.
За окном всё поёт о весне.
Ты чему-то хорошему в мире
улыбнулась по-детски во сне.
Но слезинка-роса на ресницах!..
Что вломилось в твою тишину?
Скрип телеги — лихой колесницы, —
что отца увезла на войну?
Или послевоенные беды
в изголовье угрюмо стоят?..
Твой отец не дошёл до Победы.
До неё не дошёл и мой брат.
Но знамёна на улицах реют
и оркестры победно поют.
Ветеранов ряды не редеют:
в строй их дети и внуки встают.
Нам с тобой не глядеть бы в сторонке,
а, как память на все времена,
на подушках нести похоронки,
как на тризнах несут ордена.
Пронести перед всеми открыто,
пусть наш строй говорит и кричит:
«Это правда — ничто не забыто!
Трижды правда — никто не забыт!»

Жемлиханов Энвер Мухамедович (1936—1995). Родился в г. Магнитогорске. В 1949 году семья переехала в г. Великие Луки. В 1972 году окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Член Союза писателей СССР. Автор поэтических сборников: «Оазисы», «Двойная радуга», «Звучанье тишины» и др. Посмертно — «Я возвращаюсь не случайно».

МУЖЧИНА, ИГРАЮЩИЙ В СНЕЖКИ

Хмельной ни от хмеля,
крещённый в огне,
четыре апреля
он шёл по войне.
Под грохотным небом
белели поля,
и тающим снегом
дышала земля.
Он выжил, вернулся
здоровый-живой.
И вот он схлестнулся
в снежки с детворой!
И вот он их учит
покрепче слепить,
азартней и жгучей
по цели влепить.
И, комкая нервно
в ладонищах ком,
он вспомнил, наверно,
о прошлом своём
и замер устало,
потухший, глухой.
Лишь сердце стучало:
увиделся бой…

ПОЮЩИЕ КАМНИ

В скорбной Хатыни
Слышен ясней
Росною стынью
Голос камней.

Вслушайтесь, вслушайтесь —
Камни вздыхают, —

Камни Майданека,
Глыбы Дахау!..

«Вспомните клятвы,
Молитвы, обеты,
Люди! Войну прогоните
С планеты!»

Голос Хатыни —
Стон над полями —
Льётся святыми
Колоколами.

И заклинает
В горьком набате:
«Не забывайте!
Не забывайте!..»

* * *

Над блиндажом, над старым блиндажом,
Бросая тени
На ближайший дом,
Застыли сосны.
Бор дышал светлей:
Цвет облетал с уснувших тополей.

Молчал блиндаж,
Присыпанный листвой,
И весь в росинках,
как в слезинках-блёстках.
А перед ним, на просеке лесной,
Виднелась арка с надписью: «Берёзка».

Как в дом, вбегали в гильзу муравьи,
Качались в чистой голубени флаги…
Здесь грохотали смертные бои,
Здесь пионерам выстроили лагерь.

А на опушке золотился пляж.
День поднимал торжественные дали.
…Как две эпохи —
Арка и блиндаж
Друг перед другом
У просёлка встали.

ПЕСНЯ

Все то, что в нас впиталось с колыбели, —
Неужто память выветрит из нас?
Вчера я слышал, ветераны пели:
— Артиллеристы, Сталин дал приказ…

И у пришедших пить и веселиться
За дружеским — за праздничным столом
Увидел я доверчивые лица
Солдат, когда-то шедших напролом.

А детвора притихшая сидела,
С поющих дедов не спуская глаз.
И песня незабытая звенела:
— Артиллеристы, Сталин дал приказ…

Затихла песня, певуны устали.
А тамада по фронтовой налил.
— Скажи, дедуля, кто такой он, Сталин? —
Мальчишка вдруг у дедушки спросил.

И замолчало шумное застолье,
Когда старик ответил малышу:
— Кто Сталин, говоришь? Да он — история…
А песню я тебе перепишу.

УЧАСТНИК ВОЙНЫ

Я помню, как участвовал в войне —
Писал бойцу, неведомому мне.

Молчал работой занятый барак,
В бараке печка освещала мрак.

И мне диктует дедушка Прутьян,
Нас двое, мужиков-то хуторян.

Потом к Прутьяну возвратился сын
И так кричал: «Видали мы Берлин!..»

А бабы — помню все их имена —
Печалились: «Проклятая война…»

Тогда встречали сорок третий год,
Барак посылку отправлял на фронт, —

Подшлемники, перчатки, свитера
И втиснуто меж этого добра

Письмо бойцу, неведомому мне.
Светло мое участие в войне!..

* * *

Где Пскову быть? —
Нас предки не спросили:
Пришлись по нраву красота и ширь.
И город встал на рубежах России
И грудь расправил, словно богатырь.

Не звал в князья
Наёмников варяжских,
Не выносил гостинца на причал.
Он медным барсом — символом бесстрашья —
Шатры высоких стрельниц увенчал.

Свистели стрелы ханов половецких,
Но выжил Псков —
Лишь стал белей виском,
И спесь
Зловещих рыцарей немецких
Ушла на дно на озере Чудском.

Король литовский
Гнал войска на приступ,
Ломился швед, безумством обуян…
Но и во веки вечные и присно
Не одолеть упрямых россиян.

Кончался бой. Стихало поле брани.
На кручах пировало вороньё.

Тиммерман Олег Владимирович (1928—1984). Родился в г. Пскове. Во время Великой Отечественной войны был в эвакуации, в Горьковской области. Служил в авиации Военно-Морского флота. Окончил исторический факультет Псковского педагогического института. Печатался в журналах «Наш современник», «Нева», «Аврора» и др. Издал книги стихов «Удивление» и «На земле обелисков». Посмертно — «Уголек любви».

Чинили дружно крепость псковитяне
И ставили солидное жильё.
Боготворили родину святую
И правили торговые дела.
И звонари играли плясовую,
Не уставая бить в колокола.

Тут что не так — и вывернут оглоблю:
— А ну, купцы, проваливай быстрей!
Цари в Москве глядели исподлобья
На вольности кудрявых скобарей.

* * *

Псков мой — старый воевода,
В русых кудрях серебро.
С незапамятного года:
Что ни камень — то ядро.
Над излуками Великой,
Где пикируют стрижи,
Зарастают повиликой
Боевые рубежи.
Медь со звонниц облетела,
Покосилися кресты,
Но живёт святое дело
Древнерусской красоты.
Всё родное:
Холм покатый,
Плеск славянского ручья.
Здесь воды зеленоватой
Зачерпнул глазами я.
Здесь свою шальную душу
Окропил «живой водой»
И до гроба не нарушу
Клятву родине седой.
Я иду — и сердце радо
Присягнуть России в том,
Что мне лишнего не надо

В этом городе простом.
Что единственною льготой
Я считаю для себя —
Жить всегда его заботой,
И ликуя, и скорбя.

ВЕХИ

Солодёжня… Жабьи Лавицы…
Храм Успенья у моста…
Будут вечно в мире славиться
Эти псковские места.
Не растаяли, не убыли,
Не ушли за вещий круг.
Словно вехи русской удали —
Башни крепости вокруг.

Отыщу тропинку дикую
В дебрях горькой лебеды,
Поздороваюсь с Великою,
Зачерпну «живой воды».

Всё струится, не кончается,
Всё привольна и светла,
И на дне её качается
Половецкая стрела[1].

* * *

Состарились псковские храмы
Среди городской панорамы:
У них за плечами века.
Не в моде щербатые плиты
Девонского известняка.

[1] Половцы — это кочевники, жители степей. Их набеги распространялись только на южнорусские земли.

Вот церковь…
Она на внушенье
Святое в себе сберегла —
Великой Руси воскрешенье
На землях, спалённых дотла.
Хранит она память в престоле
О Павле, Петре и Николе —
Кудрявых своих скобарях,
Которые в лютую пору
На страх иноземному вору
Крепчали в кровавых боях…

Даны нам вперёд на столетья
Отвага и стойкость в наследье,
Чтоб сладить с любою бедой.
Не ради туристской рекламы
Красуются русские храмы
Над вечной и светлой водой.

* * *

«Дом разминирован, Корнеев», —
Гласила надпись вдоль стены,
И стало нам ещё страшнее
От этой азбуки войны.

Ещё вчера осколки пели,
Тянулись скрытно провода,
Чтоб повстречалась с жертвой первой
Неотвратимая беда.

А там, в свинцовой крутоверти, —
Вторая… Третья… Кровь и стон…
Наверно, в чёрный список смерти
И я заочно был внесён.

Но люди думали о мире —
И смерть прогнали со двора.

И мы в простуженной квартире
Кричим вполголоса: «Ура!»

Ведём о прошлом разговоры
И о грядущем невзначай.
И поднимаем в честь сапёров
В консервных банках рыжий чай.

ХЛЕБ

Время балетов и строек…
Только порою приснится
Мне ленинградский дистрофик,
Словно бескрылая птица.

Вот он ступает нелепо;
Сделано тело из ваты.
Ломтик железного хлеба
Меньше осколка гранаты…

В память о днях беспощадных —
Думайте, хлеб покупая:
Ровно сто граммов блокадных
Весит буханка любая.

* * *

Когда победы — далеки,
А пораженья — роковые,
Идут на площадь старики
И вспоминают дни былые.

Печаль и горечь в их словах:
«Что молодежь? Поет и скачет!
А было время, и листва
Росла куда кучней и ярче!»

Ведь боль обыденной беды
Для них стократ сильней недужит.
И с каждым годом их ряды
Становятся плотней и уже.

Мы привыкаем к тишине.
За прочими делами быта
Никто не помнит о войне.
Полвека, и она забыта.

Недостает костей земле,
Каленых бурь бескрайней сечи.
И пацаны в двенадцать лет
Подняли свастику на плечи.

А мы смеемся: «Дети! Блажь!
Ведь повзрослеют, не дебилы».
И фюрер носит камуфляж,
А ночью гадит на могилы.

Исаев Игорь Олегович. Родился в Пскове в 1973 году. Окончил филологический факультет Псковского пединститута. Работал учителем, корреспондентом. Публиковался в местной прессе. Автор трех поэтических сборников. Живет в Пскове.

Для нас опять настал рубеж —
Солдат старел, страна старела.
Но «на груди его горела
Медаль за город Будапешт»!

От Петрограда до тайги
Еще бывают дни такие:
Идут седые старики —
Непобежденная Россия.

ТИШИНА ЗВАЛАСЬ — ПОБЕДА

В чем секрет?

Бежаницы и зимние красивы.
Какой-то в этом тайный есть секрет.
Кругом в снегах дома, сады и нивы,
И шесть десятилетий взрывов нет.

А были времена, она звучала
Как униженье — чуждая нам речь.
Страна надрывно силы напрягала,
Победы свой выковывала меч…

Сосна ко мне протягивает лапы.
Зима их вещим снегом занесла.
Здесь в двухэтажном здании гестапо
Тогда творились гнусные дела:

Окрасились подворья красным снегом,
Расстрелы по ночам везде слышны,
В деревнях здешних Глушнево и Стега
Все заживо в сараях сожжены..

Смотрю кругом: в снегах дома и нивы,
И шесть десятилетий взрывов нет.
И потому Бежаницы красивы,
Что нет войны. И в этом весь секрет.

Микрюков Ростислав Алексеевич. Родился в 1949 году в селе Ошлань Кировской области. Окончил Ленинградский институт культуры. Издал два поэтических сборника — «Макушка лета» и «Весенний день» и два музыкальных сборника — «Песни псковских авторов» и «Березовый дым». Заслуженный работник культуры России. Живет в Пскове.

Победа

Она пришла в лучистом светлом мае!
Её так ждали, эту тишину,
Цветами и улыбками встречая,
Любили, как прекрасную весну.

И жизнями своими приближали
Её в пурге свинцовой, в дымной мгле,
Солдаты те, которые сражались,
Солдаты те, которые в земле.

И ехали домой отцы и деды,
На полустанках песнями звеня!
И эта тишина звалась Победа
На вечные земные времена!

След отца

В горниле тех огненных лет
Меня опалённого нет.
Ещё не родился на свет,
А, гневом солдатским пылая,

Шагали отцы на восток,
И пули им били в висок.
Шагали в бессмертье, в песок,
Деревни, дома оставляя.

Но верили в старый маршрут,
Что снова на запад пойдут,
Деревни и сёла вернут,
Родные погосты и взгорки.

И знали солдаты войны,
Познавшие снег седины,
Мгновенья скупой тишины,
Что путь будет долгий и горький.

Павел Осокин

ОЛЁШКА

— Лёня, ты почему на первый урок не пришел?

Можно бы и не спрашивать. Или спрашивать не каждый день. Ведь прекрасно знала молодая учительница, что Лёнька Коротков не мог прийти к первому уроку. Никак не мог.

...За ночь печка нахолодалась так, что того гляди штаны к кирпичам примерзнут. Верка с Енькой ещё спят. Мать не спит, но и вставать не торопится. Лёнька слез с печи. В щели из пола дует, у двери косу снега намело. Хотел босиком выскочить на двор, да одумался — сеней-то теперь нет, в печке истопили. Ладно, это дело подождёт... Натянул пальтишко, нахлобучил шапку, оставшуюся от отца, сунул ноги в валенки, из которых пучки сена торчат. Нащупал на лавке котомку и вышел за дверь.

На улице светло от луны. На деревьях искрятся толстые жгуты инея, а тропинки среди сугробов будто сажей прочерчены. Просыпается деревня: дым из труб, окошки сквозь наледь на стеклах краснеются.

Первой по очереди изба Павелиных. Дверь в сени не заперта — выходили, наверно, к колодцу. Лёнька перешагнул порог в избу:

— Милостинку...

Никто не отзывается.

— Тетка Настасья!

— Это ты, Олёшка? — голова тетки Настасьи показалась из лаза в полу. — Больно ты рано сегодня, я еще картошку не сварила. Потом заходи.

Осокин Павел Григорьевич (1939—2002). Родился в д. Шипулино Юрьевского района Ивановской области. Совмещал журналистику с литературной работой. В 1981 г. была издана книга «Гдов», в 1985 г. вышел в свет сборник «Псковщина партизанская», литературной обработкой которого занимался П. Г. Осокин. Его рассказы печатались в местных газетах и в коллективных сборниках псковских литераторов: «Устье», «Скобари», «Аист на крыше». 26 февраля 2002 г. был принят в Союз писателей РФ.

«Где же рано-чо? Спать надо меньше...» — думает Лёнька, выходя из избы. Надо бы, конечно, попозже. Чего сейчас подадут, если бабы только печи затопили. Вчерашний кусочек разве. А и позже нельзя — тогда в школу совсем не попадёшь.

Он и так ведь ходит не подряд, а с умом. Вон Марья Гузанова ещё и не вставала. К Варваре Зориной не пойдёшь — у них у самих есть нечего. Зайти или не зайти к Паране Коробихе? Опять скажет «бог подаст»...

Нет, лучше к Ефимовым.

— Тетушка Оксинья...

Тетка Оксинья как раз чугун с картошкой вытащила из печи, отливает воду в ведро — корове на пойло. Она взяла сверху пять картошин и протянула Лёньке.

— Иди к столу. Поешь, пока горячая.

— Не-е, я тут.

Лёнька присел на приступок около печи. Одну картошку — помельче — сразу сунул в рот, с другой стал счищать кожуру заколевшими пальцами. Тетка Оксинья сходила к печи, принесла солонку и чашку молока.

— Хлебца-то подал тебе кто? У нас со вчерась не осталось, буду только пекчи.

— Не-е, я так...

Лёнька поел.

— Тетушка Оксинья, дай какую-нибуть бутылку. Я молоко перелью, Верке отнесу.

— Ешь сам, сам ешь... Вот я подою Красавку и отнесу вашим полгоршка — хоть похлёбку забелить.

— Сегодня не наша очередь, сегодня — Зориным.

— Ты и это знаешь... Ничего, Олёшка. Корова стала побольше доить.

Беда с этими коровами. До войны в деревне на двадцать восемь домов было двадцать коров, а теперь только половина осталась. Алексей Митрич, старик, как-то сказал на собрании: «Бабы, надо спасать ребятишек. Давайте для оставшихся коров сообча корму запасать, а молоко делить по ребятишкам...» Так и уговорились.

В соседнюю избу Лёнька заходить не стал. Постоял только у крыльца, справил малую нужду. В сугробе выжглась аккуратная буква «о». Хорошо бы полностью написать — «Олёшка», но сил не хватит, да и буквы он еще не все выучил.

Зайти-то хотелось. Тетка Дарья обязательно бы ему что-нибудь подала. Если бы не этот вредный дед Иван! С ним он в давней ссоре.

Было это прошлой весной, в Пасху.

Лёнька ждал этого денька. С помощью матери он за неделю стал разучивать специальную молитву про то, как Христос воскрес, смерть поправ и кому-то живот даровав. Запоминалась она плохо, слова были какие-то странные, не держались в голове. Отдельно взять — еще так-сяк, а вместе никак не связывались. Но мать убеждала Лёньку: иначе нельзя.

В тот день она разбудила его чуть свет.

— Вставай, Лёня.

— Куда вставать? Рано.

— Сегодня хорошие-то люди всю ночь не спали. Сегодня ко всем заходи, а то обидишь.

Что-то очень странное говорила мать. Но она оказалась права. В каждой избе Лёньку встречали приветливо. И пахло по всей деревне необыкновенно. Блинами пахло, топленым молоком и ещё чем-то. Почти в каждой избе Лёньке давали кусок кулича и крашеное яйцо. А на улице как хорошо было: солнышко тёплое всходило, кой-где в затишке травка зазеленела.

У Дарьиного дома сидел на крылечке дед Иван. Уставившись в землю, он чертил по песку палкой. Обращаясь больше к окошку, Лёнька громко сказал:

— Христос воскресе...

Дед Иван поднял голову и внимательно посмотрел на Лёньку.

— Дальше, — приказал он.

— Чего?

— Читай дальше.

Лёнька сразу понял, что попался. Молитву он начисто забыл. А дед Иван, будто почуяв это, оживился:

— Если скажешь — два ица получишь.

Лёнька молчал, ковыряя в носу.

— Повторяй за мной. Христос воскресе из мертвых... Ну!

Лёнька молчал.

— Олух ты, Олёшка. Смертию смерть поправ... Ну!

— Живёт во дворах, — выпалил Ленька.

— Что-о?

— Живот на дровах, — поправился Ленька.

Дед Иван громко икнул, а потом засучил ногами — то ли со зла, то ли от смеху. Лёнька на всякий случай отодвинулся подальше от его палки, буркнул: «Дурак старый» — и пустился наутёк.

С тех пор зловредный старик не давал ему проходу. Как завидит, сразу кричит: «Живот на дровах...» Как маленький!

Обойдя ещё домов двадцать, Лёнька появлялся в школе. На вопрос учительницы: «Почему не пришёл на первый урок?» — он не отвечал. Снимая на ходу котомку, где рядом с кусочками хлеба и картошки лежали букварь и сшитая из газет тетрадка, направлялся к задней парте — поближе к печке. Зима 1944 года была очень холодная.

ГОРОД

Седой старик… и мальчик,
лодка в Лете,
мечтатель, мастер, воин и пророк,
хранитель волшебства тысячелетий,
огонь на перекрестии дорог
явился мне в ночи.
Бесплотной птицей
я пролетал над ним и слышал бой
колоколов,
сквозящий сквозь бойницы,
и гул толпы разгульно-вечевой.

Здесь было всё — и взлеты, и паденья,
и храм, горящий в ледяной мороз,
и пятна крови на крутых ступенях,
и соль от пота и пролитых слёз.

Свечами куполов, парящих в Лете,
связало время Запад и Восток
в особой точке двух тысячелетий
на перепутье тысячи дорог!

Плохов Игорь Владимирович. Родился в 1959 году в городе Пскове. Работает в Псковском государственном университете профессором, заведующим кафедрой. Является одним из основателей Псковского клуба авторской песни «Горизонт». Автор трех авторских сборников стихов — «Да и Нет», «Островок света», «Возвращение» и трёх аудиоальбомов песен. Стихи опубликованы в различных коллективных сборниках.

В ГОРЯЧУЮ ТОЧКУ

Участникам «малых войн» XX века

Ухожу на три дня из родной стороны,
Уезжаю в командировку,
Ты запомни меня, не брани без вины
Своего хулигана Вовку.

Я ушел, не простясь, чтобы не было слёз,
уж такая мужская порода…
Я вернулся, привет!.. Сын немного подрос —
На три дня?..
— Извини — на годы…

СЛОВО О ПОБЕДЕ!

Слова — как люди: в каждом есть отличье,
Своё предназначенье, свой полёт,
Одни просты, в других сквозит величье,
Те входят в моду, те — наоборот.
Одни слова — с иронией, с секретом,
Безжалостно коварные подчас;
Другие, в благозвучие одеты,
То манят, то отталкивают нас.
У каждого из нас своё есть слово,
Своё до слёз — как имя, как лицо;
Не всякому сказать его готовы,
Храня, как обручальное кольцо.
Но слово есть у нашего народа,
Что, словно воздух, всем принадлежит,
И, обретя бессмертие сквозь годы,
Как сердце, в общей памяти стучит.
«ПОБЕДА!» — вновь салютом небо грянет,
Ликует май, как много лет назад!
И это слово с гордостью чеканит
Парадным шагом молодой солдат.

Я МОЛЮСЬ, ЧТОБЫ ВСЁ ОБОШЛОСЬ

Я хочу, чтобы день был удачным,
Без печальных событий и слёз,
Чтоб с утра было небо прозрачным
И на вечер — хороший прогноз.

Рыжова Татьяна Семёновна. Родилась в Казахстане в городе Кокчетаве. Автор сборников стихов, текстов песен и поэтических переводов — «Душою к Пушкину причастна», «Рядом с мамой на этой земле», «Религия сердца». Член Союза писателей РФ.

Чтобы дома все счастливы были,
На работе — всё сделано в срок
И о том, что друзья не забыли,
Сообщал телефонный звонок.

Чтоб любимый был рядом со мною
И желанья мои исполнял,
Чтоб сосед не ругался с женою,
Чтобы в мире никто не стрелял.

Чтоб экран телевизора больше
О войне и смертях не вещал,
Чтоб под крышею каждого дома
Детский смех беззаботный звучал.

Чтоб добро побеждало — не сила
На бескрайних просторах Земли…
Чтоб политиков вдруг осенило,
Что такие же люди они.

Я хочу, чтобы день был удачным,
Но как сделать, чтоб это сбылось?
Я не верю предчувствиям мрачным
И молюсь, чтобы всё обошлось.

КТО ТОТ СОЛДАТ?

Как ждал солдат, что родом был из Пскова,
Приказа краткого: «Форсировать! Вперёд!»
Ждала река — тревожно и сурово.
И знал боец: она не подведёт.

Река не зря Великою зовётся,
Её стихия — жизнь, а не война.
И, слыша, как у парня сердце бьётся,
С ним тихо-тихо шепчется волна.

Сомнений нет — река его узнала!
В той жизни, где остался мирный Псков,
Им дня для встреч, бывало, не хватало —
Ведь плавать день и ночь он был готов.

А как он плавал! — левый берег, правый…
В войну играл с мальчишками не раз
Там, где теперь на месте переправы
Не мальчики — солдаты ждут приказ.

Спасибо им за День освобожденья!
Запомнит Псков отныне на века,
Как победили в доблестном сраженье
Великие — солдаты и река!

Кто тот солдат, что родом был из Пскова,
Остался жив, а, может, брал Берлин?
И вечно ждать река его готова,
Как мать надеясь, что вернётся сын.

А может, под гранитною плитою,
Где памяти огонь всегда горит,
Он спит и слышит, как над головою
Река бежит и колокол звонит…

ИЗБОРСК

Не здесь ли Родины начало,
Российской святости купель, —
Здесь, где История качала
Героев славных колыбель?
Где чутко башня смотровая
Хранит печали прошлых дней,
Где смотрит летопись людская
Глазами белых лебедей,
Где языком ключей Словенских,

Впитавших звуки сотен лет,
Хор голосов — мужских и женских
Нам шлёт из прошлого привет,
Где легендарный Трувор княжил,
Державной мудростью силён, —
Из рюриковских, из варяжьих
Был Провиденьем избран он,
Где храм Никольский на рассвете
Так светозарен и велик,
Где видят взрослые и дети
Иконы чудотворной лик,
Не здесь ли обреталась слава
И дух в бою крепился наш?
Здесь! — где и ныне величаво
Стоит Изборск — России страж.

ВСЕ МЫ С БАБУШКОЙ РЯДОМ…

День рожденья у бабушки. Кто скажет нам,
Что в подарок ей нынче купить?
И решил я красивую рамочку сам
В этот раз для неё смастерить.

Дом у бабушки — вовсе не дом: фотозал!
Или, может быть, фотомузей:
Здесь и предки, которых я раньше не знал,
И сюжеты сегодняшних дней.

Вот мой прадед в Берлине — ему повезло:
Был он ранен, но на ноги встал
И о том, что фашизм — это страшное зло,
Книгу после войны написал.

Это — папа и мама, принцесса и принц:
Он — жених, и невеста — она.
И от их молодых и сияющих лиц
У бабули на сердце весна!

Это я — очень маленький, с зайцем сижу;
Помню, спать без него я не мог.
Обязательно нынче у мамы спрошу:
Где мой серый, из детства, дружок?

Это папа мою крепко держит ладонь,
А в другой я гвоздики держу
И потом их солдату, где Вечный огонь,
На холодный гранит положу.

Фотографий так много! Но знаю сюжет
Той, что в рамочке будет моей:
Все мы с бабушкой рядом, и радостней нет
Наших лиц, когда вместе мы с ней!

* * *

Травы высокие, тонут в них лошади…
Сажею чёрною очи раскосые:
Тысячи конников, тысячи лучников,
Тысячи воинов, смерти обученных…

Белая крепость, белые стены.
Кровью хмельною — ярость по венам,
И, словно ласка, — ветер по коже,
Только уж больно на плети похоже.

Вольному воля, а пленному плаха…
Пуст мой карман, да порвалась рубаха.
И далеко, далеко до рассвета,
Но до конца ещё песня не спета.

Сломаны копья, и сломаны кости,
Кровью, как хмелем, пропитанный воздух…
Улицы встретят незваного гостя
Заупокойным молебном и тостом.

Сколько б ни бились — не знать примирения,
Словно забыли причину сражения…
Поле колышется спелого хлеба,
Много — ох много! — ушло нас на небо…

Соловьева Олеся Игоревна. Родилась в 1985 году в Пскове. Стихи начала писать в десять лет. Публиковалась в сборниках «По дороге из детства в юность», «Пскова негасимый свет» и др. Выпустила в свет авторскую книгу стихов «Два берега». Живет в городе Пскове.

* * *

От меня до тебя только пара шагов.
Этот мир поделён на друзей и врагов.
Если б мог выбирать — я бы был тебе брат,
Но по воле судьбы я всего лишь солдат.

Ты ударишь наотмашь, а я бью в упор,
Но в итоге всех нас ждет один приговор.
После нас разберутся, чья это вина,
А сегодня все просто... Сегодня война.

* * *

Над поляной сельского детдома,
Над травой весенней, молодой,
Где былинка каждая знакома,
Вальс звучит победный, фронтовой.

Тополя торжественно-зеленые,
Вешним солнцем, гомоном скворцов,
Легкой грустью вальса опьяненные,
На танцующих глядят юнцов.

А они во власти грез заветных,
Скинув груз квадратных пиджаков,
Средь основ простых, обыкновенных
Ищут явь забытых мирных снов.

В этих снах живут, не старясь, мамы,
По утрам пьют дети молоко,
У мужчин не багровеют шрамы,
И до похоронок далеко.

* * *

Чтобы парнишке сказали
Немного красивых слов —
В Афгане его убивали
И в цинковый клали гроб.

Окунев Виктор Михайлович (1941—2014). Родился в небольшой деревушке в Алтайском крае. С 1989 его года жизнь связана с Псковщиной, с Пушкинскими Горами. Печатался в местной газете «Пушкинский край», проводил на турбазе поэтические вечера. Автор книги стихов «Прости, Париж!».

А провожая, глотали
Горький табачный дым...
В Россию гробы улетали,
На Родину, в тыл...

* * *

Снова снится белая Русь.
Легче птицы — на лыжах мчусь

Со склона крутого, меж белых берез,
Здесь я родился, счастливым рос.

Белое солнце, белый песок,
Выстрел раздался — убит мой дружок.

Красными-красными стали пески,
Белыми-белыми стали виски.

Снился колодец с русской водой
В белый афганский немыслимый зной.

Белые птицы над белой землей,
Друг не убитый, друг мой живой.

Красные маки всюду цветут.
Русские парни в атаку идут.

Только дружка нет рядом со мной.
Грузом «200» — убыл домой.

* * *

О Великой Отечественной войне написано и сказано неизмеримо много, но, чем дальше она уходит во времени, тем больше появляется суждений людей, не понимающих ни причин победы, ни единственности ее для нашего народа. Чего стоит заявление ущербных душ о напрасных миллионных жертвах: надо-де было покориться врагу — сдать Ленинград, Москву, Родину во имя существования. А ведь это и оскорбление памяти погибших. Те, кто творил победу, кто думал иначе, уже не возразят. Большинство их ушло. Даже из тех, кто пережил войну.

Теперь очередь за нами. За теми, чье детство пересекла война. Мы не «ковали победу», как говорили тогда, но многое помним. Помним дух того времени. Известно, что дети воспринимают все искреннее и правильнее. О двух самых ярких событиях моего детства я должна поведать тем, для кого эта война уже история. Скоро и детей войны не останется.

Летом 1941 года мне было 6 лет.

Зимой 41/42 года я с мамой и старшим братом оказалась в Северо-Восточном Казахстане, в пригороде Павлодара. Жили в бараке, где у каждой семьи «выковы́рянных» (так местные называли эвакуированных) была комната. Когда старшие уходили на работу и в школу, дети играли. Девочки, как водится, в куклы. Самая замечательная кукла была у меня. Мама сшила ее из старых чулок. Но самой любимой игрой были не «дочки-матери», а «в Гитлера». Кукла приходила к нам, признавалась, что она «Гитлер», и просила тайно спрятать ее. За это были обещаны конфеты. В 41—42-м годах мы их еще помнили: когда началась война, мы со старшим братом мы еще жили в Ленинграде.

...Воскресенье 22 июня было для меня странным. Все что-то взволнованно говорили, уходили, приходили. Наконец я поняла, что произошло. И четко это сформулировала: «Мы с немцами мир заклю́чили, а они взяли и расклю́чили»...

Чистякова Татьяна Александрова. Родилась в Ленинграде. Окончила ЛГПИ имени Герцена, физико-математический факультет. Преподавала физику в школах, совмещая с работой экскурсовода во Всесоюзном музее Пушкина (ВМП). Печаталась в журнале «Наука и жизнь» (Москва), сборнике «Михайловская пушкиниана» (Псков), в других альманахах и сборниках регионального и российского значения. Живет в Пушкинских Горах.

Мы соглашались и прятали «Гитлера» под кровать, а сами ставили на горячую плиту чугунный утюг и чайник с водой. Когда все было готово, «Гитлера» вытаскивали из убежища, били горячим утюгом и поливали горячей водой. Радость свою выплескивали в песне. Я пыталась промурлыкать: «Ленинград мой, милый брат мой, Родина моя». Но победный крик девочки из Тулы все перекрывал: «Тула, Тула — перевернула». Мы единодушно понимали, что Тула перевернула немцев. Потом, правда, наступало некоторое сожаление: мама огорчится, увидев растерзанную куклу. Но спустя какое-то время играли «в Гитлера» снова. Мы тоже должны были вредить Гитлеру. Как все.

Зимой 1943 года папа, военный инженер, привез нас к себе в Архангельск. Во время войны там голодали сравнимо с Ленинградом — со случаями людоедства. Мы жили на квартире Алевтины Андреевны Амосовой в Соломбале, районе Архангельска. Ей было тогда 45—50 лет. Старшие сыновья Алевтины Андреевны уже не воевали. Толик погиб на фронте, израненный Изотик был в госпитале. Младшего, Юрку, вот-вот должны были призвать. Я теперь и сама мать и бабушка. И могу многое понять. Но не могу дотянуться до величия этой женщины. Сцена, свидетельницей которой я была, уже тогда потрясла мою душу. Алевтина Андреевна вернулась из магазина, куда ходила за хлебом по карточкам. Но хлеба она не принесла. Моя мама спросила:

— Где же хлеб?

Услышала ответ:

— Отдала.

— Кому?

— Шла вдоль колючей проволоки, за которой работали пленные немцы. Один, молоденький такой, так смотрел на меня, что я отдала.

— Как вы могли?!! — Моя мама всплеснула руками. — Ведь, может, он Толика убил! И Изотика искалечил!

С болью ответила Алевтина Андреевна моей неразумной маме:

— Ведь в Германии-то, небось, мать все глаза выплакала…

Такой народ не мог жить в фашистском мире. Никто не мог. Вот поэтому мы победили. А иначе быть и не могло.

СОДЕРЖАНИЕ

Игорь Смолькин
День Победы
(вместо предисловия) 5

МУЖЕСТВО ОТЦОВ
Писатели-фронтовики о войне и победе

Евгений Нечаев
Старый Шумрай 9

Елена Морозкина
Год 41-й 20
«Ты не с палкою суковатой...» 20
«Эшелон грохотал — на фронт!..» 21
«Мы все, как солдаты...» 22

Иван Васильев
Как солдаты яблоки ели 23
Солдаткина изгородь 23

Евгений Маймин
Боец Гасанов 25

Игорь Григорьев
Час отмщенья
Ночлег 31
22 июня 1941 32
После налёта 33
Постижение 33
Непокорство 34
После войны 35

Иван Курчавов
Трагедия Красухи
(отрывок из книги очерков
«Городок на Шелони») 36

Евгений Изюмов
Деревня 44
Курган 45
«Прощание славянки» 45
Две матери 46
«Привычная российская
картина...» 47
«Над рекою утром рано...» 47

Михаил Иванов
Встречи на фронтовых дорогах
(из книги «На грани
смертельного круга») 48

Иван Виноградов
Клятва 58
Москва идёт на Берлин 59
Здравствуй, Псков! 60
«Да, Псков, я не забыл твоих
огней...» 61
Сестра 62
Гордость России 62
«Подвиг никогда не
умирает...» 63
«Передо мной — листы
газетные...» 64

Семен Гейченко
Как гитлеровцы сожгли Дом-музей
Пушкина в Михайловском 65
Салют Пушкину 67

Лев Маляков
«Моих друзей негромкие дела...» 70
«Земляк до Вислы шёл со мной...» 71
Опора 72
Солдату 72
Мать 73
Один за всех 74
У костра 74
Присяга 75

Анатолий Малиновский
Нас становится больше 77
Пушкиногорская трагедия 82

НАС К ПОДВИГУ ЗВАЛА ПОБЕДА
Современные писатели о воинской славе и о плодах Великой Победы

Станислав Золотцев
«Давний снимок. Предвоенный
год...» 89

«Я, ровесник Победы, сегодня к ненастной године...» 90
«Качается год сорок третий...» 91
«Щедро сегодня...» 92
Морской обычай 93
Память 94
Ретроспектива: «День Победы. 1965» 95
«Как много песен время разметало...» 96

Светлана Молева
Проволока 97
Перед фотографиями блокадного Ленинграда 98

Вера Сергеева
Сестрёнка 99
Незабудки 100
Ужин из моего детства 101
Письма с фронта 102
Немецкий плен 103

Александр Бологов
Вальс победного дня 107
Победа 117

Иван Иванов
Вспоминая павших 124
Праздник Победы 125
Боль 125
«Я выйду сегодня на улицу...» 127

Андрей Бениаминов
Чёрный Вир 129
«Мир худой. Он всё хуже и хуже...» ... 130
«Погиб Серёжка в горах, в бою...» 131
Встреча Псковского спецназа ГРУ 131
«А тишина осталась тишиной...» 132

Олег Калкин
Эвакуация (из повести «Белый свет») 133

Наталья Лаврецова
Двум маршалам 137
«Неужели мужчин так прельщает война?..» 138
«Мне знакомо лицо его, в каске, с глазами гражданскими...» 139
«На Руси когда-то без причины...» 140

Тамара Соловьева
Горячий снег 141
На войне как на войне 142
Ветеранам 143
Я вчера был... 143
Пылающий Донбасс 144

Александр Казаков
Земляника ранняя — земляника поздняя… (Рассказ) 145

Анатолий Москалинский
«Тогда он не спрятал от смерти лица...» 159
«Девочка Анфиса из кино...» 160
«Где ты брал сегодня землянику...» 160

Александр Гусев
Ждите нас 162
«…И ты не простишь никому ничего?..» 163

Виктор Русаков
И оккупантов можно обмануть… 165
Как старый немец спас нас 173

Валентин Краснопевцев
1941-й 178
Сны взрываются 179
В госпитале 179
Хлеб 180
«Долго пуля летела...» 181
В эвакуации 182
«Война и тыл не обошла...» 183
Зарница 183

Владимир Боровиков
Былина о берёзе 184
Покровская башня 187

Иван Калинин
День Победы — это праздник… 188
60 лет Победы 192
70 лет Победы 197

Сергей Горшков
Золотом по мрамору 199
Я дойду! 200
Письмо солдата 200

С Днём Победы! 201

Владимир Половников
Суровая наука 203
Отец 204

Андрей Канавщиков 206
Пощёчина 206

Евгения Гусева 210
Восходит весна над Россией 210

Людмила Писарь
День Победы 211

Тамара Карнаухова
Дорогами памяти 212

Надежда Камянчук
В День Победы 219
Родина вас не забудет 220
Март 221

Николай Мишуков
Ветерану Великой
Отечественной 222

Вита Пшеничная
Просто верить… 223

Людмила Скатова
22 июня 1941 года 234
«Перед чем мы так
благоговеем?..» 235
«Вы меня полюбили за скорбную
музу мою...» 236

Георгий Гринберг
Неизвестный солдат 237
Ветеранам 238
«Нелегок труд, и тяжела
дорога...» 238

Юрий Орлов
Дорога в неволю 240
Эхо войны 242

Анатолий Даньков
Солдатская ложка 245
Посвящается 6-й роте 246

Александр Березов
Вечный солдат 247

Эдуард Петренко
Ровесник победы 249
Смерть минёра 249
«В Донбассе нынче в силе
черный цвет...» 250

Александр Александров
Воспоминания малолетнего
узника 251

Геннадий Моисеенко
«Мой дед остался на войне...» 262
«Если едешь от Москвы
до Берлина...» 262
Дитя войны 263

Николай Иванов
Победители 265
Ветеранам 266
Командиру батареи 266

Виктор Торопчанин
Медаль 268

Евгений Трофимов
Над Великой 273
На могиле отца 274
Поклонимся праху солдата 274

ДОРОГИ МУЖЕСТВА
История русского подвига
на поле брани и на поле трудовом

Игорь Изборцев
Чести моей никому не отдам,
или Меч князя Довмонта 277

Валерий Мухин
Пскову 285
День Победы 286
Лицо войны 286
Уходит ветеран 287
Русская баба 288
Псковская метель 288
Я в мир пришёл 289

Ирена Панченко
День Победы 290
Прозрение 291
Солдатами не рождаются 292
В Изборске 292

Анатолий Александров
Вспоминая историю 294
«Глухой неслышный ропот...» 295
«Гремел снаряд, летели доски...» 296
«Не нам и не вам оглянуться назад...» 297
Европа 298
«Заросший луг и речка Веста...» 299

Валентина Николаева
Трудно забыть… 300
О Мише Михайлове 301

Ларина Федотова
Три Руси 302
Ветерану 302
Родина моя 303
Епистинья 304
Победа наша 305
Русские деревни 305
Мне понятен их слог, эта рідна...» 306

Евгений Борисов
Детство моё 308
Свадьба 308
«Я не снимаю, а сдираю...» 309
«Неля мечтала быть летчицей...» 310
«Мы возвратились из неволи...» 311
«Был край войною оставлен...» 311
Псковский лес 312

Татьяна Гореликова
«Видишь, Родина, как в мирном небе играют зарницы?..» 313
Я вернусь 313
Сон 314
Вдовьи рассветы 315

Владимир Клевцов
Высота 776.0 316

Александр Себежанин
Души бессмертны 321
Мир прост 321
Россия 322
Избушка детства 322

Виктор Фокин
Кром 324

Виктор Зверев
Возвращение… 325
Псков 326

Валерий Павлов
Генералы культурного фронта 327

Анатолий Иванов
Россия 337
«Люблю Украину, Россию люблю...» 337

Евгений Афанасьев
Заокеанский Шершень 339
Читая чтиво 339
Резервы ещё есть 339
Итоги перестройки 339
Нашли причину 339
Глупый Баран 340
Третий лишний 340
С первым апреля 340
Камень преткновения 340
Трутень-правдоискатель 340
Дорогой подарок 340
Вопрос 340
Завет потомкам 340

Валентина Алексеева
«Уж не одно тысячелетье длится…» 341
«Редеет строй. Как мало их осталось…» 341
Музы России 342
«Увы, нет мира под луною...» 342

Борис Ильин
Французы на службе в Российском флоте 344

Людмила Тишаева
День Победы 355
Плач по Украине 356
Памяти подлодки «Курск» 356
Вечер на Великой 357
Забытый подвиг 358
Знаменосец победы 359
Уходят мальчики 360

Владимир Савинов
Псковская черёмуха 361
Даруй им небеса 361
Неизвестности нет, если память хранит 362
Женщинам Новороссии 363

Алексей Болдин
Герой очерка 365
Отцу 366
Два огня 366

Любовь Никитина
Военные дороги артистов Псковского театра 367

Энвер Жемлиханов
Майское утро 372
Мужчина, играющий в снежки 373
Поющие камни 373
«Над блиндажом, над старым блиндажом...» 374
Песня 375
Участник войны 376

Олег Тиммерман
«Где Пскову быть?..» 377
«Псков мой — старый воевода...» 378
Вехи 379
«Состарились псковские храмы...» 379
««Дом разминирован, Корнеев»...» 380
Хлеб 381

Игорь Исаевъ
«Когда победы — далеки...» 382

Ростислав Микрюков
Тишина звалась — Победа
В чем секрет? 384
Победа 385
След отца 385

Павел Осокин
Олёшка 386

Игорь Плохов
Город 390
В горячую точку 391

Татьяна Рыжова
Слово о Победе! 392
Я молюсь, чтобы всё обошлось 392
Кто тот солдат? 393
Изборск 394
Все мы с бабушкой рядом… 395

Олеся Соловьева
«Травы высокие, тонут в них лошади…» 397
«От меня до тебя только пара шагов...» 398

Виктор Окунев
«Над поляной сельского детдома...» 399
«Чтобы парнишке сказали...» 399
«Снова снится белая Русь....» 400

Татьяна Чистякова
«О Великой Отечественной войне...» 401

ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ПРИБЛИЖАЛИ, КАК МОГЛИ

Писатели Псковщины о войне и победе

Главный редактор

Игорь Смолькин

Редакционный совет:

Иван Иванов

Игорь Исаев

Анатолий Москалинский

Валерий Мухин

Ирена Панченко

Вита Пшеничная

Игорь Смолькин

Технический редактор Р.П. Васильева
Корректор Т.П. Николаева
Компьютерная вёрстка И.Г. Александровой
Дизайн обложки: И.А. Смолькин

Подписано в печать 21.04.2015 г. Формат 70x100 1/16.
Гарнитура Times New Roman. Печать офсетная. Объём 25,5 печ. л.
Заказ № 183. Тираж 1000 экз.

Отпечатано в ГППО «Псковская областная типография».
180004, Псков, ул. Ротная, 34

12+